

ОЛЬГА
НОВИКОВА

ЧЕТЫРЕ ПИГМАЛИОНА

ОЛЬГА НОВИКОВА

ЧЕТЫРЕ ПИГМАЛИОНА

РЕЗЦОМ
ПО ПЛОТИ —
КОНЕЧНО,
БОЛЬНО,
НО ГАЛА
ВЫТЕРПЕЛА
И ЭТО...



Ольга Новикова

ЧЕТЫРЕ ПИГМАЛИОНА



ОЛЬГА НОВИКОВА

**ЧЕТЫРЕ
ПИГМАЛИОНА**

Москва

ЗебраЕ

2005

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44
Н73

Художник обложки: *А. Зарубин*

Предисловие: *Вл. Новиков*

Подписано в печать 29.11.04. Формат 84×108^{1/32}.
Усл. печ. л. 22,68. Тираж 3000 экз. Заказ № 3393.

Новикова, О.

Н73 Четыре Пигмалиона : [роман] / Ольга Новикова. — М.:
Зебра Е, 2005. — 429, [3] с.

ISBN 5-94663-166-7

Новикова пишет динамичную сюжетную прозу. Все незаурядные люди, которые встречаются ей в жизни, становятся героями ее произведений. В «Четырех Пигмалионах» это знаменитые и колоритные писатели, а в романе «Три товарища, Агаша, старик» — молодые, энергичные интеллектуалы начала двадцать первого века.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

© О. Новикова, 2004
© Вл. Новиков, предисловие, 2004
© СІР РГБ, 2004
© Издательство «Зебра Е», 2004

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Ольга, или
драма избыточности
9

Четыре пигмалиона
роман
19

Глава I
Первая любовь
21

Глава II
Первое прозрение
53

Глава III
Момент истины
90

Глава IV
Гала и Мастер
156

Три товарища, Агаша, старик
роман
211

Ольга по своему душевному масштабу не подходит под мерки большинства, и все черты ее характера крупнее обычного. Ольга может постигать недоедое другим и живет этим ведением, но она знает то, что хочет знать, и в этом смысле более других способна к вещи мудрости.

Павел Флоренский

Предисловие

ОЛЬГА, или ДРАМА ИЗБЫТОЧНОСТИ

О какой Ольге идет речь в книге русского религиозного философа Павла Флоренского «Имена»? Ни о какой конкретно. Это духовно-интеллектуальная фантазия на тему самого имени Ольга, своего рода проект женского образа, проект художественного мира, который еще предстояло выстроить.

Ольга Новикова и оказалась строительницей такого здания. Формула Флоренского вполне применима к тому образу автора, который отчетливо предстает со страниц пяти романов писательницы, ее повестей «Суперфлю» и «Строгая дама», нескольких новелл. Причем этот женственно-мудрый образ складывается как соотношение целого ряда главных героинь, ни одна из которых не носит имени Ольга. Среди второстепенных персонажей, впрочем, встречаются две Ольги (в «Строгой даме» и в «Третьем романе»), причем обе отнюдь не симпатичны автору: на этот способ иронической номинации обратила внимание немецкая исследовательница ее творчества Рената Деринг.

В прозе Ольги Новиковой автор не тождествен ни Жене из «Женского романа», ни Аве из «Мужского романа», ни Клаве из «Третьего романа», ни Ксении из «Суперфлю», ни Зое из «Строгой дамы», ни, наконец, героине по имени Гала (=Галатея) из только что завершенного романа «Четыре Пигмалиона». Каждая из них — очередная реинкарнация авто-

Предисловие

ра, и вместе с тем по отношению к каждой из них сохраняется философская дистанция. Вот почему говоря «Ольга» можно иметь в виду и саму писательницу, и весь системный ряд созданных ей образов.

Ольга — москвичка, интеллигентная столичная дама. Но в начале жизни у нее осталось провинциальное детство. Ольга — филолог, прочитавший гору книг и владеющий иностранными языками. Но с детских лет в ней жило страстное желание не только изучать, но и творить литературу. Москва и Литература — вот две путеводные звезды в жизни Ольги (импульс, идущий еще от чеховских трех сестер с их возгласами: «В Москву! В Москву!»).

Ольге не исполнилось семнадцати лет, когда она стала студенткой Московского университета. Ей довелось учиться в старинном здании, в самом сердце Москвы, напротив Кремля, и обитать в гигантском высотном здании МГУ, в жилой его части. Получив модную и престижную в то время профессию «структурного лингвиста», Ольга, однако, жаждет заниматься не научными абстракциями, а живой литературой. Поэтому первым жизненным успехом для нее становится работа в главном советском издательстве — «Художественная литература». Ей доводится редактировать собрания сочинений Заболоцкого, Катаева, Каверина. Она относится к чужим произведениям как к своим, с трепетом вникая в них, защищает их от цензурных искажений. Старый и мудрый Каверин настоятельно рекомендует Ольге заняться собственным творчеством.

Так рождается «Женский роман» (первое издание — 1993), названный не без провокационной иронии, поскольку это отнюдь не «дамское чтиво», а, по удачному замечанию критика Нины Рудник, «роман воспитания». Это роман о том, как в 70–80-е годы в России, в условиях тоталитаризма, продолжают жить и развиваться традиции идейного вольнодумства и свободной литературы. И воплощением подлинной русской духовности выступает в романе молодой фило-

лог и редактор Женя (ее имя паронимически связано с мотивом женственности, а в полной форме «Евгения» несет в себе корневое значение благородства). Образ Жени ничего общего не имеет с положительными героинями «социалистического реализма». Она не «служит» высокому идеалу, а живет им, участвует в его сотворении. И идеал этот — полнота жизни, гармоническое сочетание этики и эстетики, чистоты и внутренней раскрепощенности.

Этой высокой мере, увы, не соответствует либеральный поэт-шестидесятник Рахатов, которого самоотверженная Женя щедро одаривает своей нежностью. Так продолжена тургеневская традиция испытания героя женской любовью, но с важной новаторской поправкой: мужчина здесь уже не «герой нашего времени» — женщина выходит на первый план, и сюжетно, и духовно. Традиционное для русской прозы амплуа «лишнего человека» (от Евгения Онегина до героев Трифонова и Битова) разрабатывается в женском варианте. Евгения Селенина с ее необъятными духовными возможностями оказывается «лишней» и для советской издательской машины, и для узкого мирка советских либералов, удобно сидящих на двух стульях и сочетающих умеренное фрондерство с уютным конформизмом.

Для Жени роман завершается как будто хэппи-эндом: ее дружба с товарищем по университету Сашей Остроумовым плавно перетекает в любовь с перспективой законного брака. Но для самой Ольги это лишь промежуточный финиш в осмыслении феномена «лишней женщины». Сразу по завершении романа она пишет повесть «Суперфлю» — вещь для автора программную, кульминационную в ее творческом развитии. Главные авторские мысли, сведенные воедино в афористическом финале, проходят разработку в любовном сюжете с множеством психологических нюансов.

Слово «суперфлю» — очень русское, хотя и пришло из французского языка. Существительное *le superflu* означает «излишек», прилагательное *superflue* в женском роде — «лишняя». Однако Гоголь, зачарованный магическим звучанием иноземного слова, своевольно его переосмыслил: в «Мертвых душах» Ноздрев обозначает им «высочайшую точку совершенства».

Предисловие

Шутливую игру подхватил Достоевский, и у него в «Записках из подполья» и в «Зимних заметках о летних впечатлениях» «суперфлю» фигурирует в значении «изысканная».

В образе главной героини Ксении Ольга соединяет оба значения заглавного слова: и исконно французское, и субъективно-русское. В высшей степени изысканная тридцатипятилетняя женщина, жаждущая совершенства и в жизни, и в отношениях с окружающими, вдруг чувствует себя лишней. Пожилой писатель Скороходов, человек умный, независимый и нетривиальный, страшится близости с Ксенией. Ему внутренне импонирует присущее Ксении сочетание силы и тонкости, однако, уступая пошлой жизненной инерции, он продолжает делить себя между сварливой нелюбимой женой и юной любовницей, примитивной и расчетливой особой.

«Суперфлю» — лирическая элегия, горько-пронзительное сожаление о несвершившемся чуде, о родившейся и тут же умершей уникальной душевной близости двух разных (и тем интересных друг другу) людей.

Как и почему избыток оборачивается убытком, потерей? Ольга не оставляет эту открытую ей и потенциально неисчерпаемую тему. Она выводит ее за рамки и границы современной России. В повести «Строгая дама» действие происходит и в России, и в Германии, поочередно в 19 и 20 веках. У Каверина, вдохновившего Ольгу на писательскую работу, была юношеская новелла «Одиннадцатая аксиома»: там две параллельные и совершенно разные сюжетные линии должны были в духе неевклидовой геометрии сойтись в финале. Новелла оказалась экспериментом, удачным лишь отчасти: юного автора заметил и похвалил Горький, но и он, и сам автор признали совмещение линий несколько натянутым. Решение этой сюжетно-технической задачи Каверин как бы переадресовал своим последователям.

В «Строгой даме» действуют две женщины по имени Зоя: прабабка, вышедшая из обедневшей дворянской семьи и

Ольга, или драма избыточности

ставшая петербургской барыней, и правнучка, делающая карьеру (должностную и сексуальную) в Москве ельцинского времени. Обе символизируют ту «сильную руку», по которой многие до сих в России тоскуют. Жестко бьется за свое счастье Зоя первая, а вторая вообще становится профессиональной садисткой, «доминой», обучившись этому ремеслу в Германии. И обе приходят к тому, что защищают свое благополучие заказным убийством: последний пассаж повести — это монолог от имени единой Зои, единой русской жизни, жестокой во все времена. Сошлись две параллели, высветив весьма печальную аксиому.

Вслед за русско-европейской повестью Ольга берется за русско-европейский роман. «Мужской роман» (1999) назван так и потому, что он продолжает темы «Женского романа», и потому, что здесь непредвзято воссоздана порочно-поэтическая атмосфера гомосексуального театра, возглавляемого режиссером по имени Эраст. И Эраст, и театральный критик Тарас, и влюбленная в Тараса женщина-психолог Ава по воле обстоятельств оказываются в Швейцарии, что создает предпосылку для рефлексии, начатой еще в «Идиоте» Достоевского (где князь Мышкин в самом начале именно из Швейцарии приезжает в Россию). Какая Европа нужна России и какая Россия нужна Европе? Этот вопрос ставится перед читателем, будучи вложен в уста Ренаты — швейцарской русофилки, многодетной матери, чем-то похожей на мудрых русских старух.

Ава, как и ее предшественницы, страдает от избыточной доброты и самоотверженности. Ее слишком много для амбициозного и неглубокого Тараса. В итоге Ава соединяется с сыном Ренаты Ресом — это своеобразный союз русской страсти и европейской рассудочности. Однако в широком духовном плане Ава составляет идейно-композиционную пару с гомосексуальным режиссером Эрастом: оба наделены неиссякаемой энергией, оба слишком хорошо понимают окружающих, свободно читая их мысли и подсознательные импульсы. Намечается своеобразная романная феноменология

Предисловие

женского и мужского начал. Естественно, что она становится непосредственной темой следующего произведения.

«Мужское — женское, или Третий роман» (2002) — произведение, замыкающее своеобразную трилогию, это синтез, финал «поединка рокового» между Женщиной и Мужчиной как таковыми. В отличие от первых двух романов здесь среди персонажей нет ни литераторов, ни филологов, ни людей искусства. К минимуму сведены литературные аллюзии и реминисценции. Герои почти ни слова не произносят о книгах, фильмах, спектаклях или картинах. Роман отражает ситуацию рубежа 19 и 20 веков, когда на первый план в России вышла реальная жизнь с ее глубиной и невыдуманным драматизмом, не вмещающимся в сложившиеся литературные формы.

В этом романе Ольга решительно отказывается от навязываемого ей и обозначенного, в частности, в «Литературной газете» Татьяной Морозовой амплуа автора «интеллигентных производственных романов», где «скрупулезно и со знанием дела» описываются колоритные профессиональные сферы, литературно-издательская и театральная. И главная героиня «Мужского — женского» Клава, и ее муж Константин Калистратов, и предмет ее «роковой страсти» Константин Нерлин — все они заняты в бизнесе, где-то между экономикой и правом, но с подробностями и перипетиями их профессиональной деятельности автор читателей не знакомит. Сущность характеров и отношений раскрывается через любовный конфликт. Клава — абсолютно добросовестная труженица, любящая жена и мать, но работа и семья не могут вобрать всю душевную энергетику хорошо сохранившейся женщины в возрасте «за сорок». Роман содержит своеобразную полемику с толстовской «Анной Карениной», заметную и в мелочах (и муж, и друг героини имеют одинаковые имена, как Алексей Каренин и Алексей Вронский), и в трансформации главного конфликта. Героиня Толстого вступает в любовную связь оттого, что ей чего-то важного в жизни недо-

стает, — и такое объяснение «порочного» поведения женщины до сих пор господствует в русской словесности. А Клава влюбляется в Нерлина от избытка жизненных сил, открывая для новой страсти новое место в своей душе. Откровенное объяснение героини с мужем — это демонстрация свободы и чистоты, возвышающихся над моралистическими нормативами:

— Тебе какая я нужна — мертвая и верная или живая и...
Какая? — сама не знаю.

— Живая, живая! — не раздумывая выбрал Костя.

Творческая новизна романа — в том, что он как бы прерывается на середине — на самом деле это точно выбранная позиция для духовно открытого многозначного финала. Критик Галина Ермошина в журнале «Дружба народов» интерпретировала его следующим образом «Современная любовь — это не отдача всего себя и растворение в любимом человеке до полной потери самоощущения, а сознательное разграничение. Проведение линии отчуждения, которая и является спасительной для обоих, сохраняя цельность и объемность отдельной личности».

Выпустив все три романа единой книгой под названием «Приключения женственности» (2003), Ольга тем самым подводит определенную черту под сделанным ею в литературе. После чего решительно отходит от себя прежней и принимается за совершенно новую для нее тему. Роман «Три товарища, Агаша, старик» посвящен молодой интеллигенции, сформировавшейся уже в горбачевско-ельцинское время. Журналист Митя, историк Иван и математик Леша — это герои нового времени, они представляют духовную атмосферу самого начала двадцать первого столетия и в то же время спорят о вечных русских и мировых вопросах, подобно персонажам Достоевского (недаром имена трех товарищей совпадают с именами братьев Карамазовых). Здесь Ольга разрабатывает новый для себя способ творческого перевоплощения. Митя, Иван, Леша плюс юная Агаша —

Предисловие

это персонификация разных частей авторской души. В романе звучит полифонический хор разных точек зрения, а музыкально-смысловым итогом становится финальный разговор о счастье. Авторская идея о принципиальной возможности счастья в этом мире и в этой стране не декларируется, а передается, дарится читателю вкупе с мощным эмоциональным зарядом, помогающим сохранить веру в себя и в жизнь.

Двадцать первый век требует от каждого писателя по-новому определить свою позицию по отношению к зеркально отражающему жизнь реализму и творящему новую реальность модернизму. Ольга здесь идет весьма своеобразным путем: она постоянно ставит эксперименты на себе, на собственной душе, а потом претворяет в сюжетах результаты рискованного взаимодействия с людьми и жизнью. Ее писательская работа сама стала особенным сюжетом, развернутым в романе «Четыре Пигмалиона» (2004). Это, если так можно выразиться, *реалистический*

миф о том, как женщина становится личностью и художником. По отношению к предшествующему творчеству Ольги — это «метароман», философски обобщающий ее житнетворчество. Образы четырех «Пигмалионов», оказавшие влияние на судьбу Галы=Галатеи, спроецированы на некоторых реальных прототипов, однако читатель отнюдь не нуждается в их расшифровке: смысл сюжета внятен сам по себе. Вообще для романов, повестей и рассказов Ольги несущественно, какие реальные люди выступали ее «натурщиками» и «натурщицами». Читателю немного даст знание того, что за фигурой Кайсарова в «Женском романе» стоит Каверин, а в Эрасте из «Мужского романа» выведен Роман Виктюк, работу которого Ольга увлеченно изучала некоторое время. Перед нами обобщенные типы — старого интеллигентного писателя и богемного режиссера, и типичность их усиливается по контрасту с предельно индивидуализированными характерами Жени и Авы.

Высокая степень индивидуализированности присуща и языку Ольги. Она решительно чурается штампов — как

смысловых, так и словесных. Начав писать уже сложившимся, взрослым человеком (и к тому же еще профессиональным знатоком множества чужих текстов), она сразу вышла на собственную стилистику, миновав стадию ученичества и следования модным поветриям. В этой прозе нет декоративно-субъективных сравнений, каждое образное уподобление психологически мотивированно, оно не тормозит сюжет, а двигает его: «И не то что голова была занята какими-то мыслями, нет, пустота была закипающей водой, которая просто испарится, если ничего туда не добавлять, но подбрось крупы-овощей, и месиво, нагревшись, начнет выплескиваться на плиту».

Со временем стиль Ольги становился все более афористичным: мысли, кристаллизуясь, выходили из подтекста в прямые, зачастую резкие суждения. В рецензии на «Приключения женственности» Татьяна Сотникова пишет, что книга «дает такое множество подобных ответов — почти советов на все случаи жизни, — что их впору записывать в ежедневник». И Дмитрий Быков отмечает: «Проза Новиковой полна точных и язвительных наблюдений — о навязываемой дружбе, которая вашего друга ни к чему не обязывает, но вас вяжет по рукам и ногам; о преимуществах прагматического интереса к нам со стороны окружающих — по крайней мере можно верить в его неподдельность... Это проза умной, точной и деловой женщины, не шадящей ни себя, ни окружающих».

Афоризмы Ольги не эгоцентричны: они нацелены на то, что читатель сразу примерит авторскую мысль к собственной жизни, к своим отношениям с окружающими. Например: «Агрессивность — знак того, что ты не в силах жить в безграничном, меняющемся, прекрасном и жестоком мире, космическом, если без шуток, а просто хочешь огородить вокруг себя уютненькое пространство, выпихивая взглядом, словом, жестом посторонних, мешающих тебе».

Сущность романной прозы, может быть, и состоит в сравнении событий с мыслями. Мысль становится достоянием читателя, когда она многократно и разнообразно разыгра-

Предисловие

на в сюжетах, в соотношениях живых характеров. Прислушаемся к дуэту голосов автора и героя в романе «Три товарища, Агаша, старик», где мысль предельно эмоциональна, а чувства подвергнуты основательному осмыслению:

«Во все времена редко с кем можно поговорить так, чтобы мысль одного питала-подталкивала мысль другого. Когда в результате не оценку выставляешь, а понимаешь что-то важное для того, чтобы гармонизировать свою единственную жизнь. И именно она, твоя жизнь, вливаясь в жизнь всей планеты, может, как кристалл марганцовки, послужить ее очищению от скверны, думал Иван.

Вслух так бы ни за что не сказал: высокопарность слишком уязвима, самого всегда тянуло над ней посмеяться. Пафос, который навывнос, чаще всего лукав. А наедине с собой у каждого то и дело высвечиваются однозначные координаты добра-зла. Очищающая интимная высокопарность. Парение...»

Вл. Новиков

ЧЕТЫРЕ ПИГМАЛИОНА

Первая любовь

«Теперь я точно знаю, что такое любовь», — вырвалось у Галы в метро. Подъезжали к «Домодедовской». Оттягивая расставание, она снова увязалась за Чигориным, который возвращался на дачу. От нее к себе. Спокойный, невозмутимый, он и сейчас даже не улыбнулся. Может, не расслышал? Но это было не так важно, мысли вслух не нуждаются в ответе. Сама соображай — вот к чему приучило ее упорное, но не натужное, а естественное чигоринское молчание, в котором утонуло, растворилось (и сразу было прощено?) столько ее глупых — детских и бабских — вопросов-обид.

Гала и шевелила мозгами, не тяготясь долгой — с двумя пересадками — обратной дорогой. Муж, от которого она не подумала скрывать свои провожания, посмеивался. Вот это женщина! Ради покупки сапог или еще чего-нибудь насущного и шагу из дома не сделает, а тут едет на самый край метрошной схемы. И счастлива.

...Так почему все еще больно? Ни разу не сказал ей Чигорин — «люблю». Но он же и объяснил: это слово без поступка все равно что срезанный цветок — долго не живет. А у него такие жизненные обстоятельства, что хода нет. Ни одного.

Четыре пигмалиона

И она, Гала, бессильна что-то изменить...

А было ли у нее по-другому, безоблачно? Если честно вспомнить? Все важные, существенные отношения ее женско-мужские были со страданием, с душевной мукой. Ее мужчины, как скульпторы, отсекали от нее, живого куска живой природы, лишнее, ненужное, нарушающее гармонию. Резцом по плоти — конечно, больно. Но она вытерпела. Наверное, понимала, что без этой операции она бы не стала сама собой, зачахла.

Так что же, повтор? Люди разные, а модель одна и та же? И причем не новая. Даже исключительностью не погордишься, ведь миф о Галатее уже в телевизоре начали трепать — малокультурная певица называет своим Пигмалионом того пожилого юмориста, который ее, юную, учил, какие книжки надо читать.

Ну и ладно, пусть она — как все, как многие. Типический человек в типических обстоятельствах.

Человек-личность — в отличие от человека физического — начинается с первого воспоминания.

Когда Гала начала жить?

Что первое она помнит о себе?

Сама помнит, не по рассказам родственников, не присоиня по самым ранним фотографиям. Их-то как раз и мало. Сколько? Да всего одна, про которую она не знает, как и кто снимал ее, доверчивого бутузика в ситцевом платье с крылышками вместо рукавов. Время было не документальное. Середина двадцатого века, пятидесятые годы, русская провинция...

Так вот, первое воспоминание.

Ночь. Папка держит ее, голенькую, над эмалированной раковиной. В кухне. Умывальник-то в доме всего один, для

всех нужд. Очень хочется пописать, но никак не получается проснуться. Правая отцовская рука вместе с закинутой на нее безвольной детской ножкой, осторожно растопыривая не умеющую говорить дочку, дотягивается до крана и пускает из него тонкую холодную струю. Гала открывает глаза, пипка расслабляется и в резонанс отвечает громким журчанием. Все.

Картинка-вспышка далеко отстоит от устья, из которого уже сплошняком льется ручей запомненной событийной, фабульной жизни. Ручей, река, море... Детство, отрочество, юность... Много еще воды утечет до взрослости, до выхода — в одиночку — в океан безбрежный, без однозначных ориентиров-помощников.

Папина дочка — вот кем была Гала до последнего курса в универе.

Долго, очень долго (слишком детство затянулось?) в голову даже не приходило послушаться отца.

Молоко с содой надо выпить? Зажмуривает глаза, чтобы противную пенку не видеть, останавливает вдыхание, чтобы сладковатый запах в ноздри не залетел, и дает влить в себя, превратившуюся в бесчувственный обрубок, лекарство-яд. Не ропщет — пусть потом и стошнит.

Погоулять зовут? Ладно, пошли, даже если больше хочется дома остаться, чтобы книжку дочитать, или повязать, или просто у окна пометчать.

В музыкальной школе надо учиться? Хорошо. Пусть на уроках сольфеджио никак не получается пропеть, не сфальшивив, самую простую мелодию, пусть этюды Черни кажутся туповатым упражнением для пальцев, а разучивание любой пьесы из «Детского альбома» Чайковского — тягомотиной. Велено заниматься дома три раза в неделю,

с пяти до шести вечера — выполняет. Без напоминаний, на самоконтроле. Барышня из приличной семьи должна учиться музыке.

Тем более что было, ради чего потерпеть. Награда — музлитература по четвергам. За сорок пять минут урока Галя ни разу не поднимала глаз на квадратные часы в казенной деревянной оправе, тикающие над грифельной доской. Это в классе, а в домашнем углу между беленой печкой и никелированной кроватью с тяжелыми блестящими шариками, которые так и тянет отвинтить и поперекачивать в ладонке, она плюхалась своей упругой попой на низкую крепенькую табуретку и прилипала к книжкам с биографиями композиторов, либретто опер, разборами симфоний, где в понятные слова переводится музыка — тревожная, нарушающая покой и самодельную, домашнюю безмятежность. Впитывала, нисколько не ревнуя к чужой жизни, к чужой славе, к чужой радости.

Завидуют, когда сравнивают. Когда чувствуют, что у самих такого никогда не будет. Галя же всякий раз, открывая книжку, растворялась в какой-нибудь судьбе. Раз — и становилась Джейн Эйр, Татьяной Лариной, Эдмоном Дантесом, Жюльеном Сорелем... Все равно, в каком веке, в какой стране, пол и возраст тоже любые. И потом, хоть чуть чуточку новая, не без усилия возвращалась в свою жизнь.

Дома книг было немного, а областная детская библиотека далеко — целых два квартала по деревянным тротуарам со сломанными дощечками (бежать, не глядя под ноги — опасно) до троллейбуса и три остановки по центральной улице Карла Маркса. Раз в неделю из этого далека притаскивала Галя пищу для запоя, пять-шесть бумажно-картонных кирпичиков — больше не выдавали за раз, да и не унести. Вот и весь скудный паек. Раздразнит аппетит, но не насытит. Счастье привалило, когда отцу вместе

со званием заслуженного строителя дали новую квартиру в центре, на Театральной площади, рядом с серой машиной обкома, в пяти минутах ходьбы от книжного хранилища. Вот тогда уголяла страсть. Не разбирая, чем — советчика-руководителя не подалось пока. А отец? Технар — страсти, совсем далекие от литературы....

«Бедненькая ты моя... Росточку бы прибавить, бедра подтесать, талию... Да нет, что тут поделаешь — кость широкая...», — вслух, но ни к кому не обращаясь, посетовал отец, впервые посмотрев на дочь как мужчина на женщину. На женщину не в его вкусе. Переодеваясь в домашнее, восьмиклассница Галя тогда самозабвенно напевала песни, которым только что внимала с переполненной галерки актового зала политеха — Муслим Магомаев приезжал. Событие...

Как со всем, исходящим от любимого папы, безропотно согласилась она и с его приговором. Ему ли, признанному всеми красавцу, не знать... Неказистая? Выродок? Ладно. Даже не огорчилась, даже в душе не посопротивлялась. К зеркалу не кинулась — перепроверить. И взгляд его, незнакомый, неродной, из памяти выкинула. Легко. Труднее было забыть распаренного отца, выходящего из ванной в черных сатиновых трусах, из-под которых, когда он случайно забыл их расправить, высунулось то, что отличает мужчину от женщины. Стыдно было подглядывать, и не смотреть не смогла. Отец стоял в коридоре, вытирая голову махровым полотенцем и что-то говоря матери.

Но и эту эротическую картинку детская природа отцензуровала. Как? По-детски, конечно. Опасно для взрослой женской жизни. Чувства и мысли Галы о противоположном поле как о физической, а не только духовной сущности, заморозились. И надолго. Почти атрофировались...

Куда поступать после школы?

Конечно, в Москву. Туда, где самые первые люди живут, где Хрущев с настоящим русским хлебосольством, по-барски, а не по рабоче-крестьянски, справил всесоюзную космонавтскую свадьбу в тот год, когда у них, в провинции, ночами стояли за черной буханкой, а батон белого раз в неделю выдавали только матери-язвеннице. По одноразовой справке от гастроэнтеролога.

В Москву, в Москву, где правит Политбюро и заседает правительство, где создаются и потребляются фильмы-спектакли-симфонии-книги. Только в Москву. Тут уж у самой Галы никаких сомнений не было. В университет, который тогда, в шестьдесят седьмом, был самым высшим учебным заведением Советского Союза.

В первый город земли рвалась она, даже не ведая об удовольствиях от власти или от успеха, которые (как колбаса и другие продукты физического и духовного питания) распределялись только в столице. Откуда о них узнать? Телевизор родители не покупали (дочь от учебы в двух школах нельзя отвлекать), а мораль того времени, проникающая черт знает как в поры каждой ячейки общества, требовала скромности, скромности и еще раз скромности. Не рыпайся, не высывайся! Гала и приняла на веру этот хитро-ханжеский лозунг, превращавший людей в послушные, легко управляемые винтики. И властям удобно, и простому человеку хорошо: вполне благородное оправдание лени, ничего не скажешь... Хорошо хоть не остановило ее то, что противоречит этот ловко закамуфлированный ценз оседлости стремлению учиться в столице.

Весной отец специально отправился в командировку, чтобы достать-добыть — если понадобится, то хоть и в бою, — книжечку с высоткой на обложке и с перечнем факультетов-экзаменов. Привез. Гала прочитала. Захоте-

лось ей на филфак. А боязно: конкурс туда самый большой. Без блата, конечно, не поступить. Медалистке вроде бы легче — только сочинение на «пять» написать, но ведь про любое можно сказать: «тема раскрыта неглубоко». Ничего же никому не докажешь... Нет, лучше уж на мехмат — там, по крайней мере, все точно, правильный ответ один-единственный, никакой субъективности. Душа не лежит? Ничего, стерпится...

Решение уже было принято, когда Галя, прощаясь с мечтой, последний раз перечитывала раздел «филологический факультет». Что?! Есть отделение, куда медалисты сдают математику письменно и устно? На филфак — математику? Здорово! С чем едят эту структурную и прикладную лингвистику — не все ли равно... Главное — туда, поближе к словесности!

Общежития для сдачи экзаменов Галя не просила: четвероюродная сестра, воспитательница, проводящая лето на детсадовской даче, оставила для провинциальной родственницы у соседей ключ от своей комнаты в коммуналке на Большой Садовой.

Ночь перед первым вступительным испытанием Галя совсем не спала: не от страха — от новизны. Столько всего впервые! Огромный длинный дом с несколькими арками, похожими друг на друга. Которая своя? Несколько раз перепутала. Широкие лестницы с непонятным, столичным запахом, который, как слово-символ, закрепляет в памяти таинственную, притягивающую многозначность. Соседи, занятые своей жизнью. Совсем несердитые. Телевизор цветной. И столько вкусного: белые длинные булки, например, и вязнущие в зубах квадратики спрессованного мака с орехами, и не пробованная раньше черешня...

Вскочила Галя по будильнику, приделась и побежала через площадь, мимо памятника горлану-главарю — к ос-

тановке на Горького. Вошла в троллейбус, села к окошку, только успокоилась, как вдруг слышит из динамика: «Перспект Маркса, конечная». Как «конечная»? Гала испугалась, но послушно вышла. Где же университет? Заметалась, у одной тетки спросила, у другой — никто не знает. Красная площадь, Кремль — вот они, а где университет, куда в прошлый раз довезла тупорылая машина под этим же номером? «В справочном бюро спросите», — посоветовала четвертая спрошенная, старушка. И показала на терем, возле которого растерянно топталась Гала. Оказалось, инстинкт послушания ее подвел. Надо было проехать еще одну остановку — «единичка» делает тут круг перед возвращением на улицу Горького. «Конечная» в данном случае — просто условность. Побежала за угол, запыхалась, но не опоздала.

«Ты, девочка, у меня ничего не спрашивай — мне бабушка не велела никому помогать», — предупредила Галу случайная соседка по столу. Мелькнуло: что же, в Москве все такие? Царапнуло и забылось.

Пять задачек Гала решила сначала на черновике, а потом — уже сильно торопясь — переписала на чистый лист с фиолетовой печатью в правом верхнем углу. Уф... Успела.

Следующие три дня, до устного экзамена, не выходила из кельи. По типичной провинциальной самонадеянности не поехала проверять, не двойка ли за письменный. Зачем? Все же задачки решила. Почитывала учебник, когда могла оторваться от телеаквариума, в котором, как говорящие рыбки, живут черно-белые фигуры. Привораживающая новизна.

Ровно в десять утра Гала зашла в аудиторию с первой группой и первая же села отвечать. Высокий широкоплечий усач — из мира взрослых, но совсем еще нестарый, — принялся неторопливо гонять ее: и по билету, и за его пре-

делами, то и дело заступая за школьную программу. После пятого-шестого вопроса Гала вошла в азарт и позабыла, что она не дома.

А со стороны заметно было: экзаменатор не столько слушает ответы, сколько наблюдает, как с девочки слоями сходит старательность, испуг, зажатость и оголяется ее природа, ее физически-духовная сущность. Они уже как будто исполняли одну и ту же партию, без подсказки чувствуя, когда надо вступать, а когда помолчать, когда напрячься, а когда расслабиться.

Напарница усача, пухловатая блондинка, крашенная, с не совсем уместным декольте, заерзала, наклонилась к его уху и громко прошептала-прошипела:

— Ты сколько, Чигорин, сегодня тут торчать намереваешься? Опять только переночевать придешь? Смотри, у меня не гостиница...

Вместо ответа обвиняемый, посмотрев на Галу так, как будто хотел и ее прихватить на ужин с ночевкой, буркнул подруге: «Погоди, погоди», — встал и несуетливо, на ходу о чем-то размышляя, пошел из аудитории. Гала не успела еще придумать никакого объяснения, как он вернулся с белыми листками, покрытыми ее синими закорючками.

— Ну конечно, я был прав. Не могла такая девка на четверку написать. Вот, смотри, в черновике у нее все правильно решено.

— И что с того! — огрызнулась напарница.

Чигорин невозмутимо — чему-то своему, а не в ответ — улыбнулся, не вступая в мстительный дуэт с нервной партнершей, пододвинул к себе экзаменационный лист провинциалки. Не торопясь, нашел нужные графы, поставил четыре «пятерки» — две цифрами, две прописью в скобках, и «поздравляю» сказал ровным, совсем не взволнованным голосом. Даже пальцем не коснулся Галы, пе-

Четыре пигмалиона

редавая ей пропуск в студенческую жизнь, и сразу выкликнул:

— Следующий...

Окольцевав девочку нерасчетливой добротой, выпустил на волю. И забыл?..

Оставшееся лето Галя провела в растерянности. Странно все как-то... Отец гордится ею, гостей зовет в дом. По современному бы сказали — организует презентацию семейной победы. На провинциальном уровне... А Галя самозванкой себя чувствует... Никакой же бумаги пока нет: даже листок с оценками, и тот остался в учебной части, где насупленная девица в очках с толстыми тяжелыми стеклами, то и дело сползавшими на нос, переспросила: «Медальстка, говорите? Ну так приезжайте в конце августа, нечего тут людям мешать!» Хорошо хоть, что Галя уже привязалась к университету и не смогла сразу оторваться от него: потолкалась еще в коридоре, и когда вредина вышла в сортир, снова втиснулась в деканский предбанник и опять бестолково задала свои взволнованные вопросы тетке постарше. Та хотя бы спросила, нужно ли общежитие, и велела написать заявление. А про остальное — то же «ждите вызова...»

Два самых лучших, самых свободных месяца, июль и август, рабский испуг в себе держать... А с кем поделишься? И в голову не приходило отцу о своих страхах заикнуться. Иногда Гале даже удавалось прикурить от его радости — улыбнется натужно в ответ на его счастливый взгляд, и, глядишь, неуверенность забьется в угол... Ненадолго. Да выговорилась бы — может, и освободилась бы от своих драматических фантазий. Где там! С детства внушалось: на людях держись, пусть все видят, что у тебя все в порядке. Твоя сла-

бость — это брешь, в которую враг может прорваться. Если бы можно было на университетской лестнице ждать — и то бы легче...

Изъеденная робостью душа уже не могла ликовать, когда в почтовом ящике наконец появился белый стандартный конверт со штампом на месте марки. Как реликвия, рядом с золотой медалью и пшеничным локоном, срезанным отцом с трехлетней головки Галы, залегло в бельевом шкафу официальное извещение: принята, приезжай. И место в общежитии дали.

...Гала удерживала слезы до тех пор, пока поезд не тронулся. Разрыдалась только тогда, когда сверкнула папкина лысина — отец, бегущий за ее вагоном, наткнулся на перронный столб и наклонился, чтобы поднять слетевшую соломенную шляпу.

Когда же она перестала плакать, уезжая из дома в Москву? На четвертом или уже на пятом курсе? Нет, теперь не вспомнить... Сначала-то вырывалась на все праздники, даже если выкраивалось только два дня, свободных от лекций; сессию старалась досрочно сдать, чтобы подольше дома побыть; на втором курсе удалось тридцать первого декабря освободиться, чтобы первого января папин день рождения со своими отпраздновать; летом отказалась от экспедиции на Памир — домой тянуло.

А потом...

Не приехала на ноябрьские: к зимней сессии, мол, надо готовиться, в летние каникулы после третьего курса отправилась в лингвистическую экспедицию на Карпаты, после четвертого — на Кольский полуостров саамский язык изучать... Много уважительных причин вырабатывает молодость, чтобы не уважить родителей.

Отец не жаловался. Все понимал?

Что — «все»? Домашнюю девочку от дома обычно отлучает первая влюбленность. Многолетнюю тягу к родному очагу с корнем вырывает какой-нибудь безответственный хмырь, нисколько не заботящийся о последствиях вызванного им цунами. На пятом курсе и Гала очутилась в зоне действия этого простенького житейского закона. Поздновато... Все равно что заболеть ветрянкой в двадцать лет.

Неужели раньше никто не обращал на нее внимания? Ну ладно, филфаковские мальчишки не в счет: они быстро портились, подгнивали под горячими лучами многочисленных девичьих взглядов. И редкие потом становились настоящими мужчинами, которые соединяются не с теми, кто их домогается, а выбирают сами. Но мужской мир ведь велик, он-то почему скромницу не замечал? («Слишком рано стенку ставите», — объяснил недавно Чигорин, когда Гала, услышав его «Какая вы красивая!», вдруг стала ему исповедоваться — неожиданно для себя и «что-то поздновато» по его меркам: на третий только год его дружбы и ее любви.)

«Не замечал» — конечно, преувеличение. Но в ее памяти остался только мусор, который бы вымести и забыть. И хмырь тот задержался в голове лишь потому, что был сыном знаменитого детского классика. Пусть хоть такая двоюродная связь с литературой... Именно про папашу ей было интереснее всего слушать, книжки на родительских полках трогать-читать, фотографии рассматривать, звенеть колокольчиками, которые привозил глава семьи, любитель путешествий. Познакомиться с ним Гала не успела. Он умер внезапно, от инсульта, и отпрыск по этому случаю даже свидание с ней не отменил. Не напился с горя в траурный день, а только с подробностями рассказал, как

отец, узнав о невинности своего четырнадцатилетнего сына, брезгливо удивился и тут же отвез его к профессионалке. Вот они какие, настоящие писатели для детей и юношества.

«Меня приятели зауважали благодаря тебе. Все были уверены, что я только с блядьми умею общаться», — признался он на второй месяц их дружбы. А на третьем месяце «дружбы и только» выдохся. Перестал звонить.

Объяснить, почему, было некому, да Галя и ни за что бы никому не рассказала о том, что чувствует себя брошенной. Стыдно же. Поэтому сердечные муки растянулись надолго. Не справились с ними до конца и такие властные события, как окончание университета, замужество, свободное распределение и пристройство на работу в Москве... Уже гуляя с детской коляской, Галя все еще мечтала прославиться и, встретившись где-нибудь с писательским сыночком... И что? Дальше-то что? Да, до чего ж нелепы и бессмысленны девичьи грезы...

Или не так уж и бесполезны? Разве лучше забыть все, что ранит, разве правильнее выбросить из головы все, что не получилось?

Боль со временем выветрилась из воспоминаний, которые уже не лежали комом в дальних углах памяти — Галя то и дело перетряхивала их в разговорах с мужем.

— Да я сам сосунком был, когда мы встретились... Какой Пигмалион... Хотя... Надо посмотреть, как там, у Публия нашего Носова, ну, Назона... — Вскочив с кресла, муж принес из кухни крепкий венский стул, купленный, так сказать, на безальтернативной основе: лет двадцать назад взяли то, что было, когда с последней съемной квартиры хозяйка вдруг увезла холодиль-

ник и все табуретки. Страхнул с ног тапочки, встал на сиденье и, не поплутав даже секунды, вынул коричневый том с верхней полки коридорного стеллажа. Профессионал — сразу нашел нужное место и протянул распахнутую книгу жене: — Прочитай сама, мне без очков трудновато.

Гала пробежала глазами строк десять, пожала плечами и стала декламировать вслух:

— «Оскорбясь на пороки, которых природа женской душе в изобилие дала, холостой, одинокий жил он, и ложе его лишено было долго подруги...» Ну, признавайся, совсем не твой портрет. — Спокойно, без какого-либо женского подвоха посмотрела она на мужа.

— Тебе что нужнее, комплимент или беспощадная правда? — спросил он.

Не из праздного любопытства спросил. Все чаще и чаще Гала теперь пребывала в том трагическом состоянии, когда более или менее развернутый и невымученный комплимент мог спасти ее — прямо как крик «назад!» человеку, стоящему на краю пропасти.

— Мне нужно всё! Мне-женщине — правдивый комплимент, а мне-писателю — беспощадная правда. Но ты же все равно дашь только то, что можешь. Не осторожничай, выдержи. И не трусь — вот тебе моя индульгенция: все, что ты скажешь, не будет... — Гала помедлила, чтобы в себя заглянуть, проверить: не хитрит ли, не дает ли обещание, которое не в силах сдержать. Далеко лезть за правдой не потребовалось — вот она, светится: никакие обидные открытия не могут перечеркнуть тридцать лет их совместной проходки в полузаброшенной шахте, где добывается духовное топливо. И она немедленно закончила фразу: — ...не будет по-бабски использовано против тебя.

Рассказ мужа

— Да у меня до встречи с тобой если и было что взросло-го, то только мужская амбиция. Помню, в восьмой класс пришла новенькая — грудастенькая с лицом недостаточно скульптурным, на плоский омлет похожим. Ничего особенного. Никто на нее и внимания не обратил. И вдруг вижу: она идет по улице с взрослым усатым дядькой, и его волосатая мускулистая рука нет-нет, да с ее голого плеча на аппетитную грудь соскальзывает. Явно не по-родственному. Ну, думаю, этот-то, наверное, больше меня понимает в бабах...

— И что?

— С ней — ничего, но я тут же стал приударять за подружкой двоюродного приятеля, который слег в больницу. Сам-то девочек не умел оценивать, нужна была посторонняя рекомендация.

— А, знакомый мотив... И про любую мою одежду ты сходу ничего сказать не можешь, зато чужую рецензию так обоснуешь потом, что кажется — ну, профессионал...

— Да, вроде того... Есть еще комплекс Розанова, который, как известно, женившись на Аполлинарии Сусловой с Достоевским тем самым вступил в духовный брак. Вообще, любят мужики общаться друг с другом через дамское пространство. У меня-то скорее охотничий азарт был. Сперва другие указывали, куда целиться, потом, в университете, и худая, и толстая дичь уже сама на меня начала кидаться. А хотелось чувствовать себя благородным... Вот и решил, что грешить надо только с плохими девушками. А если какая вдруг захочет задержаться, то можно отделаться, постепенно сводя общение на нет. Про однокурсницу, которая уговаривала меня на ней жениться, чтобы у меня же решилась проблема с московской

пропиской, я прямо так и думал: почему бы нет? От меня ведь не убудет...

— Ты что, хочешь сказать, что радости от секса не получал?

— Да, откровенно говоря, ничего такого пронзительного не запомнилось. Может, адреналин в кровь поступал, когда в один день встречался с двумя девицами, не подозревающими друг о друге... Всегда хотелось поскорее встать, выйти и начать хвалиться своей победой. Если не перед другими, то перед самим собой.

— Что же — расчет, один расчет?

— Пожалуй... Ведь «хочу трахнуть» — довольно отчетливо говорит наше сознание, а вот «хочу быть вместе» — это подсознание сначала должно почувствовать, а потом уже продиктовать разуму.

— А что ты подумал, когда меня увидел?

— Честно? Ничего. Перед нашей встречей я был в глубокой ж... Пардон, в кризисе. Примерно как ты сейчас... Счастье мое, что в душе все-таки сохранилось такое место, которое еще могло срастись с другой душой.

— Вот это да! Как по-разному было. «Расемон» прямо... У тебя ум отключился, а я сразу поняла твою тягу ко мне. Твоей природы к моей. Человечную тягу, в которой духовное и физическое нераздельны, как водород и кислород в молекуле воды. Черт, высокопарно как-то звучит. Если б писала, то свои бы слова искала, а в разговоре... Ладно, пусть так будет, а то мысль ускользнет, пока слова ищешь... Я тогда соседкам по комнате сразу нахально пообещала, что выйду за тебя замуж. Похвасталась. До сих пор за это стыдно. Никогда ведь ничем интимным ни с кем не делилась. А физическая природа моя, как у спящей царевны, пробудилась только... Когда? Я не помню... Во всяком случае не в первый

раз, когда у тебя, бедненького, ничего не получилось. Ты тогда очень испугался?

— Господи, меня и сейчас всего передернуло... Неужели ты и об этом способна написать?

— Конечно. Помню, мы из нашей тогдашней компании смылись вдвоем и к тебе заехали.

— Да первый раз же в Тихвинском переулке было.

— Нет, на Ленинградском проспекте, возле кинотеатра «Нева». Задело, выходит, раз забыть постарался... А я помню, но не бойся, помню совсем не обидно для тебя. Да я и не понимала, что после таких неудач женщины обычно делают оргвыводы. Никаких итогов я не подводила, вот и не ошиблась. Ты же тогда закончил аспирантуру и на птичьих правах в Москве квартиру снимал, а у меня на носу были госэкзамены и распределение. У обоих полная неопределенность, и надо было уж совсем ничего не соображать, чтобы эти две неизвестности объединить. Взрыв чаще всего от такого безрассудства получается, взрыв, который не только союз может уничтожить, но и его участников в клочья разнести. Ну чистая, стопроцентная, на первый взгляд, глупость.

— В природе ничего не бывает без примесей, даже глупости. Помнишь, Пашка мне советовал не жениться. Вступить сперва в фиктивный брак, чтобы прописку получить. Криницына в пример приводил...

— Да много чего кумушки разные насоветуют. Особенно, когда их не просят. Мама, в глаза мне не глядя, внушала, чтоб мы сразу ребенка не заводили, а я уже беременная была. Э, не увиливай, отвечай, что ты тогда, в наше первое свидание, подумал.

— Я ничего не думал, все само собой как-то получилось. Неосознанно. Попробую сейчас это словами описать... Не могу, трудно.

— Ну пожалуйста, напрягись, а?

Четыре пигмалиона

— Ладно, ладно. Слушай. Стыдно мне не было. А было полное упоение твоим телом, даже без вхождения в него. Трогать тебя мне нравилось, от каждого прикосновения было столько удовольствия! Не получилось с первого раза, может, потому что подсознательно хотелось растянуть наслаждение. Я, наверно, предчувствовал, что впереди у нас много лет — куда торопиться.

— А говорят, что только женщины все наперед знают. Врут, оказывается. И в этом мы равны. Но ты мне тогда ничего подобного не говорил. Даже красивой совсем недавно стал называть. Почему? Как с одежкой, дождался, когда меня другие стали хвалить?

— А ты, честно говоря, не была тогда красивой.

— Хм, приятно слышать...

— Ну мы же договорились без цензуры... Зачем тебе беллетристическое вранье? Что ж, опять впервые попробую сформулировать свое впечатление от тебя. Глаза твои прятались, будто боялись полностью раскрыться на фоне большого овального лица. Их надо было еще прорезать. Но и тогда они выделялись, а с годами становились все больше и больше. Сейчас так просто огромные. И бездонные. Когда ты страдаешь, они такую трагичность излучают, что я глядеть не в силах. И лицо твое под них перестроилось, и тело. А тогда ты была неуклюжая, порывистая толстушка с несуразной, тяжелой походкой. Мне казалось, что ты искала, кому бы себя подарить. Когда женщина без слов объявляет: я маленькая, беззащитная, возьми меня под свое крыло, это отнюдь не на всякого мужчину действует. Ты же как бы говорила: я большая, бездонная, ты во мне растворишь все свои страдания и получишь бездну наслаждения. И что главное — ни в чем не обманула. Меня притянуло к этому куску природного материала, я взял его и стал с ним работать.

— Претендуешь на роль первого Пигмалиона, да?

— Не претендую, а являюсь. Первым был я, но, как в дальнейшем выяснилось, не последним. Сейчас вот пришло в голову: почему это я не запрещал тебе со следующими Пигмалионами водиться?

— Почему?

— Потому, что мне хорошо, когда ты счастлива... И еще, конечно, потому что ты, скульптура холодная и молчаливая, разрешения и не спрашивала.

А почему Галя не спрашивала? Да в голову не приходило... Может, долгая детско-юношеская послушность дала ей интуитивное право на непривычную, рискованную свободу, которая у близких, если они не собственники и не ревнивы, всегда вызывает тревогу... Может быть...

Сколько же спокойствия ее отцу выпало? Не полного, конечно. О каком таком покое может идти речь, когда умный старый человек любит молодого больше, чем себя... Его собственное послеинфарктное сердце и то давало о себе забывать, а о дочери он помнил всегда. Проснется ночью — и первая мысль: как она там, в этой враждебной, все время нервно-спешащей Москве. И сейчас еще совсем не поздно вернуться. Здесь-то, в Вятке, он может им помочь — и с квартирой, и с работой, и коляску с внуком большеротым он бы каждый день после работы катал. А то выставят голоштанного наследника на балкон, дверь защелкнут, щелочки на всякий случай не оставив, — и будто забыли, будто чужие. Пищи, кроха, сколько влезет. В кухне линолеум вздулся, потолок надо побелить, щели в оконных рамах законопатить... Заводские мастера бы за смену все сделали. А там, в столице, за этот барак с них целую сотню хозяйка лупит! Зачем, ну зачем так мыкаться?

Отец уже начал злиться, но быстро одумался. Сработал принцип «Юпитер, ты сердисься».... Не филолог, не знал он этой поговорки, но действие ее от формулировки не зависит. Есть такая закономерность — и все тут. Смысл-то в чем? Сколько ни дуйся, ничего же не поделаешь. Угробить все силы на возмущение, а толку от этого — пшик. Порвешь одну связь, другую. Ломать — не строить. Так что именно на себя подосадовал отец Галы, ведь без его помощи она бы в Москве этой не осталась. Окончила университет — и гуляй на все четыре стороны. Зачем учили, раз никому не нужны? Да и стороны отнюдь не все — в столицу без прописки не берут.

Вот и пришлось отцу с людьми разговаривать. А они уж, по цепочке, соорудили штучный, одноразовый мост из провинции в Подмосковье. Как? Помог директор Жуковского НИИ, однокурсник папиного шефа. (Что это за отношения? Какая-то замшелая романтика... Галя даже сразу после окончания универа ни о чем таком не могла бы попросить своих одноклассников, а тут лет тридцать прошло.) Сам отец слетал в командировку, в московское министерство, Галя заполнила бланки в сером сталинском доме, рядом с «Кировской» — и получила: прописку в подмосковном общежитии, работу в московском филиале института. И таким вот образом тогда судьба строилась — без участия денег. Про замужество не спрашивали, она и промолчала. А через пару месяцев муж нашел место учителя в том же Жуковском, ну и его в фиктивную общежитскую комнату прописали.

Все, подумал тогда отец, теперь, ребята, давайте сами...

Сами... Сына они сами сразу родили, деньги на квартиру сами зарабатывают, уроками, о будущем сами совсем не думают. И вот — междугородний звонок. Новая беда: зятя, рядового необученного, только что окончившего ас-

пирантуру, в армию призывают. Гала рыдает. Ее слезы всегда, с детства, могло добыть только настоящее горе. Душа ее должна была заплакать. Отца даже царапнуло: умру, будет ли по мне так убиваться? Мелькнуло и исчезло, все эмоции отключились, чтобы мысль могла свободно искать непроторенный путь.

Но сперва отец все-таки заразился дочкиным отчаянием. Ну чем, чем он-то может помочь? Пусть зять послужит... Армия из него настоящего мужика сделает... Родину же кто-то должен защищать... Подумал так и тут же сам себя одернул: нет, не годятся вполне благопристойные резоны для оправдания собственного бездействия. Может, для кого-то и справедливые слова, но когда дело касается двадцатишестилетнего сутуловатого гуманитария, который тяжелее паркера, полного черных чернил, ничего долго в руках удержать не мог, который на полпути к казарме может вдруг задуматься о своем, ученом, и пойдет, куда глаза глядят, а не куда приказано... Да хватит одного его рассеянного взгляда, чтобы самого недотепистого сержанта потянуло поизмываться над ним, хлюпиком-интеллектом.

Вряд ли дочь может весь этот риск понимать, скорее, у нее просто сработала интуиция самки, чье гнездо хотят разрушить, но он-то точно знает, что зятю грозит смертельная опасность. Точно ли? Что можно знать наверняка? Да почти все, если семьдесят лет внимательно присматриваться к людям, больше слушать, чем говорить, понять каждого стараться. Понять, а не заклеить. И если помогать только ответственно, то есть отвечая — насколько это возможно — за человека, которому помогаешь. Вот в этом случае осознать свою ответственность и научиться отвечать — оказалось всего труднее. Не ждать благодарности за помощь — просто. И почти невозможно предусмотреть, да еще и предпринять защитные меры, когда имеешь дело

Четыре пигмалиона

с инстинктивной, подсознательной злобой-ненавистью тобой облагодетельствованного.

Нет-нет, к зятю все это не имеет никакого отношения. Его надо срочно спасать — и все. Не до нюансов... Что же придумать?.. Кто может помочь?

Три года за свой счет по уходу за ребенком Гала использовала полностью, ни дня не отщипнув. Служба напомнила о себе лишь однажды: надо было передать им бумажку, то есть собственноручно написанное заявление об отпуске за свой счет. Пришлось встречаться с коллегой до начала работы, очень рано, в семь-сорок пять. Насилие впечатлило. Сама собой, по доброй воле Гала могла встать, и легко, в пять-шесть, но какой же ужас — по принуждению всякий раз в такую рань вскакивать, потом вливаться вот в этот несущийся табун людей хмурых, без человечинки во взоре, потом взаперти сидеть за служебной конторкой, изображая рвение. Даже если нет работы, уйти нельзя.

Три разрешенных года кончились — пришлось возвращаться на галеры, ведь общежитская прописка — современный вариант крепостного права. Проблем возникло множество, главная: ребенка с кем оставлять? Нашли няню, двадцатилетнюю девку из того же Подмосковья.

— Партийные вы, наверно, раз столько книжек дома держите, — констатировала она равнодушно, без пиетета перед ученостью. — А есть у вас книжка... ну, этого, кто написал «была б эта ночь после свадьбы»? — Не сразу, но назвала она имя абсолютного поэтического чемпиона в ее читательской категории. Знала, что он слепой. — Есть его книжка у вас? Не насовсем прошу. Перепишу и верну.

Такая няня попалась. О ее литературном вкусе, посмеиваясь, вспоминали и тогда, когда пришлось отказаться от

ее услуг — зачитавшись своим «Гомером», поклонница не успела, что ее подопечный целый час просидел на мокрых качелях в шерстяных рейтузиках. Простудился, конечно.

Следующая няня признавала только пятидневку. Каждое утро составляла список того, что нужно лично для нее сегодня купить. К концу ее рабочего дня. И не любила, чтобы кто-нибудь из родителей путался под ногами, пока она за ребенком присматривает. А муж к тому времени перешел в НИИ с двумя присутственными днями. Пару раз сходить в библиотеку — это нормально для ученого филолога, но писать-то лучше дома, тем более что язва требовала горячей пищи каждые два-три часа...

Следующая... Господи, кому только не доверяли свое чадо эти родители, сами еще дети. Пока наконец не кончилось их добровольное, квартирным вопросом оправданное рабство. Опять отец Галы пропустил свой жизненный ток по заброшенным было связям. Силы хватило.

Один директор снова замолвил словечко другому, и деткам перепала кооперативная «однушка» в сосновом бору возле платформы «Отдых». Институтский люд роптал, незадействованное в цепочке начальство его поддерживало. Аргументы самые простые: от «все хотят в Москве жить» (Подмосковье по своим возможностям давно приравнено к столице) до «она все равно от нас уйдет» и «есть очередники со стажем»... Легко сплачивается народец в борьбе «против», но быстро остывает и отступает, если с налету не получилось обиженного защитить.

Когда уже все документы на жилплощадь были готовы, то есть сразу после драки, реальная претендентка помахала своими кулачками — зажала вдруг Галу в отдельском закутке, локтем в бок пырнула и прошипела: «Гадина! Чтоб ты подавилась!» Выпустила жало и уползла восвояси. В советском романе тут положены угрызения совести (если

речь идет о сколько-нибудь главных героях), отказ от квартиры в угоду справедливости... Интересно, сколько раз в реальной жизни сработал этот соцреалистический ход?

У мужа даже живот заныл: не смог жену оградить-защитить, и змеюку обоим было жалко. Началось обострение: от голода внутри болит, но и от любой еды тоже. Что делать? Куда за помощью кидаться? Год назад, несмотря на такие же боли, военная медкомиссия признала его здоровым, годным к строевой. Тогда-то отец Галы сделал немыслимое, чтобы вырвать зятя из этого строя. Беспорядочного строя слепых, марширующих напрямик в пропасть. Босх в русском исполнении... В Вятке нашел родитель врача-начальника, которому понадобились дефицитные доски-сорокамиллиметровки, сто кв. метров дубового паркета, эмульсионная краска, голландская плитка для ванной и еще кое-что по мелочам. Дачу строил зав. гастроэнтерологическим отделением заводской больницы. Отец выписал все на себя, сам оплатил, за что терапевт без лишних разговоров положил дезертира в общую палату и только спросил, какой диагноз в справке написать. Напуганный муж не осмелился заикнуться о настоящем обследовании и сумел скрыть животные боли. А эскулап каждое почти свое дежурство заглядывал с бутылкой «Столичной» к псевдобольному — как он думал — и после пары рюмок без закуски начинал рассуждать о литературе. Начитанный был, черт. Про Трифонова свысока рассуждал. «Повести его, «Обмен» этот, «Долгое прощание» — слюни, и только. Жизнь жестче и конкретнее. Только в романах выдуманные люди столько рассусоливают, чтобы свои шкурные поступки и хищные интересы словесами прикрыть. Какое вранье!»

Справку дал, но она же действительна только для живущего в этом городе, в этом районе. Отцовский прораб

выручил, прописал бедолагу. За спасибо. И еще рад был, что хоть так с армией нашей поквитался: сын его, такой же хлюпик с высшим образованием, вернулся из стройбата физическим и психическим инвалидом.

Но теперь-то с болями куда кинуться? В подмосковную поликлинику, по месту прописки мотаться? С подтекающей банкой мочи и натошак ехать ранним утром два часа на перекладных? И речи не было, чтоб переночевать в новых стенах, которые так и не были никогда обустроены: ноги не шли у хозяев в несправедливо полученную клетушку. Простояла она, пустая, много-много лет, пока... А эскулап говорил — какие еще сантименты, всем правит выгода...

Обычный, среднестатистический путь не подошел: в НИИ, по месту мужниной службы, поликлиники не было, нашли платную медпомощь, на Арбате. Тогда это была редкость — платить не врачу в карман, а по прейскуранту в кассу. Там и поставили однозначный диагноз — язва желудка.

Можно сказать, что уже в семидесятые годы Гала с мужем жили почти при капитализме. «Почти» не потому, что не за все платили, а потому, что платили, а прав не имели. Например? Снимали квартиру на Преображенке. Тридцатое декабря, у кормящей Галы температура 39 и одна десятая, грудь опухла и затвердела, врачи говорят — надо резать. Но не сегодня же, когда новогодняя безответственность на носу. Ранний вечер, на улице темно. Муж еще не вернулся с работы. Звонок в дверь. «Наконец-то!» — радуется Гала и, положив закричавший кокон на диван, идет к двери. Свитер поднят до подбородка, голая по пояс — кормила только что. А на пороге — милиционер.

— Жалоба на вас, — говорит. — Паспорт покажите, — и глаза в сторону отводит. В сторону ребенка. Бормочет заученное, а на молодом румянном лице — интерес и сочувствие.

Гала и не испугалась. И вместо документа подсунула историю своей болезни.

— Так у вас мастит?! — обрадовался мильтон. — У моей жены только что то же самое было. У нас дочурка! Ни в коем случае не режьте! Водка ее спасла. Компресс надо делать после каждого кормления. Ваш ест из больной груди? Вот и хорошо. Лечитесь. — И ушел почти на цыпочках.

Совсем недавно, реанимируясь после очередного издательского отказа — не первого и не последнего, наверное, но все равно не привыкнуть — Гала брела вдоль кромки моря. В октябре почти насильно отправил ее муж на Кипр. Как в больницу.

Гуляет бесцельно и видит: на веранде пустого ресторанчика стоит в униформе совсем юная официантка. До звания девушки даже еще не доросла. Стоит и смотрит вдаль, на сине-зеленую гладь. Покорно смотрит, безнадежно... Еще по-настоящему и не начав жить, она уже сдалась, уже как-то по-старушечьи знает, что никогда не окажется там, за горизонтом, где... И оттого, что всякий день ей приходится растягивать губы ради пришельцев оттуда, сердце ее как будто задеревенело и уже не вздрагивает от промелькнувшей мечты. Нет этих мечт.

А Гала вздрогнула. Будто очутилась рядом с умирающим. Как можно жить в присутствии ужаса твоего собственного небытия? Сама она не то чтобы знала — откуда? — а чувствовала, что ее горизонт впереди, что он не колючая проволока, а всего лишь условная линия. Черта, проведенная природой, чтобы обуютить пространство, чтобы у не слишком смелых людей (то есть не гениев) не перехватывало дух от пребывания на бесконечном просторе. Многие, почти все стремятся огородить себя стенами

собственного жилья. В советское время, когда его только выдавали, когда еще и кооперативов не было, вся жизнь могла пройти в очереди на такую бесплатную коробку. Не все и успевали ею насладиться перед тем, как обосноваться в узком и длинном ящике, положенном почти каждому, без всякой очереди.

И отец Галы, во всем другом умный, широкий, мудрый, насчет квартиры давал сбой. Всякий разговор с ним — по телефону или глаза в глаза, все равно, — включал его причитания, теперь уже по-настоящему бессильные. Загородную квартиру он в расчет не брал, раз дочь не живет там, снимает жилье в Москве. Каждый месяц чужой тете уже двести рублей отдают... Не мог принять в расчет, что другая, совсем другая жизнь у его чада...

А какая другая? Какая-то не своя. Без своей службы, вся связь с миром опосредованная, через других. Гала проверяла тетрадки, которые муж приносил, когда в средней школе работал, сына в садик отвозила-привозила, в библиотеке выписки для мужниной диссертации делала, главы перепечатывала, в ста оттисках реферата опечатки исправляла... «На таких женятся», — почему-то с презрением сболтнул на банкете после защиты сильно забуревший оппонент, откусывая в пьяном безумии край тонкого бокала. Оригинал!

Мужу неожиданно предложили служить в литературоведческом журнале. Еще не сама литература, только около, но уже очень близко. Гала обрадовалась, как будто сама там очутилась. Сама — не сама, но теперь каждый вечер она визнавала все, что творилось в этом предбаннике у его высочества живой литературы. И днем, когда совсем невтерпеж было, мужу звонила. «Что ты его дергаешь?!» —

возмущался отец, когда по дороге с южного курорта родители заехали навестить дочь.

Но «он» совсем не роптал. Ему нравилось, что, подходя к дому, он видит в кухонном окне (их тогдашние снимаемые метры были на первом этаже) сплюснутый носик и родное лицо — веселое, если он идет вовремя, и встревоженное, если задерживается.

— Ну перестань, пожалуйста, — пробовал он переделать Галу. — Чего ты добила? Выхожу из дома, и сразу чувствую, что виноват, опаздываю. Ты вообще-то понимаешь, что такое — по Москве ездить?

— Конечно, понимаю, но сердцу не прикажешь, — совсем не виновато улыбалась Галя.

Избалованная. Опасно избалованная. Если б чего соображала, если б умела или хотя бы знала, что нужно учиться строить отношения, то, конечно, защищая свою же семью, обуздала бы себя. Нельзя ограничивать мужскую свободу и независимость — это же аксиома. Пружина сожмется и, следуя законам физики и психологии, выпрямляясь, выбросит мужа из семьи. Но ни о чем таком Галя не думала, и закон не сработал. Нерасчетливая беззащитность, природная, а не выученная, притягивает. И не только мужчину.

Редакторское утро по идее было предназначено для уединенной работы над материалами очередного номера. Мало-мальские профессионалы сразу научались опристойнивать чужие рукописи в присутственные часы, с полудня до пяти-шести, а утро посвящать своим опусам. Не совсем честно? Так и посчитал вначале муж Галы. Романтик... Но не дурак. Несколько недель понадобилось ему, чтобы сообразить, что к чему. Вот собрался он сказать на летучке все, что думает по поводу свежего номера — а было, было там, к чему приложить ту мерку, по

которой он себя контролировал, не сверхъестественную совсем. И в кулуарах подначивали новичка: наведи, мол, шороху на наше болото, а прямо перед действием один умник за обедом вслух стал мечтать о скандальчике. На что мужнин шеф, не поднимая глаз от жесткого куска мяса, которое никак не поддавалось тупому общепитовскому ножу — а дело было в столовой комбината «Правда», для других закрытой, спокойно так пробормотал:

— Не думаю... Он в своих статьях будет критические стрелы метать, не здесь, где, глядишь, отскочит от нас, закаленных, и в него самого угодит.

Разумно, признал муж Галы. Перестроился на ходу. Обвинительный уклон спрямил.

А через неделю тот же шеф протянул ему очередное задание — несколько желтых листков неряшливой машинописи:

— Это говно. Но ленинское, для апрельского номера. Править не советую. Возьмите чистый лист и все просто перепишите. От начала до конца.

С тех пор новенький и стал, как все. Только в знак негласного протеста всегда от руки переписывал чужую графоманию, почему-либо нужную журнальному начальству, и потом отдавал готовый текст штатной машинистке. Почерк у него был понятный, учительский.

В начале марта, когда в зимних сапогах на меху уже слишком жарко, было решено поискать обувь полегче. Галя терпеть не могла магазины — никогда не любила шоппинг, ни в советско-дефицитное время, ни потом, в обильно-товарное, капиталистическое. Личный рекорд магазинного шляния — минут сорок, не больше, даже за границей, даже в компании с мужем.

И тогда вместе поехали. Перед погружением в ГУМ решили наградить себя, зашли в «сотый» на Горького — может, удастся книжку хорошую купить. Гала усердно рассматривала прилавки и стеллажи в поисках чего-нибудь не кондово-советского, не забывая разумное правило: не выпускай сумку из вида. Под мышкой ее зажала. Почувствовала, что какая-то тетка слишком тесно к ней прижимается, бедром от нее отмахнулась, и сумку в руки взяла, проверить. На всякий случай. Именно тот случай и вышел. Молния на четверть открыта, кошелек с сапожными сотнями, равными мужниной месячной зарплате — нема.

«Ой! — непроизвольно вырвалось. — Меня обокрали...» Уголки рта Галы опустились, глаза сузились до щелок, на щеках выступили красные пятна. Обида и жалость к себе так ее изуродовали, что самой стало стыдно... Но надо же что-то делать! Кричать «караул, держите вора!» уже поздно — через стеклянные двери видно, как та тетка слилась с уличным потоком, не таким уж и плотным. Побегать за ней? Гала было дернулась, но вовремя остановилась: если и догонишь, то карманница все равно отопрется... Отвратительное чувство. Обворованные знают. То есть всем знакомо. Если кого воры-одиночки не тронули, то правительство наверстало упущенное, поучило экономических недорослей. А уж после их государственной комбайновой жатвы оставшиеся колоски подбирали единоличники — самостийные банки, из трех букв и больше. Кто следующий?

Гала рассердилась на себя (что полезно), на мужа (заурядное свинство тех, кого любят — детей, жен-мужей, в общем, всех возлюбленных), на судьбу... Некрасиво злилась, сплетая все претензии к миру в словесный кнут, которым стегала мужа... Обычно в таких случаях возникает перебранка, ссора, до развода, бывает, доводит жадин и самая небольшая материальная потеря, но муж Галы ду-

мал только о том, как ее успокоить. Прямо в отчаяние впал оттого, что придется сейчас одну ее оставить — именно сегодня никак нельзя было манкировать службой: ровно в час назначена разборка между одним либеральным зоилом и разгневанным на него автором военного бестселлера, который считался в литературных кругах подозрительным бирюком и чуть ли не шизиком.

Опоздал, но не пропустил. Из распахнутой настежь двери, заполняя все пространство редакции, несся резкий, отрывистый говор. Высокий, плотный незнакомец в шерстяной рубашке и джинсах — одетый так, что за официальное лицо ни в коем случае не примешь, — устоялся в пол и говорил свое, не убеждая, не гневаясь, будто и не думая о том, как воспримут его странные слова:

— Я человек средних способностей. Все, что я пишу, ценно только потому, что это правда. Если вы докажете, что документы, приведенные в романе — имитация, я тут же куплю вам «Жигули» последней модели.

— Да зачем, у меня свои бегают, — и надменно, и суетливо ухмыльнулся критик.

Вечером, рассказывая об этом уже успокоившейся Гале (быстро прошло оскорбление, нанесенное воровкой, а деньги — что ж, деньги дело наживное...) муж признался, что в душе сразу перебежал на сторону упертого прозаика. Плевать на то, что либералы обвиняют его в имперскости, в сталинизме, в воспевании органов.

— По сути, это наш, русский Киплинг. Все виляют, а он твердокаменный какой-то. Убежденность такая — это победа сама по себе. В результате и критик хвост поджал, и в редакции уклонились от драки.

Для того, чтобы заработать новые деньги взамен украденных, муж в этот же день взял заказ на большую статью к юбилею Толстого. За чаем и начали ее вместе сочинять. Как? Как

Четыре пигмалиона

всегда. Гала принесла на кухню стопку оборотов — из экономии черновик набрасывали на уже использованной бумаге. Муж педантично зачеркнул кривой фломастерной линией ненужную машинопись — чтобы не сбивала с толку, и на белой стороне написал каллиграфическими буквами два имени, Галы и свое. Чуть ниже поместил название и стал задавать жене квалифицированные, прицельные вопросы. Она, как прилежная школьница, восхищенная формулировками учителя, изо всех сил старалась ответить как можно полнее. Сосредоточенно думала и говорила сумбурно, порой целыми, но косноязычными фразами, а иногда и обрывками, и удивлялась, как из всего этого у мужа получается такой умный, интересный, нетривиальный текст...

Чем больше изумлялась, тем меньше верила, что она сама, без помощи, когда-нибудь сможет написать что-либо подобное. Не трусила только тогда, когда перед ней был готовый текст — хоть совместный, хоть мужнин, хоть постороннего автора. Сразу видела и ненужные повторы, и стилистические колдобины, и благоглупости, не говоря уж о явных ошибках.

Куда дорога такому умельцу, как она? В редакторы, конечно. Не с первого раза, но получилось на этот путь встать. И понеслась по нему Гала, подгоняемая свалившимся счастьем.

Глава 2

Первое прозрение

Человек с глазами, сияющими семь дней в неделю, все-таки обращает на себя внимание. В метро на нее оглядывались, на улице Галя пару раз слышала, как ее сравнили с эстрадной дивой, но писательская публика слепа. Приходя в издательство по таким сверхважным делам, как издание одно, двух, трехтомников и целых собраний сочинений, избранныки в основном замечали только начальство, которое составляет годовые и пятилетние планы, определяет сроки, качество полиграфического исполнения и другие более или менее важные детали. Ну, если редакторша попадалась ничего себе и сама проявляла инициативу, то почему бы нет, говорили себе некоторые. Контора была уважаемая, самая престижная среди подобных во всей стране, поэтому если и случались какие шероховатости, которыми всегда сопровождаются человеческие отношения, то все рассасывалось тихо, без публичных скандалов. Не то что в издательствах рангом пониже, где редакторши, бывало, дрались, чтобы получить вождя автора, да и сами авторы, случалось, узнаваемо описывали интрижки с сотрудницами, привлекая этим недолгий интерес весьма ограниченного круга читателей к своим персо-

нам. Скандал вспыхивает и быстро гаснет, если никакого другого смысла в книге нет.

Ни о каких таких профессиональных обычаях Гала слыхом не слыхивала, а если и думала о человеческих отношениях с авторами, то именно в прямом, неполовом смысле — привязывалась, полюбляла тех, с кем работала. С одним старым классиком подружилась по-настоящему, семьями, и по своей инициативе, не подкрепленной никакими договорами, они с мужем засели за книгу о нем. Первого января дело было, когда праздничную неприкаянность можно заглушить только работой. Начала ее Гала с азартом — столько было надумано, пока она составляла и редактировала восьмитомник знаменитого либерала: пришлось и реставратором побыть, освобождая тексты от цензурного насилия, осуществленного в трусливые, послеоттепельные годы. Увлеклась, сперва с радостью садилась рядом с мужем за стол, а на середине работы сникла. Окончательный текст монографии ведь выходил из-под пера мужа, у нее одной редко получалось написать или хотя бы сказать готовую фразу, пригодную для литературоведческой книги. Все они получались голенькие, наивные, слишком прямые и отрывистые. Муж так умело одевал их в приличные словеса, что Гала начала стыдиться своего косноязычия и чуть ли не отказываться от соавторства. Не верила мужу, что без ее мыслей ничего не получится. В общем, страдала от своей никчемности.

И на службе появился неуют: в ответ на ее всегда приветливое «здрасьте, как дела?» некоторые коллеги хмуро выдавливали что-то нечленораздельное и даже губы не раздвигали в этикетную улыбку... вдруг резко меняли тему, когда она приближалась к столу со чашкой чая... не звали на свои посиделки... Много способов есть у коллектива показать, что ты чужой... Почему такая враждебность? Гала

не понимала. Думала: я же никому не хочу ничего плохого, ни у кого ничего не отбираю, я только с удовольствием работаю — кому это все может мешать?

Глупые вопросы. Любой коллектив — упряжка, и если какой конь вперед рвется, то есть больше и эффективнее работает, то его, конечно, начнут сдерживать. Инстинктивно это происходит у животных, и у людей бывает тоже неосознанно. Но Гала не замечала, что она как-то выделяется, она еще много чему училась, новое открывала для себя в редакторской работе, ошибалась и поедом ела себя за неизбежные, исправимые ляпы, про них никогда не забывала, а успехи свои пустяками считала, ведь вершиной для нее было авторство собственной книги, а она еще только приблизилась к подножью этого Олимпа. Топталась, не решаясь сделать первый шаг — в одиночестве засесть перед пустынным листом бумаги. Трусиха...

«Трусиха»... Поэт, медленно спускаясь к телефонной будке по лестнице, такой изученной, что уже можно не сосредоточиваться на ходьбе, вдруг вспомнил свое давнее стихотворение, которое всегда просят повторить на бис. Оробел там перед хулиганами как раз кавалер, парень, а героиня-то, наоборот, проявляет чудеса смелости. Женщины... Интереснее всего с милыми трусихами, теми, которые сперва боятся. Чем больше сдерживающих начал, тем больше там таится сюрпризов. Итак, ее зовут Галой... Мелькнуло: стоит ли усложнять свою и так не простую жизнь? Развод с женой уже начат, пусть пока только он сам знает, что решение принято. Он всегда добивался того, чего хотел... А что делать с Ниной, верной и бескорыстной подругой? Нина патологически ревнива, все равно найдет ту,

из-за которой будет дергаться. Глупо себя чувствовать без вины виноватым.

Или пока все-таки не стоит?.. Но пальцы уже набирали редакционный номер — не по прямой авторской надобности, а чтобы добыть из мембраны звонкость, глубокую и такую испуганную.

И вдруг отвечает голос обыкновенный, скучный: по первому звуку понятно, как заполучить его обладательницу, и сразу же ничего с ней не хочется... Это она? Даже вздрогнул поэт. Неужели так ошибся, неужели ничего нового уже никогда не будет? От сердца отлегло, когда выяснилось, что в редакции две Галины.

Ну, дальше — дело техники. Вовсю использовал преимущество своей известности: о себе говорить не надо, только о собеседнице. Следил лишь, чтобы привычным ему натиском не оттолкнуть барышню.

Да, нюх не подвел. И проверять не надо — точно, не обманывает. После ранения слух, конечно, не сразу заменил ему зрение — иначе бы так не промахнулся с женой, но теперь, лет уже... а, зачем считать... теперь сбоев не бывает. Итак, ей тридцать, замужем, сын-второклассник... Все параметры — самые оптимальные, даже размер бюстгалтера. Как она без запинки ответила — «четвертый», и только потом засмуцалась.

Больше говорить ни с кем не хотелось. Лишь в полном одиночестве можно наподольше сохранить вкус нового знакомства. Вспомнились дела. У Нины могут быть вопросы по корректуре. Неспешно, отложим до вечера.

И вместо того, чтобы как всегда после дневных звонков подняться на второй этаж в свою комнату, поэт отправился на прогулку по прямой дорожке, что начинается прямо от крыльца дома творчества. Специально для него в конце пути директор приказал сделать бордюрик — что-

бы он случайно не попал на дорогу, по которой носятся опасные и для зрячего машины.

Давно уже ставшая чужой, жена поэта ни за что не хотела переходить в статус «бывшей», пришлось нанимать адвоката, и началась долгая, отвратительная тяжба по разделу им заработанного имущества. Остаться с супругой под одной крышей стало небезопасно, несколько раз он прямо чувствовал ее ненависть, когда брился в ванной. Казалось: пошарь сзади себя, и схватишь ее за руку. Проверять-провоцировать не стал, но для безопасности переселился в Переделкино. По вечерам директор давал знаменитому инвалиду ключ от своего кабинета, чтобы тот мог спокойно, не торопясь, общаться с миром по телефону, и каждый свой день он стал заканчивать разговором с Галой.

Она, замерзавшая от холода, которым ее обдавал окружающий мир, сразу почувствовала спасительное тепло. И принимать его стала открыто, не украдкой, без все отравляющего вранья: сын в это время уже спал, а муж нисколько не сердился: объективно говоря, поэт помогал ему оторваться от Галы, чтобы доделывать диссертацию, которую он начал только потому, что жена просто не понимала: как это можно остановиться на полпути и после кандидатской не защитить докторскую. Литератору, привыкшему писать для печати, совсем непросто приняться за научную работу: нет никаких сроков, никто не теребит, все на полном самоконтроле. Раньше-то, до ее телефонных дежурств, они допоздна обсуждали увиденное-прочитанное, дули на ссадины, полученные в течение прошедшего дня, уча друг друга тому, что сами не умели, и только когда Галя засыпала, муж отправлялся на кухню, чтобы дописать что-нибудь просроченное, оставляя диссертацию «на потом»...

Четыре пигмалиона

— Ну, выполнила на сегодня план по работе с ветеранами? — усмехался он, когда жена после часового разговора тихонько царапалась в его дверь. — Не понимаю, что вас связывает. То есть Гомера твоего...

— Гомера? — переспросила Гала. — Неплохо придумал! Так и будем его называть. Тем более, что среди советских девушек он гораздо популярнее автора «Илиады». Вспомни няню, которая у нас была на прошлой квартире.

— Не перебивай! Увиливаешь? Гомера твоего я как мужчина понимаю, а тебя — нет. Или ты от меня что-то скрываешь?

Нет, ничего Гала не скрывала. Они и встретились-то только однажды, случайно, когда Нина, актриса погорелого театра, привезла поэта в редакцию, чтобы утвердить один из вариантов переплета его однотомника. Уже несколько месяцев он уговаривал Галу навестить его в Подмосковье, в сердцах говорил, что не хочет быть при ней как Сирано де Бержерак при Роксане... «Начитанный, оказывается, — удивился муж Галы, когда она процитировала сравнение. — По стихам этого никак не скажешь. Ни малейшего следа мировой культурки нет...»

Чем сильнее поэт настаивал, тем больше Гала трусила и тем отважнее признавалась ему в своих чувствах... Забежала вперед и потом уже осваивала пространство любви.

Но обнаружить его перед чужими, особенно перед коллегами — упаси боже! В издательстве к поэту относились брезгливо, как к простому инвалиду-слепцу. Нисколько не считаясь с его народной славой, по-лакейски осуждали за то, что он, пробиваясь в планы, якобы спекулирует своим военным ранением. Хвалить его стихи Гала не могла, да ей бы, эстетке, никто и не поверил. Заикнулась раз, что он и правда герой, и тут же осеклась: по взглядам поняла, что даст повод для сплетен, но никому ничего не

докажет. Закрыла рот на замок, чувствуя себя предательницей...

И правда, что же ее притягивает к поэту? Вопрос задан, мужу всегда надо отвечать. Подумала, подумала и выпалила:

— Понимаешь... Он умеет ласкать словом.

Не учла, кому говорит. За время совместных писаний привыкла выдавать все, что только в голову придет, полагаясь на отбор мужа, вот и ляпнула.

Он незнакомо насупился, буркнул: «Ладно, ложись, я еще посижу тут», и казенно чмокнул ее в щеку. Вроде и не поссорились, но уснуть Гала не смогла. Ворочалась в постели, телевизор попереключала, и уже во втором часу ночи босиком пришла на кухню. Его успокоить и себя.

А муж был в превосходном настроении: глаза сверкают, на губах блуждает глумливая улыбка. Оказалось, его неожиданно посетила муза, и он, знакомый с творчеством советского Гомера гораздо лучше Галы, только что обесчестил поэта доморощенной пародией. За пару дней до того знакомый юморист пригласил его в пародийную групповуху: надо было изложить песенку «В лесу родилась елочка» стилем какого-нибудь известного поэта. Вот соперник и подвернулся: совпало общественное с личным.

На листке бумаги Гала увидела без помарок, каллиграфически выточенную историю Елки-комсомолки и развратного дровосека, причем с особым цинизмом были обыграны прославленные строки: «Пусть любовь начнется, но не с тела, а с души. Вы слышите? С души...» и «А ведь должен чем-то отличаться человек от кошек и собак!». Гала сама не заметила, как стала вслух декламировать мужнино издевательство:

Ведь она отдать ему хотела
Душу всю, но, чересчур спеша,
Позабыла, где у ней душа,

Четыре пигмалиона

И вручила по ошибке тело.
Ну, а этот тип и рад стараться:
Трахнул топором — и был таков,
А ведь должен чем-то отличаться
Человек от зайцев и волков!

Прочитала до конца, расхохоталась и даже в голову не пришло наложить вето на обнародование невинной — так она думала — шутки.

А через неделю, вечером того дня, когда лучшие опусы новогоднего конкурса напечатали в одной газете, поступил и отклик. Поэт заговорил голосом строгим, с горечью, как будто вместо меда на этот раз в него добавили горчицу. И обращался не на теплое, родное «ты», а на отчужденное «вы»:

— Не ожидал, что из вашей семьи в меня будут стрелять. Я понимаю, вы не знали, и все-таки... И как неметко... Банальные, пошлые рифмы... Конечно, вы находитесь под влиянием вашего мужа... Я ведь ему даже симпатизирую, у него иногда получаются талантливые тексты, но критика — это же «при», при литературе, ему бы лучше рассказы начать писать. А я, что же, я привык к стрелам. Когда на мои вечера вызывали конную милицию, в газетах целый залп был организован. Чем больше простые люди меня любил, тем сильнее травили завистники. В любом городе достаточно было на пустыре повесить объявление о моих концертах — и народу битком набьется. Вот Нина Валентиновна никогда меня не предавала. Сколько ей говорили, чтобы перестала выступать с чтением моих стихов, ставку обещали в Москонцерте повысить — а она, как стойкий оловянный солдатик, держалась. Только меня в своих программах читала — и все.

Что на это сказать? Чувство справедливости помогло скрыть, не выпустить наружу обиду на сравнение с другой женщиной. Ну не могла Гала быть преданной его стихам

как эта неразвитая Нина... Мелькнуло: хорошо, что не оставила мужа, паритет не нарушила, каждый должен отстаивать себя, как может...

Гала молчала, и поэт истолковал ответную тишину как согласие с ним, снова перешел на «ты», великодушно простив провинившуюся. Правда, через неделю прислал длинное письмо в защиту собственного стихотворства. Все еще надеялся перетащить ее на свою сторону. Предупредил, что посылает на почту, «до востребования», а не на домашний адрес, чтобы в чужие руки не попало. И попросил по прочтении уничтожить.

Почему она сохранила этот конверт и многие следующие, которые он присылал и тогда, когда между ними была постоянная телефонная связь, и тогда, когда голосовое общение обрывалось из-за его поездок и бдительного присмотра Нины Валентиновны? Письма-признания, письма-обиды, письма-дневники... Почему не порвала на кусочки, как он просил? Да просто не понимала, зачем уничтожать документы... Он просил, потому что не знал, что у нее в доме никто ни при каких обстоятельствах не заглянет в чужое письмо.

Или из озорства хотела проверить, насколько типичен романский ход со случайно найденными любовными посланиями?

Года через два, когда пришлось в очередной раз паковать для переезда на новую, съемную квартиру, Гала достала из глубины бельевого шкафа толстую коленкоровую папку, прижатую стопкой простынок и пододеяльников к задней стенке, перечитала пару писем и опять не решилась их выбросить, а только попросила мужа уничтожить все листы, не читая, если она умрет раньше него. Совсем не взволновавшись, он согласился, добавив:

— И мои тетрадки сожги, не читая.

Четыре пигмалиона

— Что-что?! — восторженно воскликнула Галя.

Муж вмиг одумался. Нельзя забывать, что никакого равенства между ними никогда не было, что ее, прямо сказать, иезуитская просьба не означает его право ничего не объяснять.

— Не волнуйся — если я что и хочу от тебя скрыть, то только мои фантазии. Чтоб у тебя не было лишнего повода фыркнуть над моими глупостями. Может, тогда не сразу меня забудешь. В душе. Но обета одиночества не требую.

— А мужчинам и разрешения не нужно — все вдовцы быстро замену находят.

И хотя до обоих еще по-настоящему не дошло, что и они умрут, шуточный разговор на похоронные темы возник не совсем случайно. Шефа редакции, в которой работала Галя, нашли на пустыре недалеко от дома. Мертвого. Погибшего, а не убитого. Перепил на банкете, которыми издательские авторы, не самых высших чинов, обычно благодарили за выпуск своей книги. Дело сделано, о следующей можно заикаться только через несколько лет, поэтому особо с шефом не нянчились — сопровождать его не стали, а лишь посадили в такси, где, видимо, и случился сердечный приступ. Шофер не захотел лишних хлопот — просто взял и выбросил его из машины. Мертвого или еще живого — как теперь узнать?

Что вспомнила Галя о покойнике, сидя на поминках? Всего лишь несколько фраз, ее удививших.

«Каждый год приходится писать роман, чтобы семью прокормить».

«Моя бы воля, я б тебя одну в редакции оставил. Платил бы рублей шестьсот, ты бы отлично справилась...»

«Когда же мы с тобой переспим?»

О последней она рассказала только мужу, поэту о ней даже не заикнулась, поэтому особенно неприятно было

слышать, как тот хвалил покойного: мужик, мол, был хороший, ни разу палки в колеса не ставил, все, что обещал, выполнил, вплоть до мелочей.

Но и Галя задним числом оценила мужское руководство, когда после склок и нескольких неудачных проб им прислали партийную бабу из Питера. Та быстро сообразила, что к чему, и стала одаривать самую толковую подчиненную своей дружбой.

Как раз в это время освободилось место заведующего в соседней редакции. На пенсию отправили заслуженного старика, лауреата Госпремии, слывшего либералом всего лишь потому, что он по минимуму, без особого рвения и с циничной усмешкой соблюдал идеологические нормы. Его сын подал заявление на выезд, в эмиграцию. Пошел слушок, что именно Гале могут предложить вакантное кресло. Она обрадовалась: любовь начальницы, почти экстагическая, требовала от нее не только компромиссов, но уже полного подчинения. И не только служебного. Надо было уносить ноги, пока не поздно, а неопределенность с новым назначением все никак не кончалась.

И вот Галу вызывают на партбюро. Сердце бьется от предвкушения свободы, а там объявляют, что на следующем заседании ее будут принимать в кандидаты КПСС. Не спрашивают согласия, а приговаривают. «У нас люди в очереди по несколько лет ждут, а вас вот так сразу товарищи просят принять», — объявила инструкторша из райкома. Дама без возраста в сером, обтягивающем худобу костюме, с густой челкой и взглядом, буровящим и бесчувственным. Ничто человеческое не помешает ей объявлять самые жестокие приговоры. Эсэсовка, а не женщина. Галу резануло: вот оно, столкновение с государственной машиной. Увернешься, и окажешься на обочине. Ни за что! Надо вмешиваться в

жизнь, иначе о чем писать? Потом, не сейчас, но писать она все равно будет...

И все-таки пообсуждала с мужем, вступать ли. Совсем не для того, чтобы совесть успокоить — такой уж бескомпромиссной либералкой она никогда не была, идеологией и политикой интересовалась только как материалом, с которым имеет дело литература, и материалом подкладочным, а не костюмным. Если бы муж доказал ей, что стыдно — ушла бы из издательства. Может быть, ушла бы...

Но он только рассмеялся. Ему самому никто никогда не предлагал в ряды вступать, хотя уже целых два года он торчал в высокой литературной конторе, где кроме него беспартийной была только одна уборщица из трех. Его обязывали посещать открытые партийные собрания, а с закрытых он, счастливый, уходил. В чиновники заманило мужа обещание начальства помочь с квартирным вопросом. Мундир, кресло были ему неудобны, и терпел все это он только ради семьи, поэтому сразу признался, что не объективен: ведь если Гала сделает служебную карьеру, то это может помочь ему выйти на свободу.

— Нельзя ли вступить не в КПСС, где и без тебя уже миллионов восемнадцать, а сразу попасть в ЦК, в так называемую внутреннюю партию? — еще и поиздевался муж. Над собой и над ней, поровну.

Гомер был в отъезде, да и так, не спрашивая, Гала знала, что посоветует он, вступивший в партию на войне и с тех пор слепо верящий в коммунистическую идею. Гулаг, голод, цензура — все это он считал неизбежными и очень преувеличенными издержками, которыми всегда сопровождается воплощение самых справедливых намерений. Спорили-спорили, и всякий раз каждый оставался при своем

мнении. Гала уже замучилась доказывать, что не мужнины мысли она повторяет, а и сама думать умеет. Пусть считает, как хочет, ей это не мешало.

Но когда Гомер узнал новость и принялся поздравлять, в его голосе ей послышалась новая, неприятная нотка, составленная из почтения, заискивания и слишком искренней радости:

— Мне это вдвойне лестно. Вы — молодец! Вас ожидает большое будущее. Ну, продолжим?

Опять это «вы»! И Гала затаилась, не стала оттягивать чтение, хотя так много всего намеревалась ему рассказать. Вообще, последние полгода он не тратил дорогое телефонное время на болтовню. Дорогое, потому что в Переделкине начался ремонт и ему приходилось обитать в Голицыне, а это уже междугородняя связь. Чтобы не возиться с бухгалтерией, он попросил Галу звонить ему в определенное время. «Я оплачу», — сказал как-то по-купечески, и при встрече подсунул красненькую десятку. Она не взяла. Жлобом чувствуешь себя, беря деньги, которые предлагаются так суетливо. Да и сумма была раза в три меньше той, которую оплатил муж Галы по пришедшим квиточкам. Ведь за это время она, просвещая поэта, прочитала ему по телефону (плевать, если и прослушивают!) запрещенных «Лолиту», «Доктора Живаго» и теперь начала Оруэлла.

И хотя сразу, как только Гала открыла заложенную страницу и выговорила: «Незнание — сила», — на улице разразился ливень и у них, на последнем этаже съемной квартиры, стала протекать крыша, она оторвалась от чтения только на минуту: вытащила из стенного шкафа отправленный на тряпки старый махровый халат и бросила его к стене, по которой текла небесная влага.

А поэту не так уж важно было, что именно произносит голос Галы. Гневается или радуется, спокоен или возбужден, дрожит от любви или от невысказанной еще обиды. Главное — он верил ей. Впервые в жизни перестал страховаться, не готовил на всякий пожарный случай путь для отхода. Записал ее звонкие модуляции на магнитофон, но потом, когда съехались с Ниной и он заметил, что пленки кто-то трогал, еще раз прослушал и все-таки стер. Даже думать про Галу при Нине было небезопасно: всякий раз замечая на его лице блуждающую улыбку, она была уверена, что дело в сопернице. Не ошибалась.

С ревностью поэт считался. Ему самому сие чувство дано было и по греческой, и по кавказским генетическим линиям. О равенстве полов в этих южных широтах не могло быть и речи. «Я беру, она — дает». Таков нравственный закон настоящего джигита. Давать — презренно, брать — естественно. Когда многолетняя поклонница, которую он изредка к себе допускал, не обещая при этом невозможного и категорически отказывая в праве на внебрачного совместного ребенка, — когда эта уютная лапочка все-таки вышла замуж за простого человека, у поэта совсем пропал к ней сексуальный аппетит: «Все-таки неприятно сознавать, что в мой садик кто-то ходит...»

Совсем другое, когда женщина дана нам уже замужняя, когда это ее свойство изначально входит в условия задачи. Семейные устои мы уважаем. Но когда Гала с одобрительной интонацией произносила писательские имена, это его раздражало.

Один издательский автор устроил грандиозный скандал, обнаружив несколько опечаток в своей только что выпущенной книге. Это понятно, он и сам свирепел, когда получал от читателей списки с пропущенными

ошибками. Насторожило его то, как Гала про это рассказывала:

— Опечатки — безобразие, согласна, но он ведь редактору подставил. А они, говорят, больше, чем дружили.

Вроде осуждает, а чувствуется — заинтересовалась. Да еще так расхваливает его детективчик, как будто это какая-то великая литература.

И вдруг именно ей дают редактировать этого мужлана. Она не отказывается, хотя вот-вот перейдет в другую редакцию. Якобы кроме Галы никто с этим упертым фронтовиком, раненным в голову, не справится... Со мной так не нянчатся, ревниво подумалось. Одна мрачная мысль потащила за собой другую.

Почему она отказывается появляться со мной на публике? Не из-за мужа — он благородный человек, не собственник, знает про... ну, про их дружбу. Знает и не запрещает. А остальные — зачем на них обращать внимание... Да даже если сколько-то посудачат, то быстро забудут: у каждого своя жизнь.

И не потому Гала сопротивляется публичности, что его ранения стесняется. Он проверил. В первый же раз, как наедине встретились, показал ей солдатскую фотографию, где он еще целехонький, с глазами-бусинками, которые девушек с ума сводили. Подождал, пока она как следует рассмотрит, потом снял бархатную повязку и еще объяснил, что кожу — брешь в щеке прикрыть — срезали с внутренней части бедра. Говорил, а сам как зверь настоужился, чтобы уловить то мгновение естественности, когда еще не начала действовать воспитанность, сглаживающая все шероховатости. Брезгливость, она сразу скажется. Нет, только сочувствие, которое питает любовь. Она его за муки...

Так почему?

Гала не могла ответить на этот простой вопрос. Ни ему, ни себе. Дрожала всякий раз, как только ступала на крыльцо с белыми колоннами, почти бегом неслась на второй этаж по лестнице, покрытой ковром, и молила бога, чтоб никто мимо не шел, пока она тихонечко царапается в дверь его комнаты. С доводами поэта соглашалась, один раз пересилила себя, прошла с ним по улице Серафимовича. Стыдилась, угрызалась, но повторить прогулку не смогла.

А вскоре поняла, что честно заданный вопрос, если не торопиться, поблуждает-поблуждает и наткнется на ответ. Оказалось, инстинктивная трусость охраняла ее собственную гордость. Когда муж за вечерним чаем упомянул, что в одном чиновничьем кабинете нечаянно подглядел своим шпионским дальнозорким глазом документы на машину, которую поэт покупает на имя своей жены, Нины Валентиновны, у Галы внутри все оборвалась. Про развод она знала, но про женитьбу он даже не заикнулся ни разу. Что обычно проносится в голове женщины, считающей себя обманутой? «Как он мог! Между нами все кончено! Хорошо, что я от всех все скрывала!» От гнева Гала разрыдалась и выкрикнула вслух всю эту ахиною. Мужа рассердила.

— Что случилось? — возмутился теперь уже он. — Ты что, замуж за него собиралась? Это что-то новенькое...

Гала замолчала, ведь мысль о новом замужестве никогда не забредала в ее голову, ни разу не мечтала она жить с поэтом под одной крышей, под одним именем, ну что там еще дает статус законной жены... Тогда чего же она от него хотела?

— Чего? Говори! — Муж уже сам испугался горя, захлестнувшего Галу. Лаской истерику не остановишь, вот он и попытался встряхнуть ее мысли.

Получилось. Инстинкт сработал — на вопросы мужа сразу отвечать. Всклипывая, она стала виновато перечислять:

— Мне только его забота нужна, теплота, внимание... Никакой конкретной, в практических делах реализованной помощи я и не ждала...

В общем, получалось почти сказочное «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что»... Но уж точно — грех, грех не подумать о том, каково ей будет от других узнать о его женитьбе. С этим и муж согласился.

Все, больше никогда...

Что никогда? Глупость, да и только. Но глупость, которую исторгает женский гнев, оправдывается искренностью страдания. Стоит немного погодить, и, если отношения строились не на зыбком песке амбиций, то недолгий шторм ничего не разрушит.

Гомер был в отъезде, прошел день, другой, а через неделю боль, заглушающая все чувства, утихла, и стало слышно, как ноет тоска по нему. Привязанность никуда не делась. Захотелось хотя бы объяснение его получить.

Звонок. Как не уронить себя? Что ему сказать? А сердце бьется, не унять. Выдавила из себя вежливые фразы. Как с посторонним говорила. Поэт, среагировав на ее сдержанность, сперва встревожился: все ли живы-здоровы, и потом уже сам догадался, без так унижающих женщину наводящих и обличающих вопросов «почему скрыли? как вы могли так со мной поступить?..»

— Для нас с тобой ничего не изменилось. Ты же знаешь, оставить Нину Валентиновну — значит, отрубить ей голову. Я этого не могу. Она столько для меня сделала. В самые трудные минуты одна против всех шла. Давно,

Четыре пигмалиона

когда я и не собирался разводиться, она спросила: если вдруг я буду свободен, то женюсь ли на ней? Я пообещал, я же не знал, что тебя встречу. А слово свое я привык держать.

Убивать Гала никого не хотела... Но и сама должна была как-то выжить. Как? Хоть в чем-то надо было с ним сравняться. У вас машина — и у меня будет машина. Пусть всю жизнь она провела в общественном транспорте и особенной склонности даже к такси не испытывала. Но тут уж дело принципа. И когда муж проговорился, что его сослуживица написала заявление на новые «Жигули» («шестерка» вместо «пятерки» или что-то в этом роде), Гала вдруг ошарашила его не просьбой — приказом (за всю их совместную жизнь таких указов-приказов она выпустила штук пять-шесть, не больше):

— Завтра тоже подаешь заявление.

Очередь подошла как раз в то время, когда вышла их общая литературоведческая книга. Гонорара за томик в синем коленкоровом переплете хватило на синюю «копейку», недавно переименованную в модель «13». Чертова дюжина...

Неприятности принялись громоздиться одна на другую, и каждая казалась ей если не трагедией, то большим несчастьем.

Сын простудился и кашлял по ночам. Бросились проверять, все болезни перебрали — нет диагноза. С самого рождения любая его сопелька приводила Галу в ужас, а уж что-то непонятное всегда заливало жизненный пейзаж черной краской...

Хозяйка сгоняет с квартиры, и новая никак не находится...

На службах у обоих супругов стоячая неопределенность — ни туда, ни сюда. Чиновничья ляжка так натерла плечо мужа, что он готов был порвать постромки, не добежав до цели, то есть до своего собственного, легального жилья. И у Галы все замерло: уже год почти она ходила в кандидатах в члены, а с назначением в другую редакцию что-то застопорилось. Зачем всю эту канитель затевали? Муж еще и посмеивался:

— У тебя прямо по анекдоту получается. «Если погибну в бою — считайте меня коммунистом. А если нет — то нет». Размылись сейчас границы... Тот, кому не дано таланта жить изгоем и маргиналом, не может быть идеологически стерильным. Право на жизнь у человека нельзя отнимать — это самое настоящее преступление. И разве существенна разница между партийным и беспартийным чиновником высшего разряда? Уж если она и есть, то гораздо меньше, чем между простым партийцем и номенклатурным...

...Особенно нелепо все стало, когда кандидатский срок закончился и нужно было снова получать три рекомендации для перехода в члены партии. Рутинная для других процедура, когда прежние рекомендатели меняют в своих заявлениях только пару слов да дату, у Галы превратилась в проблему. Коллега по редакции вдруг отказалась повторить свое «добро». Никаких личных столкновений у них не было, и вроде их общей начальницы та не боялась, наоборот, была с ней в постоянной конфронтации и даже странно, что не воспользовалась поводом лишней раз насолить мегере... «Большому кораблю — большое плавание», — многозначительно поджав тонкие губки только и сказала немолодая растрепанная, из тех, кто, оправдывая свою лень, считает ухоженную женственность большим недостатком и явным знаком отсутствия интеллекта.

Без задней мысли Гала процитировала все это в вечернем разговоре с Гомером. Растеряна была — да, но не испугана, и уж точно помощи никакой от него не ждала. Но он как-то очень серьезно замолчал и потом стал как бы вслух размышлять, опять на «вы». Мол, я бы, конечно, за честь почел дать вам рекомендацию, но как это воспримут в редакции, были ли прецеденты, чтоб авторы вмешивались в такие внутренние дела... Совсем бы увяз в оправданиях, если б Гала в ответ не принялась просто дочитывать антиутопию Оруэлла. Страниц тридцать отмахала, только тогда неловкость рассосалась.

Замену тощей отказнице в партбюро нашли сразу, но недоумение у Галы осталось.

А что непонятного? Всюду жизнь! В любом коллективе, из человекостей, ритмично возникают всполохи любви, ненависти, зависти, жалости... Нет ни партийного, ни военного, ни гражданского устава, которому бы подчинились человеческие порывы. И все-таки — за что? За что кто-то выколол глаза на ее фотографии? Несколько дней провисело на Доске почета лицо Галы, похожее на снимок со скульптурного портрета с пустыми глазницами...

Все это неважно стало только тогда, когда на ближайшем же поезде, который останавливается в родном городе, она рванула в заводскую больницу. К отцу. Настоящий ужас пронзил ее, когда она больно укололась о щетину, целуя его, полусонного-полубессознательного, опутанного проводами. В ответ землистые веки дрогнули, медленно поднялись, приоткрыв карюю, мутноватую оболочку зрачков, потерявшую желто-зеленые, веселые прожилки. «Приехала...» — не обрадованно, а безразлично прошептали пересохшие губы, и веки снова опустились, не в силах даже полностью закрыть глаза.

Все знают, что есть смерть, но реальное чувство, физическое ощущение того, что и я умру, приходит не ко всякому, и каждый обретает его по-своему.

Гала вдруг как бы слилась с отцом, на какое-то осязаемое мгновение стала с ним единым целым и вместе с ним поняла, что смерть — это не только у других, но и у меня. И это было непереносимо. Тогда хочу не быть прямо сейчас, вот что мелькнуло в мозгу. И как будто кто-то вышвырнул ее из черной бездны. Голова раскалывалась, но больше этого сковывающего и чем-то притягивающего, эгоистического страха Гала к себе не допускала. Ни тогда, когда ночью дежурила возле отцовской кровати, подавала ему эмалированную утку, брила его щеки, осторожно натягивая сморщенную, умирающую кожу, помогала чистить зубы... Ни тогда, когда уезжала в Москву, подбодренная и врачами, и самим отцом, еще слабым, но вроде бы пошедшим на поправку...

Ни тогда, когда через месяц смотрела на очередь из незнакомых людей, пришедших с ним прощаться...

Перед отъездом на похороны пришлось переносить встречу с тем, кого она с мужниной подачи мысленно называла Киплингем. Всего-то два раза и говорили, а он по голосу понял, что стряслась беда, и не отстал, пока Гала не призналась, почему уезжает.

— Вам будут нужны деньги. — Он не спрашивал, а утверждал. — Я к поезду могу подвезти. Столько, сколько нужно.

И после «спасибо, не надо», не засуетился, уговаривая принять помощь, а только сказал, чтоб Гала не торопилась с возвращением, подольше побыла с мамой. Его книга подождет.

Если приглядеться внимательно к любому человеку, то можно понять, живы ли у него родители. Когда умер тот, с которым ты был близок, то сразу чувствуешь, что ты на

передней линии, ты — следующий. Никто уже не защищает тебя от жгуче-ледяного ветра, который приходит из вечности.

По возвращении Гала сама почувствовала себя другим человеком, и внешне все переменялось. Где-то там подписали бумажку и вот — новый кабинет, новые сотрудники, новый рабочий ритм. Только ожидаемой новой радости все это не принесло. Получилось, что она шагнула куда-то не туда — еще дальше отошла в сторону от живой литературы. Хорошо хоть, не отобрали книгу нашего советского Киплинга, позволили довести работу до конца. Отдыхала ее душа, когда она медленно перечитывала его роман, прощупывая фразу за фразой — нет ли где ритмической заминки, неровности какой или ошибки, хоть и субъективно-стилистической. Как грибник, радовалась любой находке. Всего лишь половину ее замечаний учел автор, но и этому проценту сам удивился:

— Хм, давно уже ничего в романе не правил, кроме опечаток. Восемьдесят первое издание все-таки... В рукописи, до того, как показывать издателям, я дал его нескольким людям. Знающим, тем, которым доверяю. Не знакомым друг с другом. Просил их исходить из того, что хозяйка — блядь, готовит скверно и фартук у нее весь засранный... Но только чтоб каждое замечание было доказано. Никаких похвал не надо. Ну, они мне набросали... Я потом в романе две странички дописал, чтобы мотивировать ненависть коменданта к особистам, пару абзацев вычеркнул...

Когда Киплинг утверждал оформление, то ни за что не согласился печатать на вклейке свою фотографию. Так уперся, что Гала исподтишка принялась рассматривать его лицо: уродство какое что ли скрывает? Ничего отталкивающего не нашла, наоборот. Малоподвижное плотное лицо, крупный нос, четко очерченные губы, большие открытые

уши, обрамленные аккуратными, темными с проседью бачками, доходящими до мочки. Из-под низких густых бровей глядят куда-то в сторону или вниз карие глаза, живые и острые. Широкая пятерня с кустиками волос на среднем и указательном пальце то и дело поглаживает ровно подстриженную челку. У отца была точно такая рука, всегда теплая. А у него какая?

За сигнальным экземпляром Киплинг пришел не сразу, только через неделю. Молча осмотрел со всех сторон плотный кирпич в голубом балакроне, перелистал несколько белых страниц, проверил тираж — сто пятнадцать тысяч. Почему насупленный такой? Понравилось ли, нет? Непонятно. Ничего не сказав, прямо на коленях раскрыл свой портфель и принялся сосредоточенно его опорожнять: большую банку растворимого кофе достал, целлофановый пакет с трюфелями и тонкую папку, из которой вынул белый листок, разграфленный черными жирными полосами. Зачем это? Неужели как школьник пользуется им, чтобы строчки ровными были, вверх или вниз не убежали?

— Добудьте кипятка, — хмуро сказал.

Попросил? Приказал? Ему все равно, кто что подумает.

— Я пока вам книжку надпишу, — проинформировал и стал подкладывать трафарет под титульный лист свежего однотомника.

Кофе уже остывать начал, а Киплинг все еще выводил полуписьменные, полупечатные буквы дарственного инскрипта. Когда Галя попыталась заговорить с ним, он грубо оборвал ее:

— Не мешайте! Если ошибусь или с линейки сойду, то у меня до завтрашнего дня будет отвратительное настроение.

Наверное, сочиняет что-то особенное, раз так старается, — самодовольно подумала Галя. Прочитала — ничего

подобного, почти казенные слова написаны ровно, четко: «в память о совместной работе», «с уважением»... Единственное сочетание, которое можно с натяжкой счесть не-трафаретным — «с великой симпатией». Нет, не мастер комплимента. Не льстец? Здорово!

В кабинет вошла секретарша — потребовалось подписать калькуляцию на «Мастера и Маргариту» в серии «Классики и современники». Гала по мужниной выучке всех знакомить — она думала, аристократической, — представила ее писателю, но тот в ответ даже не пробурчал ничего, только сердито в пол уставился.

— Не надо меня ни с кем никогда знакомить! — буркнул, как только они одни остались. Тут уж точно не попросил, а приказал.

А когда вслед за секретаршей стали заходить сотрудники — явно чтобы поглазеть на знаменитость, — он стал прощаться. Два глотка только и успел из чашки отхлебнуть.

— Не уходите, а? — жалобно попросила Гала. Как ребенок.

— Я бы остался, но они же...

Гала не дала ему договорить, а просто заперла дверь на ключ. И в голове не мелькнуло, что делает что-то двусмысленное.

— Теперь никто не войдет. Может, еще пару раз дернут ручку, и решат, что я домой ушла.

Кабинет был временный и находился в дальнем крыле, вдали от редакции, которой Гала управляла уже полгода. Возвращаясь от двери обратно за свой стол, она похвалила новую повесть знаменитого писателя-партизана: нужно было хоть чем-то прервать неудобное ей молчание.

— Язык совсем плохой, — сердито сказал ее визави.

— Это же перевод... — пробовала защищаться Гала, но теперь уже Киплинг завелся. С пол-оборота.

Гала сумела несколько раз вклиниться, чтобы согласиться или поспорить с ним. Перебивала только потому, что считала: когда молча слушаешь, не сообщая свое мнение, то выглядишь либо дураком, либо соглядатаем. И то, и другое ей претило.

Оказалось, этот самый партизан был близким другом Киплинга. Большой рассказ получился, срывание всех и всяческих масок. Гала вечером записала его в дневник, исключив свои реплики и получая удовольствие от brutального языка собеседника:

«Я точно знаю: он пишет на русском и потом делает перевод на язык своей республики. Для денег. У него только две настоящие вещи, а остальное — это уже сопли, лирика. Мы с ним пятнадцать лет дружили. Он всегда у меня останавливался, когда в Москву приезжал. На одной тахте спали. Бывало, до трех ночи разговаривали. И вдруг я из третьих рук узнаю, что он дачу себе там, на окраине республиканской столицы строит. С архитектором каждую неделю ездит проверять, как его балкончики-балясины возводятся... Зачем скрывал? Думал, я позавидую? Противно. Мне в Подмосковье тыщу раз предлагали и участок под строительство, и готовую дачу. Жена до сих пор пилит, что я от всего отказался.

Но это я еще простил.

Потом, позже, он крепко подвел меня. На цензуру пожаловался и попросил помочь восстановить хоть что-нибудь в его повести. Я обратился к своему приятелю, «текстологу» из ЦК. Целый час во время нашей прогулки уговаривал его хотя бы посмотреть, что можно сделать. На следующий же день он мне позвонил:

— Ну и окунули вы меня в говно! Я ведь пошел в Главлит и стал их шефа уговаривать широту продемонстрировать. Вот вы, мол, партизана нашего покритиковали, а теперь

возьмите и пропустите его повесть. Целиком напечатайте, без купюр. Ну, этот главный цензор затребовал корректуру из журнала, а там под каждым исправлением подпись автора: «с правкой согласен».

Это дружок мой власти хотел показать, что послушный, а моими руками что-то все-таки вернуть. В общем, и рыбку съест, и на хер сесть...

Он мне потом голубя мира присылал. С письмом... Эти письма его! Критик псковский оголил его жопу: опубликовал его послание писательскому секретарю, в котором наш смелый партизан восхищается, как несовершеннолетняя целка: конец, мол, вашего последнего романа такой толстовской силы, что я три дня ходил под впечатлением. А мне в то же самое время написал, что в этом романе можно прочесть только места про войну, то есть страниц двадцать из пятисот... Я ему тогда прямо сказал: «Ты устроился лизать задницу этому начальнику, отравляя свой немолодой организм его каловыми массами, а он все снял камеру и засветил тебя».

Так это еще не все. Баба одна из ИМЛИ выпустила книгу об этом секретаре, и там опять приведено высказывание нашего храбреца: «Все мы, военные писатели, вышли из твоих «Батальонов». Я ему напоминаю: ты ведь раньше говорил, что мы вышли из некрасовских «Окопов Сталинграда». Возмущается: «Да как она смела! Я ей напишу!» Ну, я условился с одним человеком в ИМЛИ и при свидетелях спросил у той бабы, откуда она взяла процитированное высказывание. Та, принципиальная, нашла мне ксерокопию письма с этими словами. Но ведь партизан извещал вас, что не было этих слов, говорю ей. «Ничего он мне не писал», — был ответ.

А тот начальник и меня хотел поймать. Прислал роман со своим шофером. Я прочитал. Затаился, молчу. Но чув-

ствую, что отвечать придется. И точно. Автор сам звонит. Я ему вежливо так, по имени отчеству обращаясь, говорю: «Вы ведь не были в Берлине в сорок пятом...» А полромана про это. Тут уж не поспоришь. Он и не стал. Правда, попросил меня два-три года никому об этом в мире литературы не сообщать. Ну, я и закрыл рот на замок. Уже лет десять прошло».

Договаривали по дороге к метро. Стемнело. Высокий Киплинг шагал крупно и быстро, Галя в своей узкой длинной юбке семенила за ним, как китаянка, но неудобства никакого не чувствовала. Встряхнул ее этот разговор. Как будто на дереве ее жизни новый побег появился.

Само собой получилось, что, по-прежнему подробно и без цензуры рассказывая поэту о своем житье-бытье, она перестала упоминать про Киплинга. Без какого-либо бабского расчета, без дальнего прицела. Инстинктивно. Да и как можно пересказать кому-то хотя бы такой их диалог? Галя: «Любой нормальный человек радовался бы, что про него хорошо говорят, а вы сердитесь из-за какой-то мелкой неточности». Киплинг: «Спасибо, что ненормальным назвали. Завтра же встану на учет в психдиспансере». Стыдно же. За себя стыдно. Об этом — только мужу и дневнику.

А Гомер и не спрашивал — не до того было. Узнал, что детектив Киплинга наконец вышел, что никакого отмечания, на которых и завязывается интим, этот шизик не устроил — вот и ладно. Значит, больше ему Галя не нужна. По себе знал прагматизм известных, востребованных авторов — только ближе к делу возобновлять отношения с издателями. На всех ведь времени не хватит.

После переезда на дачу у Гомера все как-то усложнилось. Каждую поездку в Дом творчества надо было начинать го-

товить задолго, как масштабную военную операцию. И правда — тут, в Красновидове, все условия: тишина, свежий воздух, домашняя еда, уход и забота. Одна брешь в обороне Нины против внешнего женского мира и была — ее назойливая забота. Только сосредоточишься — стук в дверь: «Тебе чаю не разогреть?.. Дождь утих, пошли погуляем... Я в город еду, что привезти?» Нужно было постоянно быть на чеку и сразу хватать Нину за руку, чтобы до нее дошло: мешает. Тогда где-то на десятый раз она, как кошка, поджимала хвост и соглашалась с его отъездом.

И Гала приезжает к нему холодной, жестокой маркизой. Не всегда хватает двухчасового свидания, чтобы ее разморозить, чтобы она стала прежней — доброй, мягкой, нежной. Чего она хочет? Да если и представить пока невозможное — Галу на месте Нины, то он ведь все равно будет ездить сюда один, только здесь ему хорошо работается. Господи, Гала даже не понимает, что ей пришлось бы бросить службу — ему же нужна постоянная помощь. Конечно, приятно, что она обращается с ним как с равным — и по возрасту, и по всем другим возможностям. Это тонизирует, если вот так, изредка встречаться, но двадцать четыре часа в сутки быть молодым, зрячим, бодрым ему уже не под силу. И потом — еще один развод? Ни за что! И так первая жена отобрала все, что он заработал — и квартиру, и деньги, которые для удобства на ее имя были положены. К тому же выяснилось, что она крепко подворовывала за тридцать лет их брака. Да сегодня еще пришло уведомление, что она в Верховный Суд апелляцию подала. Хочет наложить лапу на гонорар за вот сейчас выходящее собрание сочинений...

Узнав эту новость, поэт стал думать, звонить ли Гале. Этот удар надо выдержать, а если еще она стукнет по его нервам своим кулачком, то он и сорваться может... Но все

равно не было сил встать сейчас со стула, выйти в холл и подняться к себе на второй этаж. И сидеть здесь, не звоня — тоже бессмысленно. Вдруг в голову пришло: Галя же может в суде как свидетель выступить, как свидетель того, что только с Ниной он в издательство приезжал, что прежняя жена палец о палец не ударила, чтоб ему помочь в работе над собранием сочинений. Набрал номер и сразу почувствовал: зря. Но «алло»-то уже сказано.

Галя даже не пожалела его... И сколько он ни повторял устало, что никогда не ставил Нину выше, что не может человеку отрубить голову, что для нее весь смысл жизни — это служение ему, что она столько для него сделала, — Галя не слышала, не хотела слышать. И вдруг жестко так перебила:

— А что же мне-то делать? Я понимаю, что стала невыносимой, но ничего поделать с собой не могу.

— Ну, поступай, как знаешь, — устало, но еще без раздражения, сказал он.

— Хорошо, я так и сделаю.

— И тебе не стыдно? — пробовал он ее вразумить.

— Совсем нет, — мстительно, зло вырвалось у Галы. — Нам надо расстаться. Я себя не узнаю: такой дурной, нетерпимой я никогда не была. Я ревную, мучаюсь...

После долгого молчания, которое в другом бы состоянии оба приняли за обрыв связи и стали бы переспрашивать: «алло, алло, вы слышите?» — поэт, собрав все мужские силы, отчужденно заговорил:

— Не ожидал от вас такого разговора. Не ловлю вас на слове... но когда вы обещали любить меня всю жизнь — я поверил. Впервые поверил женщине... Ни о каких отходных путях не позаботился...

— Я и не отказываюсь, я всегда буду вас любить и больше никого не полюблю...

Женская логика...

Поэт как-то нехорошо усмехнулся, как будто ему вместо обещанной настоящей «Волги» подсунули копию игрушечную.

— Слабое утешение, — после долгого молчания признал он. — Я и любил тебя за то, что был уверен: ты — это навсегда. Что я могу еще сказать? Если бы я предложил тебе расстаться, ты бы согласилась? — И, не сделав никакой паузы, чтобы дать ей возможность ответить на его вопрос или хотя бы подумать о том, что она наделала, он объявил: — Лучше попроситься прямо сейчас, а то я скажу что-нибудь лишнее. — И, не дожидаясь ответа, повесил трубку.

Сколько потом просидел возле телефона — он не понял. Все ждал ее звонка. Не верил, что Галя не одумается. Наконец смог встать и выйти из директорского кабинета. Медленно передвигал ноги, как бы заново начиная жизнь после Хиросимы.

Кто-то взял его под руку. Дежурная. Причитает: «Что с вами? Чем помочь?»

Даже когда палец отрезают, и то человека начинают преследовать фантомные боли... Галя же взяла и обрубила живую человеческую связь, шестилетнюю. Выдержу ли? — вот что было у нее в голове, когда в трубке слышались короткие гудки.

День прошел, еще один... Жива... Только через неделю она начала метаться. Можно ли еще сшить порванное? Не поздно ли? Позвонила в Дом творчества. Уехал, говорят. Шесть дней, как уехал. Что же делать? На даче телефона нет, а в Москве после того, как жена отсудила его квартиру, он у Нины Валентиновны живет. Ей позвонить? Только

пододвинула к себе казенный старомодный аппарат, чтобы ненавистный номер набрать, как он сам заурчал. В этот же момент в кабинет вошла секретарша и с порога (невышколенная, ненастоящая секретарша у ненастоящей начальницы) спросила о какой-то производственной мелочи. Гала, держа уже поднятую трубку, быстро ей ответила и наконец сказала свое протяжное «алло-о-о». А на другом конце провода кто-то, раздраженный на тишину, сердито спрашивал «кто у телефона?», но, услышав голос Галы, сразу бросил трубку.

Не «кто-то» — дошло до Галы. То был баритон поэта. Задумался и по ошибке набрал ее номер? Как же он ее ненавидит, раз даже для приличия не поздоровался... Вот теперь ясно, что разрыв — навсегда. И надо жить дальше. Как?

Заперлась в своем кабинете, вынула из сумки дневник. Открывала его обычно дома, но на всякий случай — не из конспирации, а вдруг что-то записать захочется — всегда брала с собой толстый ежедневник в балакрановом переплете. Его и книжку, чтобы в метро читать. Сумку всегда покупала такую, чтобы в нее помещались эти два кирпичика. Большая форма — красиво...

Как же жить? Первое, что пришло в голову для спасения — нужно начинать писать. Но роман можно построить только если знаешь все, что происходит вокруг и параллельно с твоей жизнью, что влияет на нее, поворачивает жизнь на перекрестках, вынуждает врезаться преграду и расшибиться — до крови или до смерти. А что ей известно хотя бы про этот поворот? Непонятно даже, разбилась она или удалось удачно вывернуть руль?

Да, писать еще рано...

Так что же — зажмуриться, и будь что будет? Нет, нет!

Сердце екнуло, когда проходила мимо почты, на которой так часто ее востребования ждали и толстые, и тонкие

конверты без картинок с неровными строчками... Может быть, и сейчас что-нибудь прислал? Нет, «на ваше имя поступлений нет». Он молчит, тогда она сама! Письмо Нина Валентиновна может и не показать ему, но телеграмму-то скрыть не посмеет... Всего три слова: «Простите меня пожалуйста». Вот и отлегло. Теперь понятно, чего ждать. Теперь и молчание — это ответ...

Как могла, укорачивала перебежки от домашнего до служебного телефона, чтобы не пропустить звонок. Через неделю стало ясно, что и молчание — это никакой не ответ. У слова столько значений, у поступка еще больше, но самое многозначное — это молчание. И равнодушие в нем может таиться, и гнев, и ненависть, и любовь. Как узнать? Галя набрала номер Нины Валентиновны.

— Он дома, Галя Ильинична, сейчас позову, — сквозь зубы отчеканила артистка.

Да любая баба на ее месте смогла бы вложить свои чувства в эти шесть слов. И любая их бы правильно прочитала. Галя не исключение. Ну, пришлось опалиться чужой ненавистью... Не сожжет же... Главное — поэт взял трубку!

На звук его голоса отозвалось ее сердце и говорило только оно:

— Это была болезнь! Как вы могли поверить! Позвольте только встать перед вами на колени и попросить прощения!

Поэт молчал.

— Вы не можете сейчас говорить? — угадала Галя.

— Да.

— Я до конца дня буду дома. Вы позвоните?

— Да.

Вот оно — счастье предвкушения!

Было воскресенье, начало ноября, муж с сыном уехали в театр. Галя поставила битлов, но так, чтобы они не заглу-

шили звонок, и принялась мыть окна. Именно эту домашнюю обузу она не любила, а сейчас и тереть стекла было в охотку. Начала с кухни, в которой они проводили больше всего семейных человеко-часов, то есть вместе, вдвоем или втроем, чаще всего тут сидели. Потом — балконная дверь и окно в мужнином кабинете и дальше — сколько успеется. Все подслеповатые от уличной грязи и домашней пыли окна-глазницы отчистила, впустила внешний мир в свой дом, и, как награда — звонок.

— Пришлось валокордин пить, чтобы выжить после Хиросимы, которую вы мне устроили. Ну, ладно... Я в Москве еще два дня буду по неотложным делам, а потом поеду в Переделкино и оттуда вам позвоню.

— Только «позвоню»?

— Может быть, в четверг..

Сразу стало легко жить, и она могла уже думать не только о себе.

— Я вас очень подвела своей телеграммой?

— Да, мне пришлось придумать, что перед отъездом я вам позвонил по поводу бумаги, а у вас было много народа и вы со мной не очень любезно разговаривали. Мне, конечно не поверили... «А что, если я ее мужу расскажу?» — был ответ. И я не могу гарантировать, что она не поделится с соседями по даче... Ну все, пришли.

Вот и кончились именины сердца. Спокойствие Нины — это для него главное, ревниво заключила Гала. В таком возбужденном состоянии она не могла понять, что не чей-нибудь, а свой собственный покой оберегает поэт. Все люди это делают. Он — осознанно, она сама — инстинктивно. Мало кому нравится жить в состоянии войны, мир — вот чего хотят люди.

На свидании Гала не удержалась, продолжила прерванный разговор.

Четыре пигмалиона

— Не хочу я все время считаться с вашей Ниной Валентиновной.

И его ответ:

— Раз я считаюсь с вашим мужем... Для меня женитьба ничего не изменила. Просто она сама, да не только она — все родственники и знакомые в один голос твердили: она столько для тебя сделала, ты должен... Что тут возразить? Если б я мог обходиться без посторонней помощи...

— Это значит, что мы всегда будем порознь? Скажите «да», мне будет легче не надеяться, чем так...

— Что же, если я вдруг останусь один, то на вас не рассчитывать?

Так я — подстраховка? — мелькнуло у Галы, и она промолчала. А когда собралась уходить, он дважды не заметил, как назвал ее «Ниной», да еще и патетически провозгласил на прощание:

— Если бы не было у меня такого к тебе отношения, то возврат был бы невозможен. Все выжжено, но я надеюсь, жизнь возродится...

Пафосность эта гомеровская... Что-то свое, тонкое, предназначенное именно этому близкому человеку нельзя вот так выпренно произносить. Пафос всегда вещает готовыми словосочетаниями и чужими фразами, давно утерявшими свою свежесть. Он для толпы, а не для одной-единственной...

«Жизнь возродится...» Да куда она денется, Жизнь с большой буквы?.. Если даже маленький человек может компенсировать свои потери — утрату зрения, смерть отца, гибель любви-дружбы, то что говорить о такой великанише, как Жизнь... Только она — «всегда», всегда потому, что складывается из неисчислимого множества частных жиз-

ней, системно, естественно подхватывающих одна другую. Думай, да еще слушай свою природную тягу — и включишься в этот поток, а он сам приблизит к тебе того, кого надо.

Гала стала замечать, что уже не впадает в отчаяние, если Гомер подолгу остается на даче, где нет телефона, или если он уезжает на гастроли... И даже если доступен и хочет встретиться, то она уже не несется сразу в своем синеньком экипаже, отодвигая важные дела ради чаемого свидания, а приспособливает время дальней поездки (двадцать минут от порога до порога, это даже не семь верст, которые для любви не околица) к таким пустякам, как визит к портнихе или к дантисту. И когда она назначает самые разные дружеские или деловые встречи, то уже не заботится, чтобы они не помешали свиданию, как было раньше.

Разлюбила или придумала, что разлюбила? Этот вопрос стал мучить Галу после длинного письма, в котором со всей силой выступательного пафоса поэт навязывал ей две вещи: во-первых, свои эстетические взгляды и во-вторых, право на открытые отношения с прогулками, обменом семейными визитами и так далее, то есть полное рассекречивание. Гала то решалась принять все это волевым усилием и — будь что будет, то думала: никогда, пусть даже разрыв. И тут же пугалась: а вдруг окажется, что прав он, что им уже нельзя порознь?

В голове все пугалось, сердце ничего не подсказывало, но нежность к нему в душе все еще жила. Все еще согревали неожиданные звонки из Краснодара, Севастополя, Липецка... Пусть он и преувеличивает, что его встречают как Блока или Есенина, что везде аншлаги, что билеты спрашивают за два квартала от главного концертного зала, а

все равно приятно за него. И письма поклонниц, которые он теперь просил именно Галу ему читать. «После вашего выступления я подошла и дотронулась до вашей руки — это был самый счастливый момент в моей жизни...», «Ваши стихи спасли меня, когда...» Ну, тут столько вариантов — когда я тяжело болела, когда меня обманул любимый, когда узнала об измене мужа, когда у меня умерла мать, когда я потеряла работу... На трезвую голову даже и Гала бы сообразила, что точно такие же чувства испытывают экзальтированные одиночки женского пола любого возраста к любому кумиру, которого они могут сотворить и из безголосого юнца, поющего под чужую фонограмму, и из туповатого усача-юмориста, и из телеведущего, читающего чужой текст... Список бесконечен. Но Гала, как живая и нормальная женщина, все еще была одурманена...

И Гомер это знал.

— Я всегда чувствую, когда со мной неискренни. Я даже боюсь проверять, — говорил он Гале. — Если я тебя когда-нибудь о чем-нибудь спрошу и правда будет для тебя невыгодной, все равно говори правду. Ты вырастешь в моих глазах гораздо больше.

И в своих глазах Гала хотела расти, а не вянуть. Уродует любого человека это растроение — когда он чувствует одно, думает другое, говорит третье. Совсем безобразно хитрить, обманывать сознательно, но нельзя же, непереносимо жить вот так — когда все внутри пошло вразнос, когда не знаешь, как хотя бы на мгновение навести порядок в чувствах-мыслях-поступках. И она гнала из головы свои сомнения. Особенно когда вечером вдруг слышала от поэта такое:

— Сегодня мне позвонила одна женщина. Я с ней давно знаком, больше двух лет. Она-то, в отличие от тебя, приезжала погулять со мной и сюда, и в Красновидово. Специально купила машину для этого. Она вдова очень извес-

тного генерала, у нее все есть — и квартира, и дача. И вот она спросила меня — я ждал этого вопроса — занято ли мое сердце. Я ответил — да. «Что ж, очень жаль, — сказала она. — Это будет моим горем. Тогда я выйду замуж. Ко мне сватается очень хороший человек». «И мне жаль, — ответил я, — еще один друг ушел из моей жизни».

Ну что на это скажешь? Гала и молчала, а поэт не оставился:

— Хватит прятаться... Мое появление с тобой может ускорить возможность нашей совместной жизни. Если мне скажут, чтоб я с тобой не встречался, то я смогу уйти. А мне это непременно скажут.

И опять Гала промолчала.

Момент истины

Никакой ссоры не было, никакого жесткого «последнего» разговора. Ласковый, медовый голос поэта стал скользить мимо души, не задевая. Гала еще вращалась в его системе, но вращалась вхолостую, как крутится болванка, с которой резец уже снял запрограммированную толщину стружки. Она вежливо отвечала на звонки, еще был всплеск жалости, когда на гастролях Нина Валентиновна прихлопнула его руку дверцей машины. Кусочек безымянного пальца оторвался, пришивать не хотели, но поэт настоял. И после операции не отменил свое выступление, а героически провел весь вечер на сцене. Зрители его дождались.

Через много-много лет, через следующую жизнь, Гала захотела рассказать о своих дружбах Чигорину. Получилось это не сразу. Сперва он остановил ее: «Не надо, потом жалеть будете...» Лишь со второй попытки она назвала ему имена и, сама не зная, зачем, сроки жизни судьбоносных отношений. Десять и пятнадцать лет. Брякнула приблизительно, поскольку никогда не подсчитывала. Чигорин так удивился и с такой понимающей улыбкой посмотрел на нее, что она покраснела.

Неужели соврала? Первая дата, знакомство, была точной, а вот что написать на памятнике отношениям через тире? Вечером пробовала попытаться мужа, у которого с цифрами был полный порядок, редкий для гуманитария. Но он и напрягаться не захотел. Бросил: «Сама разбирайся!» — и ушел в свой кабинет.

Ну, последний звонок Гомера был не так уж давно, лет пять назад, а вот свидание, про которое она еще не знала, что оно — последнее, вспомнилось точно. Все было как всегда, только Гала не досидела до обеда, сколько поэт ее ни уговаривал. Вырвалась, потому что с трех часов ее ждал Киплинг — не по делу, а так, чаю на кухне вместе попить.

И вот эта дорога, по Переделкинским улицам на Минку и дальше по Кутузовскому до Садового кольца... Гала была счастлива... Встала в левую полосу и неслась за черной «Волгой», улыбаясь своим мыслям. Пробок пока нет, времени хватает, чтобы не опоздать. Предвкушать — это она любила... Услышав свисток, она огляделась, ища того бедолагу, который напоролся на гаишника. Дорога была пуста, и жезл явно метил в ее «копейку». Уехать или починиться? Благоразумие все-таки не улизнуло. Смыв с лица все краски радости, старательно нахмурившись, Гала съехала на обочину, вышла из машины и протянула тучноватому немолодому капитану свои водительские права. Молча, пока молча. Тот не спеша раскрыл бордовые корочки, прочитал текст, шевеля губами, как первоклашка, и подомашнему, не строго и не вымогательски-хитровато спросил:

— Почему нарушаем, Галина Ильинична?

Что нашло на Галу, она потом не могла объяснить ни себе, ни мужу, которому честно все рассказала. То есть не то, откуда куда ехала, а лишь все, что ответила гаишнику:

Четыре пигмалиона

— Пожалуйста, простите меня! Я только что вернулась после похорон отца, и если вы меня оштрафуете, то я вообще домой не доеду.. Разобьюсь по дороге...

Был жаркий летний день, на Гале был не траур, а легкий белый сарафан, и поверить ей можно было только если признать, что свое горе она переносит с очень большим, неженским мужеством.

Своя душа — потемки, что уж говорить о чужой... Капитан окинул взглядом нарушительницу и устало козырнул:

— Ладно, езжайте, чего уж там...

Хорошее настроение вернулось, как только Гала плюхнулась на нагретое кожаное сиденье и пристегнула ремень. Вот и начала сочинять! Пусть пока не на бумаге, а только в жизни, ничего, доберемся и до своей скрижали. И еще озорно так подумалось: заразно, оказывается, реинкарнация в героев много раз прочитанного и любимого романа Киплинга. Там разведчик заставил на себя поработать мертвого коменданта города, здесь она — своего отца...

И вдруг ее укололо: что же, всегда нужно через кого-то переступить, чтобы сочиненное обрело витальную, действенную силу? Стыд оцепенил ее. Ужасно же, кощунство это — вот так поступить... Отца похоронили год назад, в феврале. Шел снег, в глубокую, темную яму бросали не рассыпчатый песок, а смерзшиеся комья. Как камни стучались они о дубовую крышку и звенели...

Но это последнее свидание случилось потом, а пока все были на месте: и Гомер, и Киплинг, и издательская служба.

В самом конце восьмидесятых все более-менее хваткие чиновники вывесили — кто где мог — модный лозунг «перестройка» и под его охраной поспешно стали разбирать-растаскивать по кирпичикам, а кто и целыми блоками вве-

ренные им конторы. Колхозы растащили, фабрики-заводы, большие магазины и мелкие лавки... Издательство, которому служила Гала, — не исключение. Директор начал с укрупнения редакций. Всех на всех натравил, сам только посмеивался. Почти открыто. Циник.

Гала, потихоньку от своих подчиненных исправлявшая их ляпы, верстки-сверки за них читавшая, то есть неправильная руководительница, не вникала в местные дрызги, поэтому до нее поздновато дошло, к чему дело идет. Так или примерно так было с теми, кто в семнадцатом году, в сорок первом, в девяносто первом (и так далее) не интересовался политикой.

Как-то за обедом к ней подседа месткомовская лидерша и стала «по-дружески» советовать собой заняться: не надо, мол, столько времени на работу тратить, ты же молодая, красивая женщина, как на тебя мужчины смотрят! Да хоть любовника заведи... И муж у тебя такой талантливый, и о сыне надо больше заботиться... И тебе уже давно пора что-то для издательства начать писать. Может, поговорить с директором о договоре на какую-нибудь литературоведческую книгу? Служба же для тебя не главное!

Домой Гала пришла с перевернутым лицом, только начала мужу жалиться, звонок. С налету, громко, на всю квартиру — чтобы потом не повторяться, все и выложила Гомеру. Зачем? Ну уж точно не ради этих его слов:

— Жукова тоже снимали, и Кутузов Москву отдавал... Когда мне было тяжело, я пожаловался одному приятелю. А тот сказал: «Ты ведь артиллерист? Что делают артиллеристы, когда попадают под прицельный огонь? Рывок вперед». Вот и я советую вам взять толстую тетрадь или вставить лист бумаги в машинку и написать рассказ. Да, у вас трудный период, но знайте, что я всегда с вами. У меня сейчас гости собрались, рядом со мной за столом сидит

Четыре пигмалиона

восторженная двадцативосьмилетняя поклонница, которая все мои стихи наизусть знает, а я вам звоню, чтобы сказать, как я вас люблю... А вы меня любите?

Гала смолчала, чтобы не выкрикнуть ему: меня не снимают! И я не старая! И чтобы «нет, уже не люблю» — не сказать.

Следующим утром муж уезжал на свою первую заграничную конференцию. В Гренобль. Гала отвезла его в Шереметьево — она тоже впервые туда на своих колесах поехала. Страшновато было, но ничего, прямая дорога вывела в нужное место.

На службе уже хватились. Не успела раздеться, как в ее кабинете возникла месткомовская тетка. Приземистая толстененькая блондинка. Натуральная. Притворившаяся вчера подругой, сегодня она говорила суперсухо. Редакции сливают, Гала может сама выбрать, с кем ей теперь в одной комнате сидеть. Пусть возьмет себе три-четыре самых сложных книги и приходит сюда только по делу:

— Я твой кабинет займу, а ты будешь работать по свободному графику. Ну, по пятницам будешь отпускать меня. Я постараюсь добиться, чтобы телефон тебе оставили, а себе возьму свой прежний номер. Почему у тебя стол спиной к свету стоит? — вдруг по-хозяйски спросила непрощенная гостья. — Велю переставить... Что это ты так покраснела? Ладно, ладно, не сегодня же тебе переезжать, дней десять я смогу подождать.

Только бы не расплакаться при ней, уговаривала себя Гала. Уговорила. А вечером, в конце рабочего дня муж из Франции позвонил — известить, что добрался без приключений. «Сейчас же пиши заявление, — сказал. — Я тебя прокормлю». Сразу его послушалась, ни секунды не сомневаясь. Написала и по дороге домой занесла бумажонку на второй этаж, в дирекцию.

Время было переходное — нагая людоедская прагматика еще прикрывалась показным советским человеколюбием, поэтому целых две недели множество издательских людей делало вид, что протестуют против ее ухода. Даже директор иезуитски попритворился.

Киплинг же рассердился, что Гала с ним не посоветовалась:

— Надо было хотя бы месяца два еще поработать, а потом уходить. Тогда бы все сказали, что месткомовша — бяка. А теперь получается — вы из-за кабинета...

Надо было... Сам-то ни малейшего издевательства над собой не терпит! Когда в Подольском архиве материал для романа собирал, то нашел там свою военную характеристику. «Невыдержан, груб с вышестоящими» — вот что было в ней написано. А ее чему учит?!

— Вы мне целую неделю не звонили — как тут посоветуешься! Друг называется! — От растерянности, что ли, Гала набросилась на Киплинга.

— У вас какое-то агрессивное самоунижение! — поставил он диагноз и попрощался ненавистными для Галы словами: — Уже пришли, мне пора.

Опять ее в сторону отодвигают ради другой... Обидно...

А спросила бы себя: почему обидно? Зачем непременно быть первой для всех? Для Гомера, для Киплинга? Она что, замуж за них хочет? Да Гала же не только ответа не знала, но даже сам этот вопрос себе ни разу вот так, прямо не задавала. И в этой непроясненности, в этой матримонимальной неотчетливости и было ее целомудрие. Своеобразное, что и говорить...

В первый же безработный понедельник Гала проснулась с мокрыми глазами. Во сне плакала. Эх, если б тогда ей

попалась чигоринская повесть! Та, где герою, очутившемуся почти что в ее положении, случайная прохожая говорит: «Теперь вы сами по себе. Свободны».

Ни от кого не услышала она таких слов.

Муж, утешая, крепко прижимал ее к себе. Как всякий слишком любящий человек, сливался с Галой, будто старался боль у нее отнять и на себя взять. Но так только заразиться можно и вместе страдать. Не сообразил он отодвинуться от жены хоть на самую малую дистанцию, с которой можно что-то для другого сделать. Чем дальше отойдешь — тем больше рычаг. Закон физики. Класе в шестом это открытие сообщают недорослям.

Неделю целую Галя не снимала длинную ночную рубашку из светло-бирюзового батиста с кружевными прошвами, оборками и узкими атласными лентами, похожую на бальное платье. Давно, на пятом курсе университета она не могла оторваться от фильма «Моя прекрасная леди». Раз шесть смотрела, как из простушки-плебейки вытаскивается леди, а потом попросила маму сшить красоту, в которой Элиза Дуллитл поет свое «Я танцевать хочу». Чтобы память о восторге была осязаемой. Лишь только та, первая начала изнашиваться, заказала дубликат. Теперь на ней был уже пятый или шестой экземпляр. Стирала свою роскошь Галя только руками, следила, чтобы не пересушить, и долгая глажка тоже была ритуалом.

Но сейчас в этом одеянии она не танцевала, а плакала, лежа поперек своей широченной кровати. Как зверь в логове выла от боли. При сыне-муже еще получалось сдерживаться, а вот когда одна оставалась... Нет, не театральные слезы были, не напоказ. Казалось, что ее навсегда отлучили от литературы. Читать даже не могла. Закрывала дверь, чтобы не видеть корешки на застекленных стеллажах, построенных в холле сразу после переезда в эту, свою

квартиру. Голова совсем думать разучилась, ни одна разумная мысль не пробивалась из-под боли.

Но сколько можно пребывать в отчаянии, которое не подпитывается ничем действительно страшным, бесповоротным?

Ровно через неделю Гале стало скучно. Выдохлось несчастье. Сильнее от него страдать было уже нельзя, и она сама не заметила, как стала притаскивать книжки в свою берлогу. Подобное лечится подобным. Все переведенные романы Джейн Остин перечитала, «Гордость и предубеждение» по-английски осилила и поняла: хватит кукситься. Вечером же сказала мужу:

— Давай помогай, буду сама писать.

Послушной ученицей профессора-теоретика стала.

Велел ментор на двух страницах набросать краткое содержание будущего романа — сделала.

Название надо придумать? Тут же выскочило — «Гости столицы».

Как именовать героев? С этим застопорилось, вместе стали выбирать. Писать-то Гала собиралась именно про себя: поскорее надо было окуклить, ограничить как-то издательскую свою историю, не то и не заметишь, как она отравит все следующие дни-годы. Да попереживай еще — и поверишь, что потеря работы и есть конец твоей жизни.

Примеров сколько угодно. Только от угрозы, что выгонят, с девятого этажа, из своей квартиры выбросилась ровесница Галы, служившая в редакции литературоведения... А еще: на следующий день после вынужденного ухода на пенсию отравилась газом здоровая, работоспособная старая дева... А еще...

Так что опасность вполне реальна. Значит, выбора не дано: надо написать, чтобы свою жизнь спасти. Ну, про себя можно хоть как угодно откровенничать, про себя и присочинить не грех. Муж тоже дал карт-бланш. «Делай со мной все, что хочешь», — сказал. А вот как быть с другими, живыми?

Чтобы свободно писать, чтобы не бояться своих прототипов, нужны имена-маски. Скальп надо было снять с каждого и приживить его к... К кому? К человеку-невидимке... Несколько дней вдвоем в словарях копались, выбирая имена для героев романа. Кого только не вспомнили! Перессорились много раз, потому что Гала впервые, сама себя удивляя, не соглашалась с мужем там, где была его вотчина, законная, официально закрепленная двумя дипломами — кандидатским и докторским. Побивал он ее терминами, логикой, а она все равно на своем настояла. И муж утвердил список действующих лиц. Ни одно имя потом не понадобилось менять.

Трудно пуститься в пляс тому, кто тридцать семь лет на печи пролежал. Трудно, но возможно.

В день рождения Галы на подушке рядом с ней оказался не муж, а только его след — зеленый листок с четверостишием, выведенным четкими оранжевыми буквами:

На цифре 37 не вянет гордый твой венец,

Чего б она другим ни означала.

Пусть там для кого-то эта цифра и конец,

А лично для тебя она — начало...

Гала и начала. Именно в этот день вместо того, чтобы, как обычно, все свое изобретательство пустить на придумывание начинки для пирожков, на то, мясо или рыбу сегодня для гостей готовить, вместо того, чтобы составлять список продуктов, которые надо купить, села за свой письменный стол и в чистый лист бумаги уставилась. От его

белизны стало страшно. Быстро наверху название романа вывела и принялась первую фразу сочинять. Написала обрывок предложения — не то, зачеркнула, с новой строчки новое слово — тоже не годится... Не заметила, как белая гладь взвихрилась черными барашками буковок, а то, что в голове билось, никак не получалось выродить. Устала. На клетчатой страничке из блокнота нарисовала квадрат, из угла в угол провела диагонали, потом разделила его на четыре равных сегмента и увлеклась — получилась картина. Сложный геометрический узор, преддверие «Черного квадрата». Все легче, чем сочинять.

Мужа, который в честь праздника с работы пораньше вернулся, встретила серапионовской цитатой: «Здравствуй, брат, писать очень трудно».

До сих пор трудно...

Бывало, Гала целый день маялась в одиночестве за письменным столом, а в результате могла прочесть мужу всего одну фразу. Которой, правда, гордилась.

А как обычно было? Абзац из десяти-пятнадцати строк — вот сколько у нее обычно получалось.

— Ты как машина без сцепления, которая глохнет после каждой остановки. Все время заново тебя надо заводить, — и смеялся над ней, и огорчался за нее муж.

К тому времени он уже сбежал из чиновников в профессора. Пошел не по карьерной лестнице вверх, а вниз отправился, в преподавательский забой, как только в свою квартиру переехали. Кооперативную купили — влезли в долги и купили. Всего полгода надо было еще потерпеть, чтобы получить государственную, бесплатную, но они и секунды не колебались, заплатили за свободу. И правильно поторопились. В столице через несколько месяцев после их пере-

езда сменилась власть, чисто партийная на партийную с демократическими замашками. В их круге все этому беззаботно обрадовались, Гала с мужем тоже, но они-то краем глаза заметили, что новая власть ужесточила, почти закрыла московскую прописку не только для иногородних, но и для таких «подмосквичей», как они.

Когда Гала осталась без зарплаты, как раз в это время проректор мужниного института, нестарый, крепкий мужчина, в трудовом раже, а совсем не по скупости, стал сам спиливать огромную сосну на дачном участке. Что-то не рассчитал, и, падая, она его придавила. Легко умер, не мучался.

В тот же день ректор предложил мужу освободившееся кресло. «Ездить будете за границу не реже двух раз в год, один-два дня творческих гарантирую», — пообещал. И оклад больше, и еще много разных мелочей соединились, как ртутные шарики, и этот ком подтолкнул мужа. Не хотелось, а согласился.

По заграницам стал ездить сам ректор и, изредка появляясь в институте, продлевал свой кайф, хвастаясь в узком мужском кругу тем, какая мулатка подавала ему кофе в постель в кубинском отеле, потом вызывал завкафедрой иностранных языков, которая помогала ему шлифовать так нужный в путешествиях английский.

А мужа Галы каждое утро ждала под окном казенная темно-синяя «Волга» с шофером Колей, и каждый вечер, как под конвоем, она же доставляла его домой. Ничего интересного с проректорами не случается. Бумажки можно подписывать, не очень вникая в их смысл, если бухгалтеру доверяешь, в склоки между студентами и преподавателями не вступать — и они сами собой утихают. Банально все, тоскливо. За ужином и рассказать нечего.

Зато Гала частенько его стала удивлять. Не количеством написанного, нет. И не качеством... Как можно судить,

если всего один абзац она ему предъявляет. Читает почти по складам, запинаясь, сама с трудом разбирая свои каракули. Вот такой, например, диалог:

«— Пойдем на кровать, здесь неудобно... Открой глаза...

— Не могу.

— Открой, переступи... — Он провел рукой по Жениной щеке, снизу вверх, и нежно постучал пальцами по веку. — Об одном только жалею, что ты не можешь побыть на моем месте, не можешь испытать то, что я сейчас чувствую... Хочется, чтоб это длилось вечно...»

— Это что, правда так было? — как будто понарошку сердился муж.

Как будто...

«Ты пишешь близко к реальности», — констатировал Чигорин, прочитав ее четвертый, только что написанный роман. Близко к реальности... Этой формулой он как бы узаконил ее метод, но тогда, в самом начале, Галя пугалась того, насколько близко к этой самой реальности у нее получается.

Теперь-то уже не страшно, ведь то, что она описывает, с каждым днем, даже с каждой минутой отдаляется, становится прошлым, которое быстро забывают все действующие лица. Чигорин тогда же, хитровато прищурясь, дал совет никогда не показывать прототипам про них написанное. Спасибо за подсказку, после нее Галя уже не колебалась и не дала читать Чигорину третий роман, хотя он, такой неуязвимый, признал: «Мне это неприятно». Сказал и забыл, тем более что Галя быстро, неожиданно для себя прытко написала три новеллы подряд и тут же их ему предъявила.

Но как быть, если один из главных прототипов — твой муж? Муж, которому так и тянет продемонстрировать написанное? Ни секунды Галя не боялась, ведь она чувствовала, что по-другому писать не может. Так и только так.

И с мужем не советоваться тоже не может. Ее ответ на ревнивые вопросы и упреки был всегда один:

— Ты поверил? Значит, хорошо написано.

— Ну как, адаптировались к новым условиям? — спросил Киплинг месяца через два после того, как у Галы высохли глаза и душа перестала плакать. Выждал. — А чем вы занимаетесь? Ну, кроме того, что суп варите?

— Домашние дела никогда мне не мешают, а уж голова от них всегда свободна. — Гала улыбнулась про себя, и уже рот раскрыла, чтобы сообщить, что муж называет ее царевной-лягушкой — так быстро и незаметно она стряпает-стирает-гладит-вяжет-моет-убирает. Но не выговорилось это у нее, и не столько потому, что хвастливо бы прозвучало, а из-за того, что ей хотелось говорить с Киплингом так, будто сейчас они вдвоем во всем мире. Пусть и виртуальном, пусть только в телефонном. И больше никого нет, даже мужа.

— Не роман ли вы писать начали? — не отставал Киплинг.

На любой его вопрос она бы ответила, какой угодно степени интимности вопрос, но тут испугалась. Стыдно стало, что занимается тем же, чем он, почувствовала себя самозванкой, которая без спросу на Олимп полезла.

— А вы не из жалости мне звоните, не потому, что я сейчас в трудном положении? — брякнула она, чтобы не врать и не молчать.

Замолчал Киплинг. Долго ничего не говорил, минуты две, наверное, которые по телефону — вечность, а потом она впервые услышала его смех. Веселый, мужской.

— Вы таким тоном это сказали, как женщина после секса спрашивает: а нас связывает не только постель? Ха-ха-

ха! Из жалости! А меня в свое время система сама выплюнула, поэтому я и писать начал. Ну, пошли работать? Не то у нас хвосты отрастут...

Войну автор знаменитого военного романа не вспоминал. Вычислялось, что пятнадцатилетним сбежал он на фронт. Про возраст наврал. Поверили, потому что рады были обманываться: армии требовалось пушечное мясо. Да и Киплинг был не по годам рослым и крепким — сказалось трудовое деревенское детство. Вспоминал он о суровом, почти горьковском деде, который порол его, трехлетнего мальчика, приучая работать и рассчитывать только на себя. «Надейся на печь и на мерина. Печь не уведут, а мерина не убут», — повторял Киплинг народную мудрость, от себя извиняясь «за точность формулировки». Вспоминал он и строгую мать, простую женщину без образования.

— В пятьдесят третьем, помню, я жил за шкафом, вдруг ночью проснулся и слышу — мать молится: «Слава тебе, Господи, прибрал деспота». Она и язык приучила не распускать. «Ты идешь к Руденкам? — спрашивала. — Не болтай там. Он партийный. Тебе будет плохо, и нам всем». Она всех членов считала стукачами, работниками НКВД. Ведь члены партии занимали комнаты посаженных... Вы молодая, вы этого не могли видеть. А я всегда ненавидел партию, и если мне в армии предлагали в нее вступить, то я смотрел на носки сапог и бормотал, что не дорос.

Как-то незаметно настроение Галы стало зависеть от звонков Киплинга. Когда он долго — по ее понятиям это день-два — не выходил на связь, то она пробовала звонить сама, но, видимо, не было еще того слияния, когда чувствуешь ритм другого как свой: либо его не было дома, либо он сухо, как чужой говорил: «Я вас слушаю». Она терялась, обижалась и сама себе клялась, что больше никогда... Что «никогда»? Да уже на следующий день искала повода, что-

бы его голос услышать. В локатор превратилась, в прибор, который улавливает любое, самое легкое колебание информационного поля от упоминания имени Киплинга.

Вот муж привез из Кельна свежее переиздание словаря русских писателей. Хорошо, что не сразу оно попало ей на глаза, не то бы скомкала встречу, сразу бы бросилась зачитывать Киплингу ту страничку, где про него наврано: «Закончил учебу на отделении журналистики Высшей партийной школы и живет в доме инвалидов войны в Москве». Уже из дома вечером позвонила.

— Я сейчас работаю, — хмуро, опять хмуро отшил он. — Можете дать мне эту книжку на пару дней? Чтобы я принял меры.

Гала готова была сию секунду к нему метнуться — машина-то под окном, но Киплинг ее остудил: эта неделя вся забита, может быть, на следующей...

Сердце забилося от обиды... Ну почему, почему он так? Зачем тогда говорил: «Я звоню, чтобы услышать ваш голос... Вы молоток!.. Спасибо за духовное общение. Вы живете насыщенной интеллектуально-половой жизнью... Мне интересны вы, а не ваша машина...» Без этих его словесных поглаживаний она бы еще могла сдерживаться, но теперь-то что делать? Неужели уже поздно? Неужели он заслонил от нее весь остальной мир?

В окно выглянула: слякоть, на улицу не тянет. По комнатам прошла, в детской пыль вытерла, книжки с пола подобрала... Машинисткой поработала — сборник своих статей муж собирался издавать. На третьей странице поняла, что и это не успокаивает. Мужу на работу позвонила, но он с кем-то там совещался. Пожалела, не стала его пугать своим отчаянием.

Есть же выход... Надо роман дописать, а он уж выведет ее из этого плена, в люди выведет...

Киплинг тоже был расстроен. Теперь и думать нечего, чтобы к концу недели закончить намеченную сбойку эпизодов. Эх, хотел, чтобы Галя прочитала... Страниц семьдесят готово, но дальше он еще не все сделал, что может. А у него так все со всем связано, что можно увидеть только страницах на ста...

«Живет в доме инвалидов...» Придется всю эту галиматью проработать и ответить по существу. «Закончил высшую партийную школу...» Умные люди научили писать в анкетах, что окончил девять или даже девять с половиной классов, так как если напишешь «десять», то надо предъявить аттестат зрелости, которого у него нет — после семилетки, прибавив себе два года, он по мальчишескому недомыслию сбежал на войну. Пожалел об этом в первом же бою, когда залегшую на мерзлом поле роту накрыло залпом немецких минометов. Оглушенный разрывами, приподнял голову и увидел влево и чуть впереди бойца, который, повернувшись на бок, пытался поместить в живот вывалившиеся на землю кишки. Стал взглядом искать командиров и по сапогам опознал лежавшего ничком взводного — у него была снесена затылочная часть черепа. Всего во взводе одним залпом убило одиннадцать человек из тридцати. Такого страха, такого ощущения безнадежности, как в эти минуты, он никогда больше не испытывал.

Но все проходит. Спустя недели он уже привык ко всему и тяготы войны и окопной жизни переносил легче других. Как с малолетства приучил дед, все делал добросовестно, без промедления выполнял команды, и несмотря на малое образование и возраст, постепенно продвигался. В конце войны исполнял офицерскую должность командира роты.

Как человек с малым образованием, он всегда вылавливал афоризмы, изречения известных людей. Около года

проносил в записной книжке высказывание Г.Маленкова, второго тогда лица в государстве: «В сложной ситуации не только коммунист, но и каждый советский человек должен поступать так, как ему подсказывают совесть и убеждения». Вот он и выступил в защиту малознакомого офицера, которого дружно делали козлом отпущения (и, разумеется, сделали). В своей праведной речи процитировал Маленкова да еще заявил об ответственности начальства за происшедшее. Через четверо суток его арестовали и без каких-либо извинений освободили только спустя тринадцать месяцев, возвратив комсомольский билет, расчетную и вещевую книжки, через неделю выплатили денежное довольствие за четырнадцать месяцев и еще предложили должность в Прикарпатском округе, отпуск за два года и путевку в военный санаторий. Он ни на что не согласился, будучи убежден, что государство или армия должны принести ему официальные извинения. Но все делали вид, что ничего не произошло. Тогда он обратился в военную прокуратуру, от нетерпения дал на имя Сталина весьма энергичную телеграмму и вскоре получил ответ на форменном бланке с подписью, заверенной гербовой печатью, в котором полковник юстиции, словно не заметив конкретных вопросов, сообщил, что тринадцать месяцев, проведенные им в тюремных камерах (из них девять месяцев в карцерных одиночках) являются «стажем службы на должностях офицерского состава Советской Армии» и только так должны быть отражены в личном деле и других документах. То есть официально приказали врать.

И до сих пор врут. И наши, и немцы... Б..дь, теперь еще и партийным сделали!

На следующий же день он написал рапорт об увольнении, дав себе слово больше никогда нигде не служить и не состоять, — и эту клятву неукоснительно держал, что во

многим и предопределило анахоретский образ жизни и занятие литературой. Тогда же он решил по возможности свести до минимума контакты с государством и всеми его учреждениями. И если возникали сомнения, то сразу доставал справку из прокуратуры, и все становилось на свои места.

В Москву он вернулся в полной неопределенности, совершенно не представляя, как найти свое место в гражданской жизни. Госпитальное обследование, положенное перед увольнением, обнаружило два мелких осколка в затылочной части головы — оказалось, что он проносил их без малого десятилетие, ничуть о том не подозревая: в войну в медсанбатах и госпиталях ему ни разу не делали рентген черепа. Его уволили по собственному желанию, хотя, как выяснилось в Москве, должны были комиссовать, поскольку эти крохотные кусочки металла являлись основанием для назначения пенсии.

Благодаря пенсии он смог заниматься самообразованием. По сути, он делал привычное, то же самое, что и в армии: собирал, классифицировал, сопоставлял и анализировал тематическую информацию — в войсковой разведке это называется «массированием компетенции».

В писаниях о войне его корбило множество нелепых несуразностей, поэтому он и взялся за свою первую повесть. Хотел профессионально точно описать «зеленую тропу», то есть переброску разведчика через линию фронта. До сих пор не может понять, почему такая простота имеет такой большой успех. Друзья показали рукопись опытнейшему редактору «Худлита», кандидату наук, и он дал сугубо отрицательный отзыв, обнаружив в повести влияние Ремарка и Олдингтона (он и имен таких тогда не слышал) и предрек, что произведение никто никогда не напечатает. Этот приговор лежит рядом с полками, где находятся более двухсот публикаций повести, переведенной

более чем на сорок языков. Правда, мама, простая женщина без образования, сказала: «Среди той ерунды, которую печатают, твою повесть еще можно прочитать».

Издательская судьба, в отличие от офицерской, сложилась довольно благополучно. Трудности возникли только при публикации романа. Редакция толстого журнала, решившего его печатать, отправила рукопись на «экспертно-консультационные чтения» и получила четыре заключения Главных управлений КГБ и Министерства обороны, где, как по сговору, требовали изъять целиком главу о Сталине и эпизод с генералами, а также убрать отдельные абзацы и фразы. Только благодаря другу-редактору он узнал, что журнальное начальство взяло под козырек и печатает его текст с купюрами. Он немедленно телеграфировал, что забирает роман, и возвратил аванс — 879 рублей, хотя его долги разным людям составляли тогда семь тысяч рублей.

А в это время в другом журнале образовалась дыра в трех номерах — в свертке Главлит снял какой-то «очернительный» материал. Один номер заполнили повестью его приятеля-партизана, который и сказал им про роман. Быстро прочитали и решили печатать, но как только узнали, с какими ведомствами конфликтует автор, то сразу, конечно, обосрались и уползли в кусты. Он один продолжал дожимать инстанции. Пресс-бюро КГБ дожал, а от пресс-бюро Министерства обороны получил как под копирку переписанные у КГБ замечания, даже с теми же самыми опечатками. Вел себя, конечно, ужасно. Полковнику заявил: «Если не снимете все замечания, то завтра же ваши начальники будут знать, что вы — осведомитель КГБ. А русское офицерство никогда не любило осведомителей и жандармов». Как тот распалился: «Вы что, меня шантажируете?!» — кричал. Но он нарочито спокойно ему

возразил: «Я же не сказал, что вы осведомитель западной разведки». Полковник попросил его выйти, и через полчаса ординарец вручил ему какой-то листок, сложенный вчетверо.

Это было в шестнадцать часов 27 августа 1974 года. Лил сильный дождь. Он вышел на Кропоткинскую, дошел до галантереи на Зубовской площади и только в магазине развернул бумажку. Там было написано, что они не возражают против напечатания романа. Противостояние длилось почти целый год, но он не отдал ни одного слова. Эти люди сопротивлялись, потому что уловили главное: роман не о военной контрразведке, а о советской государственной и военной машине сорок четвертого года и о типичных людях того времени. Поэтому и такое название согласился дать, не стал тогда на своем настаивать...

Не один десяток лет его приглашали вступить в Союз писателей, несколько раз предлагали оформить членство без прохождения приемной комиссии — решением Секретариата. Каждого, кто вербовал, он на голубом глазу спрашивал: «Если я вступлю, то стану ли писать лучше, смогу ли сделать совершеннее хоть одну фразу?» Все отвечали примерно одинаково, что писать лучше он не станет, но у него будет поликлиника, дом творчества, какие-то ссуды, зарубежные поездки, талоны на покупку автомобиля, а один секретарь всерьез сказал, что в Союзе писателей есть какой-то старик-еврей, ритуальный агент, который его, если он станет членом, «хорошо, достойно похоронит». Ни в чем этом он не нуждался, поэтому за предложение благодарил и, естественно, отказывался.

Советские писатели боятся говорить власти «нет». Вот бывший друг-партизан подписал аж два письма против Солженицына. Говорил, что чуть ли не под дулом пистолета заставили... Но Киплингу тоже звонили, предлагали

подписать. Ну, он сказал, что хочет ознакомиться с крамольными произведениями, что согласен для этого приехать куда угодно с термосом и сушками и не выходить, пока не закончит чтение. Звонившая секретутка уперлась: «Не положено, все так подписывают, не читая». Тогда он преувеличенно гневно заявил, что воспринимает этот звонок как оскорбление — ведь ему отказывают в наличии головного мозга. И бросил трубку.

Его личный опыт показывает: для того, чтобы твои произведения выходили в свет и через двадцать, и через сорок лет после публикации, совершенно необязательны ни какое-либо членство, ни участие в литературных группировках, ни общественная деятельность — она десятилетиями сводилась и сводится к обслуживанию, поддержке и, более того, восславлению правящего режима. Совершенно необязательны ни подмахивание конъюнктуре, ни пресмыкательство перед властью имущими, ни мелькание в средствах массовой информации, ни элементы паблисити — все это ненужная корыстная суета...

Ну ладно, хватит воспоминаний... Надо обрубить руки клеветникам. Пусть вычеркнут его имя из словника и впредь о нем ни строчки не пишут.

И Киплинг стал звонить Гале, чтобы узнать адрес, куда петицию посылать.

Не заметил, как больше часа проговорил. Да, один ум хорошо, а полтора лучше. Конечно, она права, надо все, что ей сейчас рассказал, записать, чтобы перестали чушь всякую выдумывать. И есть же, где напечатать — уже сколько лет просят автобиографию для сборника «Писатели России». Не хотел, а теперь придется.

Сел в кресло, взял «паркер» с черными чернилами, фанерку с прищепкой, которая удерживает чистый клетча-

тый листок, и стал записывать так, как только что рассказывал. Легко пошло, на удивление легко.

Смешно, но именно через девять месяцев после того, как Галя начала писанием спасать свою жизнь, на ее стол улеглась двести сорок одна страница машинописи, вычитанная, с аккуратно поправленными опечатками, сложенная в коленкорovou папку...

Роман написан... Что теперь?

Да еще месяц назад казалось, что теперь можно будет радоваться, праздновать, предвкушать успех, славу и все, что делает жизнь прекрасной. Но ничего такого Галя не испытывала. Не почувствовала даже облегчения, которое всегда появлялось, когда какое-то дело окончено. Машина отремонтирована — радость, свитер сыну связала — удовольствие, муж статью или книгу напечатал — полный восторг, а тут — ничего подобного. Странно... Тревога появилась, зависимость от каждого, кому отдавала читать эту стопку. Не важно, влияет ли его мнение на судьбу написанного.

Первый же отказ свалил Галу с ног. Еще не нокдаун, но вроде того. Потом они посыпались один за другим, и, главное, каждый врасплох ее заставлял. Не понимала, наивная, что не на прогулку вышла, а угодила на ринг, где идет жесткая, всамделишная борьба. Не научишься защищаться — не выживешь.

Киплинг, от которого она уже ничего не скрывала (почти каждый день разговаривали, в таких условиях хочешь — не хочешь, а главное проступит), сам попросил рукопись. То есть нет, более аккуратно сказал:

— Когда все сделаете, что можете, и если захотите, то дайте мне ваш роман прочитать... Мне интересно, что вы

написали. А то вот мне попался журнал с «Августом четырнадцатого». Первая фраза сразу оттолкнула: «Они въехали в станицу зоревым прозрачным утром». Так писать нельзя — нагромождение слогов «ро», «ра»... Фраза должна быть благозвучной. Я прочитал и подумал о вас — что вам это надо сказать. Вообще у него только два произведения — настоящая проза. «Один день» и «Матренин двор».

Десятого марта утром отвезла Гала свою папку Киплингу и уже с вечера стала ждать его похвалы. Целую неделю не выходила из дома, чтобы своим отсутствием не отдалить предвкушаемую радость. Он звонил. Почти каждый день и не по одному разу. Ни словом о полученном тексте не заикался. Положил на один из своих столов и не заметил, как завалил новыми вырезками, ксероксами, книгами?

Чаще всего Киплингу нужна была экспересс-консультация. Пустяковая. На ее, но не на его взгляд.

— Гала, хочу использовать ваш ум. Что лучше: «казенный человек, как когда-то говорили» или «...как говорили в старой русской армии»?

— Конечно, без «когда-то», — сразу высказывал ее ответ. На литературном поле она забывала о себе, обиды-страдания уходили в другой, параллельный мир, менее реальный и менее значимый. — Их надо выкидывать, эти «какой-то, когда-то». Для всего есть тонкие, определенные слова.

— Молоток, Гала! — хвалил Киплинг. Как равную, а не как ученицу? — Я вам говорил, что не должно быть ни одной фразы, которая бы не работала на систему образов, на сюжет, на атмосферу, на воздух прозы? Для чего мне все это нужно? Чтобы показать, как военно-государственная машина раздавила человека. Ну, давайте работать, а то на дереве можно очутиться.

И вешал трубку. Поучая, намекал, что Гала плохо написала? Или еще не читал?

Через неделю, примерно, прорезался режиссер-эстет с двусмысленной славой, про которого они с мужем — в свой театральный период — написали большую статью. Проанализировали тогда свое им восхищение. И Гала стала ходить на репетиции. Чтобы дома не сидеть. Увлечлась и честно делилась удовольствием с Киплингом. Но он сердился:

— Я позвонил, чтобы глотнуть свежего воздуха, а вы мне этих отвратительных гомосексуалистов подсовываете! Да у них кругозор — полметра, не шире! Я вас держу за интеллигентного, рафинированного человека, а вы.... Как вы можете к ним спокойно относиться?! Ведь эти мужчины составляют вам конкуренцию.

На это Гала весело, беззаботно смеялась. Для нее всегда важнее было воздействие душ — оно от сексуальной ориентации не зависит. У нее-то оно и от секса тоже не зависело.

Примерно через месяц Киплинг несуетливо так, совсем не винясь, стал докладывать, когда он планирует начать чтение ее романа. «Вот закончу свою верстку...» — «Так давайте я вам помогу!» — перебивала Гала.

— Я не хочу ваши мозги так примитивно использовать. Верстки мне обычно сестра считывает. Сводная. На тринадцать лет меня старше. Она в мае сорок первого замуж вышла, а в июле, в первом же бою ее мужа убило, и она взяла к себе его родителей. Двадцать лет потом за ними ухаживала. Замуж больше не вышла, хотя и была молодая, статная женщина. Красивая, в маму. Мне ее очень жаль. Пенсия маленькая, я ей помогаю... Не знаю даже, кому во время войны хуже было... На фронт многие женщины шли, чтобы не быть одинокими. Там их одевали-обували, кормили... Даже пакет ваты раз в месяц каждой полагался.

— Вот это да! А я уже полгода нигде не могу ваты добыть, — вырвалось у Галы.

Разговор получался из тех, во время которых они вместе спускались на такой уровень, куда не добирается ханжеский перст, указующий, что прилично, а что — нет. Полная откровенность — это и есть интимность.

— Выпороть вас надо за то, что сразу не сказали. Приезжайте, у нас есть — поделимся.

— Можно прямо сейчас?

— Нет. Мне сегодня еще к машинистке надо... — был мгновенный ответ.

Правдивый или нет, какая разница. Ни секунды не подумал — а не сказать ли «да»? Вот уж кто враг всякой импровизации... Все у него распланировано на жизнь вперед, как будто титанические усилия нужно приложить, чтобы расчистить прогалину для Галы и для ее романа.

Только одиннадцатого июня, ровно через три месяца — даты она запомнила, ведь с кем поведешься, того наберешься — услышала почти булгаковское: «Я прочитал ваш роман. Приезжайте, поговорим».

Говорил, конечно, только Киплинг. Гала подавленно молчала, хотя свое словцо хотелось вставить почти после каждого его слова. Не осмелилась. Да и ум затмевался, когда он принимался учить ее так, будто она только еще собирается что-то писать, будто целых девять месяцев она не настоящий дом строила, а игрушечный замок из песка. Понарошку. Но все запомнила и дома сразу в дневник записала, чтобы мужу поточнее пересказать.

Не говорил Киплинг — вещал. С умным видом, авторитетно. Словно лекцию читал, не отрывая глаз от рукописи. Ни разу на Галу не взглянул. Чтобы не сбиться?

— У вас преобладает повествовательный элемент над изобразительным, а надо их согласовывать... Поучитесь у

Бунина, Пушкина, Лермонтова ввводу персонажей. У вас их сразу так много, что то и дело приходится возвращаться к началу... Вот тут у вас хороший абзац — когда героиню почвенник принимает на работу. Хорошо написано, только мне не хватает цвета — цвета глаз, волос, кожи. Явный дефицит изображения — пейзажных зарисовок, портретов людей. Конечно, у нас с вами не получится описывать лица так, как это умел Бунин, но поучиться стоит. И обратите внимание, как классики обозначают временной отрыв. Я в самом начале выписывал в тетрадку, как это делается у Пушкина: прошло два года, на другой день, к вечеру... Когда описываете предмет, то ищите в нем индивидуальное, а когда повествуете, то в каждой фразе должна быть мысль. Вообще, фразу нужно не писать, а делать. Она должна быть зримой, крепкой. Ее надо нагрузить! Я вот набросаю предложение, а потом лягу на диван отдохнуть и обкатываю его в уме. Усиливаю. Бывает, приходит микроозарение... А еще хорошо погулять до легкой мышечной усталости.... Тоже помогает навести порядок в голове...

И еще. Слишком много у вас литературы — от Толстого до меня, грешного. Но, может быть, это такие же производственные подробности, как у меня разведывательные... Про издательство я очень многое узнал из вашего романа. Но что с ними будет, когда вы его напечатаете! Может быть, стоило бы их всех более узнаваемо показать, дать более прозрачные имена? И драматургию тут тоже еще можно подработать, перекомпоновав главы. Разгоняете одну линию и обрываете ее, следом ведете параллельную. В каждом эпизоде должна быть своя драматургия. Нужен неожиданный поворот. Сюжет движется на контрастах... Положительного героя писать гораздо труднее, чем отрицательного. Нужно показать, что он мыслит, что он не дурак, но что и он ошибается. Пусть, например, неожиданно обнаруживает-

ся, что кто-нибудь, хоть я, к примеру, — негодяй, и герой это доказывает.. Учтите Гала, у писателя сейчас столько конкурентов — и кино, и телевидение, и другие развлечения... Надо побеждать их. Как? Писать интересно.

И вдруг менторский тон пропал, и Киплинг, обойдя кухонный стол, за которым они сидели друг напротив друга, встал за табуреткой Галы. Она так и замерла. Руку на плечо положит? Или обнимет за плечи?

Размечталась... Он наклонился, поднял с пола невидимую крошку, бормотнув: «Жена с порога всегда кричит, что я опять насорил...», — и, как простой обыватель, принялся угадывать прототипов ее романа. Всех женщин правильно назвал, а про мужчин даже не спросил. «Они у вас какие-то противные, с мусульманскими фамилиями», — сказал. Приревновал, что ли? Гала выдержала, не обернулась — так и осталась сидеть с кружкой растворимого кофе, от которого ее всегда подташнивало.

Что осталось от этого визита? Странное ощущение... Как будто Киплинг обдал ее холодком своего параллельного, не пересекающегося с ней мира. Не поддержал, но и не убил...

До сих пор в специальной папке хранится клетчатый тетрадный листок, исписанный черными строчками его четких, полупечатных буковок. Тогда Гала еще не понимала, как бесполезны и даже вредны могут быть самые профессионально-безупречные замечания. Если на них не откликается твое сердце. Какая-то общая справедливость в киплинговской критике, конечно, была, но у нее все внутри восставало против догматических советов. Все эти бесспорные изречения об изобразительности и повествовательности... Ну, это примерно то же, что полные женщины не должны носить яркое, что зеленое с розовым не сочетается... Все подобные правила приходится нарушать, созда-

вая собственную художественную систему. Иначе — повтор, скука...

Не в силах сама разобраться, Гала бросилась за помощью к мужу. В тот же вечер ему все пересказала. И секунды не колебалась, выбирая союзника. Муж, и только он.

Всего-то одно замечание обоим захотелось учесть — про ввод героев. Самое начало романа она и переделала, то есть ничего не меняла, а только дописала новую первую главу. Но помучалась — не дай бог никому...

— Он и не претендует на истину в последней инстанции, — пытался образумить ее муж. — Сам же предлагал тебе упражнение: показать, что он негодяй. Ну, не негодяй, конечно, но и не такой уж герой. Обычный человек. Почему? Не хочется повторять за его завистниками, но свое название-то уступил. Не мог не знать, что именно в пику «Августу» Солженицына в название его собственного романа август всунули. И с литовцами не все так однозначно, как у него. В общем, в белую тогу ему рядиться не стоит. Нет в природе ни чистого белого цвета, ни строго прямой линии. И параллельные все равно где-то пересекутся, и человека без слабину не существует, и любое живое произведение без недостатков не бывает. Не топчись на месте, пиши новое!

Успокоил, называется. Кого слушать? Мужа или друга?

Все-таки Киплинг мог бы поосторожнее обойтись с любящей его писательницей. Ну зачем рассказал, как отшил писателя-фронтовика, который признался ему, что пишет по четыре страницы в день и к вечеру чувствует такое удовлетворение! «Я ему сказал: ты как алкаш, который написал на заборе слово из трех букв и посчитал, что осчастливил человечество». После этого даже страница в день уже припахивает графоманством.

Не подумав о последствиях, Киплинг имплантировал в мозг Галы это свое радиоактивное «фразу надо делать», и

оно стало уничтожать не только дефекты, но и по живому болезненно прошлось.

Следующую новеллу в двенадцать машинописных страничек — полпечатного листа — она писала почти целый год. Послушно, как Киплинг советовал, ложилась на диван с новым абзацем и шлифовала, отделывала каждое предложение.

И снова ему свое дитя принесла. Эту крохотку он читал всего месяц. Но второй раз ждать — уже не страшно. И самого эмоционального человека жизнь выучит терпению. Правда, не все надо терпеть: сердечная боль, например, может означать и дамское «ах, что будет с моими нервами!», и смертельный инфаркт.

Весь этот месяц Киплинг жаловался, что жена приходит после приема больных вымотанная и по телевизору ищет только мыльную пену. Погрузится в нее и дремлет, но стоит переключить на новости — сразу просыпается и орет. Каждый день ссорятся. Ни одну передачу, про которую Галя ему рассказывает, он посмотреть не может. Надо бы на Сиреневый бульвар в «Березку» съездить, второй телевизор купить. У него есть чеки за перевод романа. И весь этот месяц Галя предлагала, просила ее машиной воспользоваться. Наконец он соизволил.

Утром она вымыла свое транспортное средство, свои длинные волосы, изучила по карте маршрут, боясь только одного — что Киплинг опять увильнет от поездки и она от отчаяния станет поедать наличествующее в доме сладкое — печенье-варенье-конфеты, вафельный торт из стенного шкафа, где хранятся припасы для неожиданных гостей... Закончится все банкой сгущенки (хорошо, если удастся открыть ее дрожащими руками, не поранившись) и рыдани-

ями — ведь надо теперь худеть, надо избавляться от мерзких складок на животе, на бедрах. И никакой поддержки от мужа в этой борьбе...

Сколько встреч уже сорвалось, пора бы привыкнуть, но только-только короста на душе подсыхать начинает, как Киплинг снова по этому же месту — бац! На этот раз Гала схитрила — к телефону весь день не подходила, чтоб он в последний момент не мог отменить поездку. К его башне подъехала на полчаса раньше — якобы слишком перестраховалась на уличные пробки, и вот сидела за рулем напротив его подъезда в тишине, счастливая...

Чего ждала, что предвкушала? Сама не знала. Ни одного конкретного желания в ее голове даже не промелькнуло. Такая неотчетливость — это чаще всего просто большая глупость, но когда она длится уже четыре десятка лет и повторяется в мужско-женских отношениях с тупым постоянством — это уже похоже на глупость. На феноменальную глупость. А из всего необыкновенного можно изваять что-нибудь совсем-совсем новое, неожиданное... Наверно, Гала еще не чувствовала в себе силы, чтобы самостоятельно себя доделывать, но понимала, что когда-нибудь все равно придется. И вот инстинктивно она старалась сохранить себя, природную, не отколоть нечаянно какой-нибудь кусочек, без которого не получится потом стать собой — гармоничной и живой...

Вчера уговорились, что Киплинг спустится на улицу в семнадцать ноль-ноль. Целых полчаса до этой границы промелькнули — Гала и не заметила, а в одну минуту шестого уже начала ерзать. Опаздывает или передумал? К нему подняться? Нет, вдруг рассердится... Тогда, может, позвонить? Вышла из машины, поискала телефон-автомат, не упуская из виду его подъезд, но поблизости ни будки, ни всячего аппарата не обнаружила, а к метро

идти рискованно — пропустишь объект. Вот, уже как разведчик стала думать... Успокойся и жди! — себе приказала. На часы не смотрела — стоячая стрелка только добавляла страха. Да глаза, в конце концов, и закрыть можно, но с мыслями-то что делать? Если их сейчас же не стреножить, то, того и гляди, начнется трясучка, опасная, когда ты за рулем.

Гала полезла в сумку и выдернула из нее журнал, надорвав уголок обложки. Пусть подъездная дверь хлопает сколько угодно, она не будет обращать на нее внимания. Пристроила на руле открытую посередине книжку и заставила себя: читай! В трех длинных абзацах обнаружилось не менее трех оригинальных мыслей... Интересно... Жестко, без сантиментов. Никакого сочувствия к герою-страдальцу автор не способен испытывать? А, это Чигорин. Известный сухарь. Странно: прочитав не менее десятка повестей и рассказов этого автора, Гала до сих пор не думала о нем как о реальном, живом человеке. Что он за личность? Именно сейчас вспомнился математик-экзаменатор с такой же фамилией. А может, писатель и математик — одно лицо?

— Так вы уже знаете? — Голова Киплинга показалась в раскрытом оконце-форточке. Нисколько не извинительным тоном спросил он, по-хозяйски устраиваясь на переднем сиденье. Сам нашел рычаг, дернул его до отказа, чтобы вместе с креслом отъехать назад и вытянуть ноги.

Поймав его неодобрительный взгляд, которым он уставился на ее новую фетровую шляпу с полями, Гала тут же сдернула ее с головы, бросила на заднее сиденье и, пригладивая волосы, спросила:

— Что знаю?

Оказалось, звонил бывший друг Киплинга, писатель-партизан. Совсем недавно он переехал в Москву и стал

главным редактором того самого журнала, который читала Гага.

— Собирается вас в штат позвать. Мое мнение спрашивал.

— И вы... — Гага повернула ключ зажигания, чтобы шум двигателя отвлек Киплинга и он не заметил ее радостного возбуждения. Собиралась как-нибудь пошутить, чтобы скрыть свое волнение, но и слов не придумала, и улыбка вышла кривой.

— Я? — глядя прямо перед собой на дорогу, строго переспросил он. — Я сказал, что состою с вами в интимной связи и поэтому возражаю, чтоб вы шли на службу — это помешает нам с вами встречаться. И я не хочу вас ни с кем делить.

Гага натужно хохотнула, демонстрируя наличие чувства юмора. Ну, ради красного словца соврал насчет интимной связи, пусть... Ему позволено менять общеупотребительные значения слов, тем более что ее отношение к нему совсем другое, это не простая женская любовь. Если положенная в каждой шутке доля правды — это его ревность, то даже приятно... А вдруг это не шутка и он на самом деле за нее решил отказаться от места?

Спросить?

Не осмелилась. Тем более что Киплинг прямо-таки обрушился на своего бывшего друга:

— Во всех интервью трезвонит, что ради общего дела пожертвовал своим творчеством. Что долго думал, соглашаться ли... Но когда, мол, сам Горбачев попросил... А на самом деле все пороги оббил, чтобы добиться этого назначения. Сперва мне эту должность предлагали, но я-то сразу отказался... Я всю эту кухню изнутри знаю — у меня близкий приятель в ЦК работает. Да я вам рассказывал.... Тот, с которым мы раз в одну-две недели по вечерам гуляем. А этот ваш смельчак вместе с друзьями-либералами

из партии демонстративно вышел, и другу моему перестал кланяться, и вдруг вчера звонит ему в панике: послал Горбачеву поздравление с 9 мая, а оно вернулось — адрес неправильный. Умолял передать президенту, что была, была открытка, только не дошла до него. Приятель мой в недоумении: неужели не понятно, что на таком уровне его лакейство не имеет никакого смысла? А я думаю — как был он партийным, так по сути им и остался... Хоть сдавай билет, хоть сжигай — ничего это не меняет. В январе хотели у него вертушку снять, так как литература перестала быть государственной, так он не позволил. Из партии вышел, а вертушку не отдал, в санаторий цековский ездит.. Кто он после этого? Не надо вам к нему...

Как «не надо»?! Я же хочу, я мечтаю там работать! Неужели Киплинг не понимает, как тяжело жить с ненапечатанным романом? Может, это мой шанс... Галя сжалась. Ее выбросило из реальности в темную пропасть отчаяния, которая словно материализовалась: машина въехала в глубокую яму, и днище с тупым звуком прошлось по земле. Не отвалилось ли что-нибудь, цела ли подвеска? — этот сугубо практический вопрос мгновенно встряхивает любого автомобилиста. Галя тоже испугалась. Но не материальная часть ее заботила. Вдруг Киплинг решит, что она никудышный водитель, вдруг выйдет сейчас из машины и больше никуда никогда с ней не поедет?

Страх, как пожар, охватил ее. И что же она кинулась спасать из горящего дома? Не свой роман, не свое место под литературным солнцем, а только одно, что было сейчас для нее самым главным — тонкую, очень хлипкую, как ей казалось, связь с Киплингом.

— Конечно, я не пойду туда, раз вы не хотите. Я же вас люблю...

— Гала, вы слишком эмоциональны. С вами трудно говорить: много нервных клеток тратишь. Следите за дорогой! — угрюмо посоветовал Киплинг, даже не повернувшись к ней лицом.

— Ну что вы за человек! — Гале легко стало оттого, что он и не подумал выйти из машины. Не заметил ее оплошки? — Хоть комплимент какой-нибудь скажите.

— Не спрашивайтесь, бесполезно. Я с детства знаю, что в этой системе каждый хочет лизать жопу начальству, и поэтому не могу никому в глаза говорить хорошее. Я редко хожу в гости, но когда случается, то никогда не произношу никаких тостов. Один молчу.

— Но женщина — это же другое.

— Этой женщине было показано отношение, и не раз. А если она такая толстокожая, то тут уж ничего не поделаешь.

Сказано было без сожаления, как-то уж слишком нейтрально. И в конце точка поставлена. Точка, а не многоточие, предполагающее ответ собеседника или хотя бы дискуссию. Да они уже и приехали.

Гала была здесь впервые. Никакой вывески, большие окна-витрины закрыты жалюзи. Не магазин, а тайное место для сходов. Какая-то масонская ложа. Но внутри все было понятно: дефицитная техника, всякие там радиоприемники, магнитофоны, фотоаппараты по одному экземпляру стоят на полупустых полках. Покупателей — человека три, продавщиц вообще не видно. Киплинг уверенно направился в самую дальнюю секцию, где по огромному телевизору показывали опушку леса. Столько оттенков зеленого Гала даже в живой природе не видела. Мягкая, серебристая хвоя лиственницы четко отличалась от жестких темных иголок ели... Вот ветер начал перебирать длинные, острые травинки... Казалось, что лесная

свежесть, идущая с невиданно большого плоского экрана, заполняет весь магазин.

Стыдное чувство зависти укололо Галу. Когда их домашний «Темп» стал смешивать красное с зеленым, вызвали мастера. Он предложил по дешевке заменить старый кинескоп на новый. Согласились, и теперь не знали, что делать: картинка сперва двоилась, а потом начинала бег, который мог остановить лишь этот самый мастер. Жулик оказался честным — уже три раза появлялся, смущенный, что-то там ковырял, все налаживалось, но как только уходил — бега продолжались...

Зачем Киплинг привел меня сюда? Носом ткнул в нашу бедность и беспомощность! — зло подумала Галя, но быстро опомнилась, ведь никто ее на аркане не тащил, сама напросилась. Покраснела, как маков цвет, и украдкой посмотрела на него: не прочитал ли он ее низкие мысли? Какое там! Он и правда читал, но совсем другое — уткнулся в инструкцию по эксплуатации этого телевизионного совершенства. Минут пять потом вежливо расспрашивал молоденькую продавщицу о чем-то — Галя не прислушивалась, потому что с первого его слова стало понятно, что флиртовать он не будет, — и потом, оставаясь таким же хмурым, как был вначале, направился к выходу.

— Как, разве мы ничего не купим?! — догнав Киплинга уже на улице, возмущенно спросила Галя. Все-таки прорвалось копившееся раздражение.

— Да нет, конечно. Тут нужна машина побольше. Я завтра попрошу приятеля, он даст рафик. — Ответ прозвучал почти добродушно. — Мне позвонить надо, остановитесь, когда автомат увидите.

В полном молчании проехали несколько километров и только на Девятой парковой заметили телефонную будку. Звонок был короткий, чем-то обрадовавший Киплинга.

— Вы куда сейчас? — весело спросил он.

«Куда»?! Гала чуть не заплакала. Она-то надеялась отвести его домой и попить чаю на кухне. Поговорить...

— Да, чуть не забыл! — Угрюмость Галы подстегнула его память? Из киплингского портфеля показался знакомый уголок зеленой папки. — Я же прочитал ваш рассказик. Исправьте несколько неточностей — я там хорошо отточенным карандашом подчеркнул — и отдавайте печатать.

На всякий случай Киплинг попросил высадить его у метро, хотя пять минут назад они с Галой и проезжали мимо той самой кирпичной шестиэтажки, где его ждала двадцатипятилетняя и такая спокойная Лариса. Хорошо, что встреча не на людях, которые, как ему казалось, все время насмешливо спрашивают: ты с кем, бабушка, с внучкой или с дочерью? Надо подстегнуть приятеля, обещавшего помочь с квартирой для нее — сколько ей еще по подругам скитаться. Черт, опять придется просить! Как это неприятно...

Настроение испортилось, да и с чего радоваться. Конечно, расслабиться в молодом, умелом ротике всегда неплохо, но это же ничего не изменит... Останется система, с которой он всегда был абсолютно несовместим... И с женой по-прежнему придется жить параллельно... Ее истероидное сознание уже совсем вразнос пошло. Подслушала телефонный разговор с Галой и решила, что у него с ней и ее мужем любовь втроем. Разубеждать бессмысленно — никаких доводов не слышит... Придется еще больше осторожничать. Столько сил надо тратить, чтобы все свои контакты скрывать! Иначе... Ей же ничего не стоит снова на суицид пойти. Хорошо, что тогда ночью с чего-то вдруг попить захотелось... Очень вовремя нашел ее на кухонном линолеу-

ме, успели откачать. Утром было бы уже поздно: врачаха хренова — профессионально знала, что глотать...

А пасынка как спасешь? Человек потерял желание жить, и он его понимает. В больнице, из которой юноша сбежал, говорят, что его алкоголизм психического свойства. Ну и пусть он психически больной, но он же его с одиннадцати лет знает... С тех самых пор помогает, как может... Вот в школе, когда его избивали, удалось навести порядок. Учителя высыпали в коридор, когда он тащил его обидчика вдоль стены и бил о нее затылком. Пришлось схитрить. Обманул педагогов, крикнув: «Будешь знать, бесенок, как у родителей деньги воровать!» Обошлось. Больше никто не посмел и пальцем его тронуть.

Тогда-то еще молодой был, а теперь неоткуда силы взять. Гала говорит: как можно считать жизнь бессмысленной, если каждый хочет прочитать ваш роман... При чем тут это? Никогда от писания он не получал удовольствия, никогда это не было приятно. Тяжкий труд — вот и все... Единственное, что еще как-то держит — новая информация. Массировать компетенцию — это по-настоящему интересно. Правда, неожиданное реже и реже попадается, и все же...

Иногда так хочется физиологического контакта с Галой, но страшно... Стар... Вообще-то новизна в женщинах может быть не только приятна, но и опасна.

Вспомнилось, как в сорок седьмом году его отправили на целый месяц в Житомир. Это была как бы премия, отдых от Германии, где он служил в разведке. На КПП его подсадили в машину, и там с ним заговорила девушка, уютная такая, добрая, маленького росточку. Не полная, но и не худая. В Германии насчет дамского общества было напряженно: все русские женщины были разобраны начальством, а за связь с немкой сразу следовала вы-

сылка и другие кары. Так что некоторый голод по этой части наличествовал. И вот эта девушка сама предложила показать ему город. Когда проходили мимо чистильщика, она спросила, не хочет ли он сапоги почистить. Они у него были добротные, хромовые. Расплатиться она не позволила, а только поблагодарила чистильщика и повела Киплинга в ближайший двор, куда высыпала целая ватага черноморденокских детишек. Она была айсорка.

Гуляли-гуляли, и под вечер на берегу реки где-то в лопухах она стала расстегивать ему штаны, уверяя шепотом, что ему будет с ней хорошо...

Когда он уже приподнялся с земли, то вдруг обнаружил, что с другого берега за ними наблюдают какие-то любопытные — трое мужчин и одна женщина. Как он тогда припустил, на бегу застегивая штаны! Она за ним...

Вечером пошли в самый лучший ресторан — денег у него полные карманы, ведь в Германии советские рубли и потратить было не на что. В середине ужина она вдруг говорит, что хочет за него замуж, что ей ни с кем так хорошо не было. И достает документ. Но это не серпастый-молоткастый, а всего-навсего бумажка, вид на жительство. В графе «место проживания» — Иран.

На этот раз он испугался по-настоящему, ведь ему, служащему в разведке, категорически запрещалось даже знакомиться с иностранцами. А он... Лихорадочно соображая, как овладеть ситуацией, пробормотал, что ему надо на минуту выйти. Нашел официанта, расплатился, предупредив, что даму трогать не надо и что он еще вернется, и почти бегом понесся в туалет. Выставил окно, замазанное белой краской и забитое деревянными рейками, вылез наружу, расцарапав свои замечательные сапоги и выдрал клоч из гимнастерки, и позорно бежал...

Черт, даже пот прошиб! Ну, ничего, сейчас успокоимся.

В знакомой квартире его ждала теплая ванна, простая еда, такая, как он любил — свежая картошка в мундире, кусок все равно какой колбасы, чай с финиками и полное, стопроцентное потакание. Без всяких женских подвохов и недовольств.

Правда потом, когда он уже возвращался к себе, захотелось с Галой поговорить. Просто узнать, как она на своем драндулете добралась. Сегодня можно из дома позвонить: у жены ночное дежурство.

В конце мая девяносто первого года муж Галы полетел за границу — на летний семестр в западноевропейский университет. Россия еще была в моде. Через полтора месяца Гала с сыном должны были приехать к нему, а пока ей пришлось туго. Киплинг как будто сторонился ее, одинокой. Звонил не каждый день, обещал навестить и пока не собрался, а уже совсем скоро она уедет на целых сорок дней.

Ненапечатанное, как хроническая болезнь, то и дело давало о себе знать. Когда какой-нибудь литератор, не влияющий на процесс издания, хвалил ее рукопись, Гала взбадривалась — будто ей, страдальце, только что сообщили о новом спасительном средстве от ее недуга. Но как ни утешали искренние слова, например, знаменитого старика-переводчика: «замечательно написано, неженской рукой... не без злорадства прочел, как вы их приложили», — все равно она скоро убеждалась, что веру в излечение черпаешь из своих собственных сил, и если за этим всплеском надежды не последовало делового результата, то потом за него расплачиваешься усугублением отчаяния.

Человека, пораженного опухолью мечтательности, неизбежная смерть наступает в самых разных формах.

Солидное издательство уже собиралось включить роман Галы в план — такая была иллюзорная форма одобрения, и внутренний рецензент успел еще получить свои серебрянники, — и вдруг начался системный развал, учреждение разделилось на два враждующих клана, ни один из которых выпуском книг не интересовался.

Из журнальной редакции приходило вежливое письмо-отказ на официальном бланке по поводу ее новеллы.

Летальность сгущалась...

Да к тому же после разговора с Кипплингом Гала сама себя подвесила еще на один крючок: вдруг ее именно сейчас, летом, позовут в тот журнал — что же, тогда отказаться от поездки?

Одежки, к которым прилипают все пылинки-соринки, можно сдать в чистку, а можно и выбросить, но если к твоему уму пристаёт только то, что приносит страдание, и когда реальных горестей не хватает, то голова сама начинает их придумывать — тогда-то что делать? Вот-вот, и начнешь бояться пожара в доме, страшиться того, что обворуют на улице, ну, а беспокойство за сына — ему только дай волю!

Надо было чем-то занять голову.

— Меня просят перевести несколько романов Агаты Кристи, а я с Прустом никак не управлюсь — подвожу издательство. Вы не взялись бы за эту работу для отдыха? — спросил как-то старик-переводчик.

Если б он не добавил «для отдыха», Гала бы отказалась. Читал же, хвалил ее роман. Что, не верит в нее как в прозаика? Слегка обиделась, но, как это часто с ней бывало, — не хотела, а согласилась.

Первую неделю она не могла оторваться от стола, на котором лежали покет-бук с «Семью циферблатами» Ага-

ты Кристи, синий двухтомник гальперинского словаря и стопка оборотов, которые она исписывала своим переводом. Но уже на середине романа ей стало скучновато искать слова для чужих описаний, чужих разговоров, чужих мыслей. Еще неделю она задавала себе урок — три страницы в день, и, выполнив его, чувствовала радость освобождения от подневольного труда. Но потом и это удовлетворение пропало. Хорошо, если к вечеру Гала могла заставить себя сесть за стол. Стирка, глажка, уборка, готовка — все было приятнее и легче, чем переводческая ляпка. Нет, перевод никакое не искусство, думалось. А если и искусство, то не мое.

Киплинг на ее жалобы ответил неожиданно:

— Надо вам вашу новеллу печатать. Если хотите, я покажу ее приятелю-партизану. Правда, он мне все противнее становится. Сам почти каждую неделю в газетах выступает, а других по телевизору поучает: дело, мол, писателя — сидеть за столом...

Конечно, хочу, подумала Гала, но вслух сказала:

— Если это наложит хоть какой-то оттенок расчета на наши отношения, то ничего не надо.

Она-то надеялась, что он не воспользуется ее благородным отказом, что без ее согласия поможет ей... Разве близкому человеку не ясно, что ее просто спасти надо?

Киплинг же нахмурился и промолчал. Раз Гала не сделала над собой усилие, чтобы попросить его, значит, еще не край. Новелла хорошая, придет время — сама напечатается. А ему просить кого-то — нож острый, и даже хорошо, что Гала не приставила этот нож к его горлу.

Сидели опять у него на кухне. Хозяин встал из-за стола, подошел к раковине и принялся сосредоточенно мыть свою кружку. С мылом, с содой, снова с мылом.

— У вас плохое настроение? — самоотверженно спросила Галя, хотя именно у нее кошки на душе скребли.

— Плохое настроение? — переспросил Киплинг, не обернувшись. — У меня в романе врач-рентгенолог говорит сестре: «Вчера помаралась с одним и, кажется, подзалетела. Такое плохое настроение».

— Ну, вы меня срезали! — засмеялась Галя. — Но почему-то юмор ваш всегда с сексуальной начинкой... Нельзя иначе?

— Если бы я был женщиной от двадцати пяти до пятидесяти лет, то мне бы было обидно, если б мужчины не интересовались, откуда у меня ноги растут. — Киплинг отошел от мойки и принялся тщательно вытирать свои крепкие пальцы с кустиками волос на фалангах.

— Ая, наоборот, считаю своим достоинством то, что меня никто никогда не оскорбил рукоприкладством. Я уверена в том, что желанна, но мои мысли это никогда не занимало. Важно, чтоб возникло воздействие душ, не зависимое ни от секса, ни от какой-либо другой низкой выгоды...

Галя увлеклась и как бы раздвоилась. Сидит тут холодная статуя и кичится своей сексуальной неуязвимостью. А как у собеседника с этим делом — ей все равно. Может быть, именно из-за этого и высшее начало в ней тоже не ведало гармонии?..

— Если б мне было лет на двадцать меньше, я бы поинтересовался. — Киплинг повесил полотенце на дверную ручку, а не на крючок, который находился возле Галы, — боялся нечаянно до нее дотронуться. Вернулся к раковине, включил воду и опять принялся тереть свою кружку.

Теперь уже он думал: разве не ясно, что... Любая другая женщина пошла бы сейчас в ванную и вернулась оттуда уже ни в чем, голая. Галя не понимает или не хочет?.. В ванную пришлось идти самому. Подержал шею под ледяной водой. Полегчало.

— А что слышно от мужа? Скучает без любимой половины? — На всякий случай Киплинг все же проверил свою версию.

— Конечно, — как-то слишком спокойно ответила Гала. Нет, не из-за мужа она...

— У меня к вам просьба, — сказал он, кладя на стол перед Галой синий незапечатанный конверт. — Купите что-нибудь себе. И для меня найдите, пожалуйста, синюю разъемную молнию и пару-тройку патронов с черными чернилами для паркера. Я вот тут начертил и размеры, и форму, а то мне приятели уже привозили не то, что нужно.

Гала машинально полезла в конверт — там лежала новенькая стодолларовая банкнота, пустой чернильный патрон как образец и твердая клетчатая картонка, на которой была нарисована куртка с темно-синей молнией, а рядом цифры столбиком — длина и примерные размеры чешуек.

Не хотелось брать деньги, но он настоял. И был прав — их потом только-только и хватило на такие, казалось, пустяки, которые, продавайся они у нас, стоили бы копейки. К тому же выяснилось, что не такие уж это и пустяки. Ни в одном магазине не было молнии, которая расстегивается с обеих сторон. Гала наизусть выучила длинное немецкое слово, которым называется этот предмет галантереи. Он ей по ночам снился, пока она не догадалась расспросить своих новых друзей — оказалось, что такую двустороннюю надо делать на заказ. Еле-еле удалось уговорить продавца поторопиться — только в последний день перед возвращением в Москву у нее в руках появилась, наконец, чаемая лента с зубчиками. Всю обратную дорогу Гала дергалась — того ли они размера, что на киплинговской схеме. Даже с покупкой нового телевизора для их дома не было столько хлопот, хотя и там была проблема: не всякий прибор был совместим с русской системой.

Все подошло — и молния, и телевизор. Только Гала никак не могла приспособиться к московской жизни середины августа девяносто первого. Киплинг ей объяснил, что положение хреновое, но когда на улицах появились танки, он куда-то исчез. Целых пять дней Гала чувствовала себя абсолютной иностранкой: по телефону по несколько раз в день звонили только новые заграничные друзья, а старые местные как будто отвыкли от ее существования. Начальник мужниного института сказался больным, поэтому мужу в качестве и.о. ректора пришлось сидеть в лавке. Дни напролет и даже пару ночей он провел вне дома.

Принудительное одиночество — тяжелая штука в любое время, а теперь оно казалось Гале просто непереносимым. За что? Почему Киплинг не объявляется? Не находила она ответа.

По своему небольшому писательскому опыту Гала знала: зашел в тупик — отложи на время работу. И Киплинг советовал: если с одним куском не ладится, нужно его оставить и заняться другим. «Пишите, Гала, все может рухнуть, а бумага и ручка останутся».

Ну, листки старые убрать и чистые достать — не проблема, а мысль из головы как выгнать? Клин клином — единственный способ.

Что у нее в жизни было? Не две истории любви, а две истории страданий. От первой боли излечилась только тогда, когда роман написала. И пусть Гомер все еще присылает неподписанные телеграммы к новому году и к ее дню рождения — душа Галы никак не отзывается...

Сейчас болезненнее всего было молчание Киплинга — вот и решила про него и свои с ним странные отношения новеллу написать. Название сразу придумалось — «Лишняя». Неожиданно споро пошло-поехало.

Откуда такая смелость взялась? Да киплинговские слова вспомнились: «Понаблюдайте за реальным человеком — как он ест-пьет, как двигается, что говорит, и вставляйте в свою прозу, поменяв имя». И еще: «Столько людей мне с романом помогали, а я, порой, вел себя просто по-хамски. Но иначе ничего бы не добился». А Галя даже ничего и добиваться не хотела. Мысли о самоубийстве уже доходили до обдумывания способа, самого безболезненного для мужа и сына. Она бы просто не выжила, если б не исторгла из себя этот сюжет.

За работой и от сердца отлегло, и Киплинг объявился: на даче у цековского приятеля застрял. Политическую встряску оценил так: «Раньше нас грабили партаппаратчики, теперь начнут обирать демократы. Одно и то же. Что будет? Я не знаю. Доподлинно известно мне только одно: я умру».

Нет, весь я не умру! — вот что подумала Галя. Не о Киплинге — о себе. Как шутка пришло это ей в голову. Но веселее жить не стало, ведь к ее двум ненапечатанным опусам добавился третий.

Поскольку все это время Киплинг спрашивал, что она там пишет, пришлось стать многостаночницей: чтобы не врать, Галя достала листки-заготовки к роману об экстравагантном режиссере и докладывала своему следователю только об этой работе.

Теперь вместо «здравствуйте» Киплинг говорил: «Как там наши гомики поживают? Я к ним начинаю вас ревновать». Добыл ей в качестве «документа» испанский глянцевоый журнал с полосными фотографиями молодых полуобнаженных красавцев с накрашенными губами и в коже. И конкретно в текст вмешивался:

— Обязательно вставьте такой эпизод: герой в очереди слышит, как кто-то ругается, что слишком много стали

говорить о гомиках, даже в президенты одного выдвинули, и напевает частушку: «В лесу раздавался топор дровосека, лесник топором отгонял гомосека». Я, кажется, ни одного голубого в жизни не встречал, а вот лесбиянки попадались. Лет двадцать назад пришел к одной женщине в гости, а там ее мужеподобная подруга прямо форменную истерику мне устроила. Почему я их и заподозрил. Мне лесбиянки не так противны, как гомосексуалисты. Я просто омерзение чувствую, когда их ужимки вижу. А вы?

— Да мне все равно. Никаких чувств, один интерес. У меня к ним, а у них — ко мне.

— Но вы не забывайте, что нормальные мужчины тоже еще не перевелись. Погулять в ближайшее время не удастся, а встретиться бы надо. У меня для вас дефицит припасен — два пакета муки.

— Правда, не обманете насчет встречи?

— Это, как говорят, хвакт.

— Спасибо, вы меня погладили.

— Тише говорите, вдруг муж услышит!

— Да он знает, как я к вам отношусь. Он меня любит и хочет, чтобы мне было хорошо.

Насчет мужа — чистая правда. Он-то понимал, что ненапечатанность — это все равно что тяжелая болезнь. Но не сообразил, что болезнь эта хроническая. Не стоит любыми средствами сбивать температуру, а нужно медленно ее лечить, постепенно укрепляя иммунитет больной.

То, что Гала не слегла, а продолжает жить, то есть писать — уже это восхищало мужа. Он считал, что она имеет право на любую прихоть. Заикнулась бы, как купринская девочка, что слона хочет видеть, он бы привел. Конечно, такое сопереживание сильно уменьшает спектр реальной помощи. Для того, чтобы увидеть ситуацию во всем объеме, надо отойти от объекта на возможно большее расстоя-

ние и хладнокровно рассмотреть не только пространственный пейзаж, но и временной. Жизнь продолжается, и каждый день картинка изменяется, как в калейдоскопе. Нет, слишком близко к себе держал он Галу, и эта близость застилала ему обзор.

Зато его собственная жизнь, тоже довольно драматичная, не причиняла ему никаких почти страданий.

На перестроечной волне шефа мужчиной конторы вынесло в министры, и на освободившееся место был объявлен конкурс. По запарке, как следует не подумав, муж согласился в нем участвовать. Забыл, что любое начальственное кресло ему жмет. Но у природы есть много степеней защиты. В предвыборной борьбе муж инстинктивно делал все, чтобы ее проиграть. Даже до Галы дошло, что не случайно он лепит ошибку за ошибкой. Сперва-то она включилась в борьбу... Точнее сказать — не включилась, а включила, подстегнула разговорами азарт мужа, эгоистически надеясь, что вот станет он большим начальником, и тогда уж сможет ей помочь.

Выбрали другого. Отнюдь не демократа. К нему, не-демократу, институтским либералам приспособиваться по одиночке было легче, чем под руководством единомышленника готовиться к прыжку через пропасть.

Тогда, в пылу поражения, Гала с мужем вспомнили и осудили каждый шаг тех, кто не оправдал их надежды — глупые надежды изнеженных советским временем интеллигентов-романтиков, полагающих, что все люди должны быть героями. То есть должны быть лучше, благороднее, смелее, чем они сами.

Первой остыла Гала. Свою вину почувствовала. И повинулась... перед Киплингем, признавшись, что замучила супруга упреками в несостоявшейся карьере, которая по сути не нужна была ни ему, ни ей.

— Давите вы на мужа, Гала. Не надо так делать.

Вот какой совет дал ей умудренный годами друг. И узнав, что оба супруга теперь никакой зарплаты не получают, стал настойчиво агитировать вложить в частный банк доллары, заработанные в заграничном университете.

— Все мои друзья так сделали и теперь живут на проценты. Я тоже наконец с женой по заработку сравнялся, а то прямо кусок, купленный на ее деньги, в горло не лез. Я же с детства сам себя содержал... На старости лет привычки менять нестерпимо.

Несколько раз непрошенный консультант специально поговорил с главой семьи и убедил-таки его. Пришлось мужу целых два дня убить, чтобы отдать свои, кровные, к тому же нематые и без пятен.

Сперва он приехал на «Маяковскую» слишком поздно, в одиннадцать утра. Потолкался часа два в очереди и понял, что сегодня не успеть: лиса Алиса и кот Базилио принимали вклады только до обеда. Нет бы одуматься! Какое там! Сколько знакомых интеллигентных людей встретил он в обеих очередях — и тех, что сдавали, и тех, что уже целый год получали проценты с честно нажитого, иногда такого небольшого, что и капитальцем его неловко называть. Коллективное бессознательное, как с головой захлестывающая волна, снесло все разумные сомнения, которые доступны даже нищему гуманитария, в финансах ничего не смыслящему. (Как все же поменялись критерии! Раньше человека с высшим образованием ни за что бы нищим не обозвали: знания, культура считались духовным капиталом, который настоящие, имеющие власть богатеи показушно ставили выше материального, а простой люд его просто уважал.)

Буквально на следующий день по радио зачитали коллективное письмо выдающихся деятелей культуры: клеветники, руки прочь от «Чары»! То бишь от нашей кормушки,

как они полагали. Думали, что известность страхует их деньги. Но, как в советские времена власть отбирала свободу невзирая на громкие имена, так после перестройки власть на пару с финансовым криминалитетом стала отбирать деньги. А они теперь, когда свободы стало немерено, превратились в главную и высшую ценность. Ну прямо анекдот вспоминается. Баба привела к себе мужика, накормила-напоила и говорит: а теперь бери самое дорогое. Он обнял... телевизор и был таков.

Может, еще обойдется? — надеялись Галя с мужем даже тогда, когда обманутая масса вкладчиков структуризовалась, распавшись на инициативные группы по спасению своих денег. По профессиональному принципу: кинематографисты, писатели, музыканты, художники. Все порознь. По-разному и пострадали. Поскольку кот Базилио был потомственным киношным начальником до того, как стал перестроечным банкиром, то перед крахом — может, и правда совесть заговорила, — он позаботился об имиджевых персонах: нескольким кинематографистам вернул то, что смог. Кому — не выяснило и следствие. Спросить было не у кого: кот Базилио погиб — то ли повесился, то ли его повесили, а лиса Алиса сбежала.

Был ли Киплинг среди благодетельствованных — Галя из деликатности не спрашивала. И он, тоже из деликатности, по-видимому, некоторое время не звонил, а потом эту тему они оба тщательно обходили стороной. Как поле, обставленное табличками «заминировано». Да Галя еще и возмущалась, когда через пару лет в большой компании полуприятель Киплинга громко жаловался на него за то, что тот сагитировал его спустить все деньги в эту бездонную «Чару». Прямо язык чесался — так хотелось открыть глаза Киплингу на этого псевдодруга, но осеклась. Из той же деликатности.

Материальные потери... По сравнению с ненапечатанностью какая это ерунда, даже если в процентном отношении ко всему нажитому имуществу они и велики... Когда в ноябрьский гололед Гала разбила свою «копейку» — по дружеской обязаловке везла из Шереметьева семью из трех человек и пяти чемоданов, — то после всех эвакуационных мытарств они с мужем испытали настоящую радость, добравшись уже за полночь до своей кухни. Пили горячий чай и даже не думали о металлломе, который пристроили на платной стоянке недалеко от дома. Все живы, колено болит не так уж и сильно... У Галы еще мелькнуло: машина была нужна, чтобы в Переделкино к Гомеру ездить, чтобы на равных с ним быть, а теперь она, в общем, и не обязательна. Вспомнила бы эту мудрую мысль, когда через год подвернулась возможность купить по госцене нового жигуленка... Жаль, что забыла. Прямо из магазина поехали в новой машине на спектакль, поставленный прототипом второго, театрального романа Галы. После бурных аплодисментов вышли на улицу, а машины-то и нет. Украли. И после, конечно, не нашли.

«Да, есть. Роман о том, почему рухнула советская издательская система и о том, как молодая женщина ищет в любви то, чего в любви нет, а есть только в творчестве». Эту твердую формулу, озвученную голосом мужа, Гала услышала, когда вышла из своей комнаты в коридор, где стоял энциклопедический словарь: понадобились точные слова, которыми там заклеял тот самый режиссер из ее нового романа.

Неужели муж сейчас о ней кому-то говорит? Сердце забилось. Не дойдя до полки со словарями, она вернулась к себе, плотно прикрыв стеклянную двустворчатую дверь,

чтобы нечаянно не услышать — что дальше. Успокойся, успокойся! — твердила сама себе. Перестань подвешивать себя на крюк надежды!

Бесполезно. Продолжать работу уже не смогла. Силы воли хватило только на то, чтобы не побежать сразу в кабинет мужа, а дать ему спокойно договорить. Но как узнать, закончен ли разговор? Эти современные трубки, черт бы их побрал! Бесшумно нажал кнопку и положил возле себя. Не усидела, выглянула в коридор, посмотреть, горит ли зеленый огонек на телефонной базе. И наткнулась на мужа.

— Не хочешь чаю со мной выпить? — спросил он.

Его спокойствие было каким-то слишком обыденным. Опять размечталась! Перед собой стало стыдно. Мгновенно решив хотя бы перед мужем не позориться, она ни о чем его не спросила. Только сбежала в комнату за листочками и стала вслух зачитывать свои каракули. То, что он слушает с необычным энтузиазмом, не сердится, когда она по ходу правит фразы, Галя истолковала, не долго думая, в свою пользу: хорошо, значит написала. Один из самых язвительных критиков одобряет.

А критик радовался совсем другому. Тому, что ему впервые удалось скрыть от жены очередную попытку — и на этот раз, кажется, небезнадежную, — напечатать ее первый роман. Надо будет потихоньку достать из ее стола коленкоровую папку. Не забыть стереть следы предыдущих чтений перед тем, как везти издателю. Плохо, что тот сам прозаик и щедро пообещал снабдить своими книжками. Не понимает, что не дар это, а просьба... С другой стороны — новоявленный издатель так толково, так просто говорит о литературе и к тому же намерен выпускать книги для нормальных людей, а не доцентскую занудную самодеятельность, которая все больше заполня-

ет толстые журналы... Может, и сам пишет вразумительно? Не исключено...

Особенно грело мужа, что он не растерялся и на вопрос: «А вы сами что думаете об этом романе? Литература это?» — спокойно и твердо сформулировал суть сочинения Галы. Нейтрально сказал, делово, как медик, сообщающий пульс, давление и РОЭ — данные, независимые от родственных связей с пациентом. Приятно было сознавать, что его умение рожать точные и лаконичные формулы сродни профессиональному искусству той легендарной редакторши, которая словами: «Лагерь глазами мужика. Очень народная вещь», — сообщила громадное ускорение одной рукописи, прославившей и того, кто написал ее, и тех, кто напечатал, включая Хрущева.

Дня через два Гала догадалась, что у мужа есть от нее какой-то секрет: он не смотрел ей прямо в глаза, задумывался чаще обычного. Да по особому изгибу губ она видела — его что-то тяготит. Помочь ему? Знала, что стоит только обнять его сзади за плечи, как он не выдержит, проговорится, но и самого просто ухищрения не понадобилось: издатель сам позвонил. «Я напечатаю ваш роман», — вот что он сказал. Не через мужа сообщил, а именно Галу позвал к телефону. И не обманул, хотя процесс затянулся на полгода, и обещанный гонорар якобы съела инфляция, и верстки не дал вычитать, и самовольно влез в рукопись: придал прототипу Гомера сходство со знаменитым эстрадным поэтом, обрядив героя в шейный платок. Да еще по небрежности обозвал платок шарфиком.

Для Киплинга такая книга бы подохла, он бы ее в руки не взял, раз авторская воля нарушена, но воля Галы была так истрепана тщетными надеждами, что даже в ее душе никакого ропота не раздалось. Правда, и ожидаемого восторга от тридцатитысячного тиража, разье-

Четыре пигмалиона

хавшегося по стране благодаря еще не до конца испутившей дух системе советского книгораспространения, она не испытала.

Не то, что муж. Он радовался. Он купил десять газет с первой, неожиданной для них обоих, рецензией на роман. Он готов был любить каждого, кто похвалил книгу. Он сам шел на почту или даже отвозил экземпляры, когда кто-нибудь из издательства, описанного в романе, хотел его получить. В течение месяца почти каждый день внешний мир находил способ, чтобы известить, что книгу читают. И даже через полтора года лидерша среди женщин-писательниц, оказавшись за одним столом с незнакомой ей Галой, сказала, что все хвалят роман об издательстве. И назвала книгу Галы, правда, имя автора перепутала.

Знать бы тогда, что это и есть успех. И что всегда будет так: больно, если предлагаешь и не берут тобой написанное, и никаких чувств нет, когда напечатали. У нее, у Галы так. Она удивилась, когда прочитала признание того самого поэта-эстрадника, с шейным платком. Он-то по-животному радовался: купил три или четыре десятка газет, опубликовавших его первое стихотворение, разбросал по полу и катался по ним, громко крича. И совсем не удивилась, когда Чигорин рассказал, как, возвращаясь с женой с юга, на промежуточной станции в киоске Союзпечати случайно увидел журнал, который обещал опубликовать его первую повесть. Попросил показать выставленный в окне номер, перелистал и вернул на место. Когда вошел в купе с пустыми руками, жена спросила: «Что, обманули, не напечатали?» — «Нет, не обманули». — «Что ж ты не купил?» Чигорин только пожал плечами. (Вообще-то логично поступил — пусть кто-то посторонний купит и прочитает. Зачем лишаться этого читателя...)

Ну и что? — и Гала пожимала плечами в ответ на радость мужа. Обе новеллы, которые она предложила журналу, возглавляемому писателем-партизаном, были грубо оттолкнуты. Первую тот якобы не понял, слишком сложно, мол, написана, возникают детские вопросы: кто, с кем, кого и как? (Через год английский переводчик переложил новеллу вполне адекватно, не будучи знаком с автором. И никаких вопросов не задавал.) А вторую новеллу, «Лишнюю», в редакции даже обсуждали на предмет постановки в номер, но нашлась одна пожилая сотрудница, с удивительной компетентностью доказавшая главному, что в этом тексте изображена квартира не кого иного, как Киплинга, и соответственно в него влюблена героиня. Главный после окончательной ссоры с Киплингом продолжал испытывать к нему болезненно-ревнивое чувство. Чувство, в любом случае роковое для Галы. То ли бывшего друга приревновал он к ней, то ли позавидовал мужскому успеху товарища, — оба варианта несложной эмоции вели к тому, что «Лишняя» и здесь оказалась лишней. О том, чтобы позвать Галу в штат редакции, уже и речи не шло.

Так и влечет человека обустроить себе что-то наподобие тупика. Из того же самого жизненного материала можно мостить дорогу, ведущую вперед и вверх — ан нет, передохнуть тянет, пожалеть себя. И загоняешь себя в этот самый тупик. Вот где фантазия шаблонная у всех одинаково работает: мир против меня! Ну и тому подобные преувеличения насчет врагов, завистников, недоброжелателей. Даже чтобы по улице идти, надо преодолевать сопротивление воздуха, а по жизни идти еще сложнее. Все сопротивления — естественны. Тебе сопротивляются и ты сопротивляйся — вот и вся премудрость.

Но рядом с Галой был любящий муж, который своим состраданием только создавал дополнительный резонанс в гулком пространстве безнадежности.

А что друг наш Киплинг? Он не знал всей правды. Не заикалась ему Гала о том, что «Лишняя» написана и отвергнута, а когда новелла потихоньку напечаталась в одном малотиражном альманахе, Гала нисколько не радовалась — наоборот, некоторое время даже трусила: вдруг кто-нибудь донесет Киплингу, как его изобразили. Наивная... Пора наступила сугубо прагматичная, до всех постепенно дошло, что любая информация — ценность, что молву о себе проплачивать надо. И что когда мы сплетничаем, то тем самым оказываем бесплатную услугу тому, кого хотим уязвить.

Не надо торопиться, не надо ждать сиюминутного отклика... Проходит время, и понятно становится, что как только называешь героя по-своему, он отделяется и отделяется от прототипа. Через несколько десятков лет уже никакого значения не имеет, — пардон за хрестоматийный пример, — какой такой Левитан узнал себя в рассказе «Попрыгунья» и обиделся на Чехова. Бывает, что литературный герой оказывается живучее своего прототипа. Это не соревнование, кто — кого: в живых, в вечно живых могут остаться оба. Так что никто никому не мешает, и если две параллельные реальности — житейская и художественная — пересекаются и прототип начинает протестовать, то это в нем говорит понятная человеческая слабость: к чужому успеху хочется присоединиться. Но у материала нет права на него. И лавры, и терновые венцы достаются только тому, кто творит и выдумывает. И даже он может исчезнуть. Тех, кто раскрывает сейчас «Гамлета» или «Отелло», не остановит подозрение, что не Шекспир был их автором.

Уж раз приходилось молчать о главном, то разговоры с Кипплингом сделались не так желанны. А он именно теперь зазвонил регулярно. Утром — чтобы «настроиться на свою работу», днем — чтобы получить пресловутый «толчок мозгам», вечером — чтобы «отдохнуть». Его слова.

Раньше Галя восхищалась его маниакальным стремлением к точности и за честь почитала съездить в Химки, в газетный зал Ленинки, и разыскать, например, в подшивках «Известий» за пятидесятые годы постановление о запрете абортов. На руки выдавали только пять единиц хранения, заказанного приходилось ждать часа полтора, белый свитер становился серым от газетной пыли, и все равно это была радость — помогать Кипплингу. А когда он отложил написанный роман ради нервно-запальчивой публицистической книги об искажителях истории войны, то Галя превратилась в добровольную стенографистку — копировала на видео документальные фильмы, беседы и монологи, указанные Кипплингом, и потом, через каждую минуту останавливая пленку, списывала произнесенные слова, перепечатывала текст на машинке и еще раз сверяла. За любую неточность ей грозила «секир башка», а «спасибо» приходилось вымогать. Со смехом, конечно.

Теперь... Теперь и сам Кипплинг не заикался о своих технических проблемах. Тем более что ему пришлось заниматься экранизацией романа, на которую было несколько претендентов, и один продюсер уломал его, выказав такое знание текста, какое бывает только у настоящих фанатов.

Уломал не без помощи денег, конечно. Дело в том, что пасынок Кипплинга успел за это время жениться. На все деньги матери купили квартиру в Филях, отремонтировали ее, а через полгода после переезда молодая жена якобы впервые разглядела, что вышла замуж за алкоголи-

ка, и стала требовать свою долю после развода. Мамаша хоть и умная, ушлая, а не подстраховалась от такого банального хода.

Ради того, чтобы выручить пасынка деньгами, и влип Киплинг в эту киношную историю. Конечно, уже первый отснятый материал привел его в бешенство. Подробно, на нескольких листах бумаги он отметил все несуразности и вопиющие, на его взгляд, ляпы: в диалогах произвольно изменен порядок слов; по дороге идет столько войск — как будто Берлин брать собираются; незадекорирована прилегающая местность; на перевернутую машину хоть бы банку мазута вылили — а то видно, что новую перевернули; манжеты и подворотнички высовываются на три-четыре сантиметра, а положено всего на несколько миллиметров, так как они пришиваются для того, чтобы не зажирить сукно... Все эти несуразности фильма Киплинг называл шизофренией, а режиссер считал мелкими придирками. Режиссер торопился. Он был уверен, что Пальмовая ветвь у него в кармане, только бы успеть.

Разразился скандал, в прессе писали, что ради этого фильма заморозили десяток других проектов, в несколько раз преувеличили гонорар автора романа, намекали на его психическое нездоровье...

Эпопею эту Киплинг рассказывал Гале удивительно хладнокровно. Умел держать удар. И не плакался в жилетку, не искал психологической поддержки, а информировал, опуская несущественные подробности. «Вам, Галя, это может пригодиться в дальнейшей работе. Для понимания человеческой природы», — говорил. И сразу принимался расспрашивать о ее делах. Конечно, она не удержалась и выложила ему, что мужа позвали заведовать прозой в толстом журнале, а он, не посоветовавшись, предложил вме-

сто себя Галу. Звонил не сам знаменитый старик — главный редактор, а его никому не известный зам.

— Отлично, идите туда. Это гарантированный кусок хлеба. Учтите, нас ждет очень плохое время. Культура останется на показушной дотации, никому не будет нужно то, что мы пишем.

Идите! Как будто от нее зависит, служить там или нет... Подумала, но не сказала вслух Гала. Не уронила себя хотя бы в глазах Киплинга.

— А что от вас требуется? — Он правильно прочитал ее молчание.

— Просили автобиографию принести, список печатных работ и список отредактированных книг.

— Ни в коем случае не надевайте эту свою шляпу, когда пойдете на встречу. Мы, старики, не любим никакой вычурности. И не забудьте упомянуть вашего покорного слугу. Я хорошо знаю главного, он мне позвонит справиться, а я уж не оплошаю.

Вспомнив предыдущую журнальную историю, Гала похолодела. Опять вмешается и испортит? Скрыть надо было все от Киплинга, но теперь делать нечего — пришлось подпечатать его книгу в уже готовый список.

Ничего страшного на очной ставке не случилось. Сперва Гала зашла в кабинет зама — тщедушного, лысоватобородатого шатена средних лет, похожего на Ленина до Октября. Пряча взгляд, он сказал, что место заведующего уже занято. Если Гала согласна быть редактором, ее сейчас же представят главному.

Что делать? Вспомнился завет мужа: никогда не понижай градус... В издательстве она была заведующей... Даже арестованному положен по закону один звонок на волю, поэтому она попросила позволения позвонить мужу. Но того нигде не было — ни дома, ни на университетской ка-

федре, где он с недавнего времени преподавал. Ситуация требовала: думай сама! Да ей же все равно, быть начальником или нет. Не начальником даже лучше. И Гала сказала: согласна.

Главный долго и очень внимательно читал бумаги, которые она протянула ему дрожащей рукой. Прямо глядя ей в глаза, спросил о муже, о сыне. Когда узнал, что тот учится в аспирантуре, рассмеялся:

— Да вы сами еще как аспирантка! — И все. Сказал, чтоб с понедельника приступала к работе. Испытательный срок — три месяца.

Через месяц в списке членов редколлегии Гала увидела свое имя, а лет через пять из подметных записок зама, уволенного через суд, узнала, что обычное человеческое сопротивление ее приходу все-таки было. Якобы один сотрудник принес главному ее роман с сугубо отрицательной рецензией. Это показалось обидно, ведь она считала этого Петю приятелем, пусть и двоюродным: встречаясь в гостях у прямого семейного друга, они всегда помногу разговаривали, танцевали... Прочитала пасквиль и в тот же день за обедом спросила коллегу, правда ли написано. Петр смутился и стал оправдываться:

— Да, я принес твою книгу. И сказал, что ты безусловно человек нашего круга.

Ну и ладно. Пусть так.

А еще какая-то незнакомая с Галой пенсионерка-редакторша этого журнала не поленилась специально приковылять с палкой, чтобы предостеречь бывших коллег от ошибки. Гала, мол, намеревается всех их потом описать, как уже сделала с издательством.

Бред! И в мыслях у Галы не было никого тут описывать, и в издательство она шла совсем не за тем.

Хотя, тут не поймешь: живем, чтобы потом это описывать, или описываем, чтобы жить? Что первое — курица или яйцо? Неразрешимый вопрос.

Всегда, с самого детства Гала хотела быть внутри литературного процесса, хотела быть активным его участником. Литературоцентризм, это как гомосексуализм, — может, и болезнь, но болезнь хроническая и неизлечимая.

Если и была у Галы какая меркантильная мысль — так только желание когда-нибудь напечатать тут свой опус. Что в этом стыдного или противоестественного? Тем более что второй роман еще не дописан, а все остальное к тому времени, как ни странно, уже было опубликовано.

И уж прямая ложь в мемуарах зама — то, что Киплинг о Гале плохо отозвался. Она даже в дневнике записала о его необычно позднем звонке:

— Только что говорил со стариком. Он сказал, что жена в больнице, и ему захотелось со мной пообщаться, так как он считает меня самым близким по духу писателем. Назвал ваше имя и спросил, помню ли я такого редактора. Ну, я самыми хорошими словами вас охарактеризовал, сказал, что вы очень добросовестная и очень грамотная. Не только орфографически, но в самом широком смысле. Что отредактированный вами роман — это эталон для следующих изданий.

— Вы как друг должны были сказать, что если он возьмет меня в штат, то вы поскорее закончите свой роман и дадите в журнал.

Киплинг сперва засмеялся, потом напустил на себя строгость:

— Зачем же говорить неправду? Но я пообещал все готовое ему показывать. По-моему, он уже решил вас взять. Смотрите, там обстановка не простая. Будьте со всеми лю-

безны и демонстрируйте компетентность. А лучше всего изобразите из себя дебилку-провинциалку, которая смотрит на всех большими голубыми глазами в уверенности, что все люди хорошие.

Гала и правда поначалу так думала. Пироги на редакционные праздники пекла; года два собирала деньги и сама покупала всем деньрожденные подарки; как что-нибудь интересное увидит-прочитает, за обедом всем про это громко рассказывала. В общем, собой делилась, пока ее несколько раз не ударили в самое больное место. В единственно уязвимое место.

В журнале то и дело возникало неприятное напряжение: печатать нечего. То есть шестьсот-семьсот рукописей в год поступало как часы, но отбирать приходилось из того, что есть, а не просто лучшее. И оправдание хилости улова — вроде бы вот оно, на поверхности лежит: литературой теперь не проживешь, писатели, особенно молодые, должны зарабатывать, им трудно выкроить время для романа или повести. А с рассказами в редакционном портфеле никогда проблем не было. И Гала бездумно повторяла этот аргумент, пока по себе не поняла, что если у тебя внутри появился зародыш романа, то уж точно не от бытовых условий зависит, выносишь ты его или нет. Детей рожают и в коммуналке, и в тюрьме, а если нет к этому настоящей, подлинной тяги, то причиной аборта может стать и затянувшийся евроремонт.

Читать и править приходилось не то что много, а прямо сколько угодно — Гала себя не сэкономила, то и дело по субботам-воскресеньям сидела с чужими сочинениями. Жаль ей было каждого из этих сотен отвергнутых, но чем она мог-

ла им помочь? Хотя бы не затягивать с ответом было в ее власти. Не могла она достать папку со своим неоконченным романом, если на столе — домашнем или редакционном, все равно, — лежал недочитанный или недоредактированный журнальный полуфабрикат.

Хорошо, если автор незнаком. А если это бывший приятель? Конкретный провинциал, с которым познакомились давно, когда Галя еще тут не служила. На выездной конференции в Томске он подошел к мужу Галы с таким признанием: «Если я хочу показать, что герой умный, то он у меня говорит словами из ваших статей». Простота, говорят, хуже воровства. А когда то и другое, что делать? Было это на фуршете, от скуки все подвыпили, и муж брякнул: «Будете в Москве, приходите». Он и приходил.

И вот привез свой текст. Галя первая стала его читать. Трудно шло. Скорее длинное эссе, чем роман, но предыдущий уже был напечатан в их журнале и имел успех, автор даже сказал по телику: «После выхода номера с моим романом я проснулся знаменитым». В нашей литературной деревне, добавила про себя тогда Галя. Но и с деревенскими авторитетами надо считаться.

А томич через пару дней снова зашел в редакцию — якобы попрощаться перед отъездом. Ну и Галя не смогла соврать, что еще не прочла его опус. Сказала несколько обтекаемых слов, которые тот тут же, не вставая со стула, а только обернувшись к заву, интерпретировал так: «Галя говорит, что ей мой роман понравился». Беззастенчиво подыграл себе руками, а Галя, вместо того, чтобы прервать неблагоприятную игру, виновато улыбнулась.

И потом долго за эту покорность расплачивалась. «Вы будете хорошей, а я плохим, если не напечатаем!» — это самое мягкое, что сказал ей зав, как только автор оделся и

вышел из комнаты. Читал он эту рукопись долго, больше недели, как будто нарочно продлевал пытку. После каждых двадцати-тридцати страниц возмущался: «Как вы могли одобрить это занудство!» Довел Галу до такого извращения, что, отбиваясь от нападения, она полюбила текст. Синдром заложника сработал.

В результате роман, конечно, прошел. Сократили и напечатали. Почти то же самое произошло со следующим, и еще, еще, пока Гала не взмолилась: устала, больше не могу. А зав как раз свыкся с томичом. По принципу: стерпится — слюбится. И почти прямым текстом сказал ему то, что авторам по законам журнального дела никак нельзя сообщать: выдал, что Гала уже не одобряет его творчество.

На самом деле было еще хуже.

К тому времени Гала уже поняла, что нельзя считать преступником того, кто плохо пишет. Он не нарочно вредит литературе, у него по-другому не получается.

Сам преуспевающий романист уронил себя в ее глазах. Довольно причудливо сочетались в его поведении амбиция и самоумаление. Хвастался, что получил какую-то местную премию, и тут же добавлял: «Дали, потому что я — устраивающая всех посредственность». Такая совковая трусость до сих пор ценится в отставшем от жизни литературном мире, но женственность на нее реагирует однозначно — потерей всякого интереса к скромнику.

«Никогда себя не унижай, — резюмировал муж Галы, когда она за ужином пересказывала ему свой день. — Автор этот твой не писатель, а персонаж Достоевского, второстепенный персонаж». «Мой?!» — засмеялась Гала, но не стала напоминать, кто привел его в дом. Ей-то как раз от его ви-

зитов становилось все тоскливее и тоскливее. Вроде не дурак, но истина у него всегда одета в серенькие, трюистические одежды, никогда не скажет и не напишет ничего яркого, парадоксального. Терпела, терпела, но решительное «хватит!» мужу все-таки сказала. Само вырвалось после того, как выпила — чтобы не изнывать от скуки — слишком много принесенного гостем ликера. Ночь не спала и весь следующий день некрасиво мучалась.

Вообще после стольких лет бесплатной свободы оказалось не так-то легко понять и освоить неписанные законы редакторской этики. Мало того, что они в каждом заведении свои, так еще и каждая голова приспособливает их к себе так, чтобы построже требовать с других и помягче судить себя.

Гала — не исключение. В частной жизни она, избалованная, руководствовалась простым правилом: если больно от чьего-то поступка, значит, этот человек не прав. Редко допускала мысль, что, может, потерпеть надо... Может, не там болит... Когда Киплинг сетовал на ее излишнюю эмоциональность, на то, что при общении с ней ему приходится тратить слишком много нервных клеток, она даже гордилась собой, тем более что в его речах промелькнуло слово «пикантная».

То, что вначале на службе будет много неудобств — это Гала допускала. Даже новая обувь натирает ногу — бывало, целый сезон приходилось пластырями заклеивать мозоли. Но все-таки когда попалась колодка, изнашивать которую было уж очень больно, Гала решила — отдала новые сапоги консьержке-беженке и впредь, покупая обновки, думала прежде всего не об экономии, а о мягкости кожи.

В официальных отношениях, если не начальник, приспособливаться должен ты сам. Прежде всего Гала изо всех

сил — аж слезы из глаз капали — старалась, чтобы болевой инстинкт не мешал анализировать ситуацию.

Только один пример. За несколько лет зав дважды отверг рассказы своего давнего знакомого, незнаменитого журналиста, претендующего на звание денди и на звание прозаика. Обе претензии несостоятельны: на первую не хватило вкуса и денег, на вторую — дара и трудолюбия. Все это было видно почти сразу: по претенциозной бородачке, неровно выстриженной дома, а не в парикмахерской, по слишком долгим, заискивающим разговорам при сдаче рукописи и нескрываемой злобе при получении отказа. На третий раз зав объявил соискателю, что для объективности читать его опусы будет Гала: «Может, с ней тебе больше повезет». А когда тот ушел, то прибавил: «Если вы решите, что их можно не печатать, то мне и не показывайте». Ладно, имеет право. Хотя негласные правила требовали не выдавать авторам того, кто именно отверг их творения. Пользовались простой формулой: «Таково решение отдела».

Гала раскрыла папку с рукописью, не рассчитывая на чудо. Его и не произошло. Заурядные, неяркие рассказы. Конечно, можно не печатать. Но бородач так расстроился, так растерянно и неагрессивно спрашивал «почему?», что Гала расслабилась и по-дружески стала объяснять ему, в каких местах хромает фабула, подчеркнула газетные по языку фразы, в общем, потратила много времени на тонкости, которые никогда не толковать обиженному человеку, уверенному, что перед ним враг.

И вот через пару недель зав просит все же дать ему эту рукопись. Оказывается, автор разведал, когда у Галы неприступный день, пришел и сумел так разрекламировать свои тексты, так убедительно упирал на якобы предвзятость

редактора, что не проконтролировать ее было бы просто непрофессионально.

Очень неприятно было те несколько дней, пока зав не подтвердил ее решение. И потом осадок остался. Хорошо, хоть дома Гала смогла высказать все, что думает по этому поводу. Очистилась от скверны.

А когда болей-обид накопилось столько, что хоть уходи, когда стало очевидно, что ради такого средненького результата нелепо так переживать, Гала и набросилась на свою неоконченную рукопись. Может, напечатают, и тогда вернется азарт, с которым она начала тут работать...

Гала и Мастер

Заново пришлось учиться писать. Если пара абзацев получалась после целого дня работы — уже радость. Но — гутта кават ляпидем, капля камень точит... Непрерывность письма привела к неминуемому финалу. Гала не сразу даже поняла, что вот она, последняя фраза. Себе не поверив, перепечатала рукописный текст и расслабилась только после того, как муж прочитал его с карандашом и с негодованием по поводу каждой легко поправимой нелепицы. Прочитал и сказал: «Неси. Лучше тех романов, которые печатались в твоём журнале три года, что ты там служишь. Абсолютно нет литературной натуги».

Маяковский вспомнился, когда Гала смотрела в лицо зава, передавая ему папку со своей рукописью. «Берет как бомбу, берет как ежа, как бритву обоюдоострую...» Не сдержался коллега, посетовал, что она не предложила свой труд другому журналу, тому самому, где писатель-партизан главный, и каким-то воровским движением убрал коленкорovou папку в ящик:

— Завтра сумку принесу, чтобы домой взять: не при вас же читать.

Спрятал, чтобы по-тихому, без свидетелей Галу убивать?

И все равно о плохом ей думать не хотелось. Вера в свой текст вытеснила страх, и включилась фантазия. Вопреки всякой логике в голове стали рисоваться совершенно фантастические, наивные картины. Как Раскольников, убивая старушку, думал, что от этого изменится весь мир и он сам перейдет в другой разряд, так и Гала мечтала, что своими романами она вмешается в жизнь, которая станет иной и для нее, и для читателей. Не лучше станет, не хуже, а просто один-другой человек, прочитав ее роман, узнает в каком-нибудь герое себя, разглядит новые возможности и начнет действовать, а не топтаться на месте, сожалея об упущенном... Это в глубине Галы было, а на поверхности — как у всех. Прославиться хотелось, чтобы в поездки разные приглашали: на халыву мир посмотреть, и по телику выступать (под взглядом телекамеры Гала чувствовала себя естественнее, чем под взглядом своего служебного визави), и чтобы от денег независимой стать...

Далеко бы завели ее эти грезы, тем более что чужая рукопись, лежащая перед ней на столе, не требовала никакого внимания: с первой страницы стало ясно, что это очередная грамотная, культурная графомания и дальше можно было читать глазами сколько угодно долго, хоть до конца рабочего дня — голова оставалась совершенно свободна для своих собственных дум.

Но тут в их комнату постучали. Не поднимая головы, Гала пробормотала «войдите». Дверь подергали, а открыть не смогли. Черт, опять заклинило, подумала Гала. Зав куда-то вышел, поэтому пришлось самой встать. Несколько минут возни по ту и другую сторону, пока она, рассердившись, не толкнула изо всех сил дверь бедром и почти уткнулась в грудь высокого седого бородача.

Четыре пигмалиона

— Ушиблась? — весело спросил он, не сдвинувшись с места. Не оттолкнул и не прижал к себе. Подождал, как поступит Гала.

Она отскочила, инстинктивно отпрянула. Молодой фатоватый математик Чигорин и Чигорин-писатель, неуклонно идущий в гору по дороге, неблизкой для Галы, вдруг взяли да и начали соединяться в объемную картинку. Так это один и тот же человек? Лицо, спрятанное под бородой и усами, ничего не подсказало. Посмотрела в глаза. Точно такие, как у нее, голубые с зеленоватым оттенком. А какие были у того? Не знает. Разве напуганная девочка могла разглядеть и запомнить такие подробности у человека из другого мира, из мира взрослых? Но она уже выросла. И теперь ей хватает ума понять, что он-то точно сам не вспомнит. Так что не мучайся, молчи: незачем заговаривать об их первой встрече, навязываться в знакомцы.

Вернулся зав и, поступившись своей молчаливой угрюмостью, которая всегда так напрягала Галу, проговорил с Чигориным столько, сколько тот хотел. Вроде бы никакого конкретного дела не было у визитера — сидел он расслабленно и сочувственно, без малейшего злорадства перебирал общих с завом приятелей. Кто умер, кто бросил литературу и переквалифицировался в бизнесмены, кто издал неликвидное собрание своих сочинений на деньги сына-нефтяника... Зав, одно время по мнению критиков ходивший в одной упряжке с Чигориным, теперь вот завязал с прозой, а Чигорин, у которого в последние лет пять не вышло ни одной книжки, переждал мертвый книгоиздательский сезон самым естественным для писателя образом: роман заканчивает. Свой первый большой роман. На четыре журнальных номера.

Почему зав не сделал стойку? Почему не предложил с колес его печатать? Гала утерпела, не вмешалась. Впервые,

кажется, в этих стенах ей было удобно, приятно молчать. Когда возникали паузы, она не порывалась подкручивать веретено разговора. Сидела и слушала, глядя прямо в глаза говорившему. По опыту уже знала, что ей зава не переупрямить. Какие-то достоевские, скрытые чувства им сейчас руководят. Он в них не то что ей, себе ни за что не признается, но решения своего не переменит.

Так и вышло. Роман Чигорина подхватил журнал писателя-партизана, а зав потом на голубом глазу уверял всех, что предлагал автору самые лучшие условия, но тот по каким-то одному ему известным соображениям предпочел конкурирующее издание.

Дома Гала повозмущалась, но недолго: неожиданный звонок перебил ее гневные филиппики. То был Гомер. Как приступают к разговору воспитанные люди, расставшиеся несколько лет тому назад? Не вспоминая прошлого, начинают все с начала.

— Как жизнь? — Голос поэта звучал по-прежнему молодо, напористо, но только в душе Галы на него уже ничто не отзывалось. Даже память о прошлом он не разбудил. Ни сожаления, ни легкой грусти... — Что, сын уже кандидатскую защитил? Слышал, что муж ваш в университете преподает... Внучка в этом году туда поступает, не посоветуете ли что? Я сейчас в Переделкине, вы должны ко мне приехать...

— А я роман написала, в том числе и про издательство. Хотите, прочитаю его вам?

Почему Гала это сказала?

Затем, чтобы смыть противный осадок, оставшийся от самого повода, по которому Гомер ей позвонил: заботу о детях-внуках своих они считают самым святым, а в результате растят юных наркоманов и развратниц... И еще, конечно, ей, как всякому автору, хотелось спровоцировать

непосредственную реакцию прототипа. Узнает он себя или нет? Рассердится или гордиться будет? Хотя бы в душе, наедине с собой. Интересно же...

Ничего не ответил прототип. Пропустил мимо ушей сие непристойное предложение.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы подогнать к готовому ответу даже самую сложную арифметическую задачу, а литература — не математика, тут гораздо проще. Завистливый Набоков без труда охаял «лирического доктора с лубочно-мистическими позовами, мещанскими оборотами речи и чаровницей из Чарской, который принес советскому правительству столько добротной иностранной валюты». Да любому ничего не стоит убедить и других, и самого себя, что не в предвзятости твоей дело, а просто плохо текст написан...

Прочитал зав роман Галы и быстро завернул. Без аргументов отказал. Только отметил несколько удачных мест, особенно интимная сцена его впечатлила. «Хорошо написана...» — сказал с удивлением. И еще не поверил, что героиня может так самозабвенно служить мужчине. «С чего это она книгу за него пишет?» Наверное, он не знает, что такое любовь...

Беря в руки свою папку, Гала побледнела, потом сразу покраснела. «Тогда я покажу главному», — пробормотала, не глядя в лицо заву, и выскочила из комнаты: как будто пожар начался, и она, не успев подумать, кинулась выносить из горящего дома самое дорогое.

Главный-старик к тому времени уже умер, преемником выбрали ответственного секретаря, которому недавно стукнул сороковник. Он тоже не попытался скрыть свое неудовольствие, когда на его стол легла коленкоровая папка...

На следующий день и он сказал свое «не надо».

— Они не хотят вашего усиления. А зав еще и приревновал. Сам-то он потихоньку с литературной передовой сбежал и отсиживается в редакторском окопе, — слишком уж легко, почти предательски оправдал Киплинг коллег Галы. — Им дальше надо друг с другом работать, вот и не стали даже вникать в то, что вы написали.

— А я? Меня как личность даже в расчет не принимают? Муж настаивает, чтобы я вообще ушла оттуда.

— Ничего не делайте сгоряча. Уходом своим никому ничего не докажете. Не знаю, что вы там написали...

— Я предлагала прочитать, вы же сами отказались, — сердито перебила его Гала.

— Вы страшный человек! Не передергивайте. Я не отказался, а отложил чтение — у меня со своей работой полный цейтнот. И сегодня еще три дела на выход. Так что до свиданья, позвоню завтра.

Сидеть сложа руки, которые так и жжет непристроенный роман, было невозможно. Гала все еще жила в современательном мире, где постоянно подводятся итоги и проигравший выбывает. Ей казалось, что она не сможет двинуть пером без инъекции адреналина, попадающего в кровь при победе, то есть когда твой текст напечатан.

В питерском журнале роман прочитали и сразу, с колес поставили в номер. Так быстро, что чуть не опередили газету, которая взяла из него большой кусок.

Киплинг, как она потом поняла, как раз раздумывал, дать ли этой же газете отрывок из нового романа, поэтому каждый день спрашивал, кто откликнулся на публикацию. Сперва Гале было стыдно, что никаких отзывов нет, потом она начала сердиться. Глупо, конечно, ведь деликатность и Киплинг — вещи несовместные. Он и не догадывался, что ей неприятно.

— Если никто так и не объявится, то мое мнение о людях значительно ухудшится. Это будет значить, что литература теперь действительно на задворках, — вот какой небидный для Галы вывод он делал.

Но она уже закусила удила и ничего ему не сказала о предложении издать оба романа в одной книге, поступившем от неплохого издательства. Пусть не от нее узнает.

Размечталась... Не учла, что Киплинг был настоящий разведчик, своих связей и явок не раскрывал — с чего это вдруг кто бы то ни было стал ему рассказывать про некую писательницу? Может, тогда хоть в книжном магазине увидит знакомые пол-лица на переплете и купит книжку? Куда там! Про службу выспрашивал, про мужа-сына интересовался, но Гала-писатель была ему как будто безразлична. Пусть бы прочитал и разругал — все лучше, чем равнодушные. Опасно держаться рядом с человеком, который не поддерживает тебя в том, что ты считаешь для себя самым главным. Еще слишком некрепка была вера Галы в писательское предназначение. В пастыре она нуждалась, чтобы продолжать свой труд. Чтобы жить дальше. Потому что стоило ей несколько дней побыть просто женщиной — матерью, женой, журнальной сотрудницей, стоило банально покрасоваться на какой-нибудь тусовке, ловя взбадривающие мужские взгляды, — как внезапно приходило ощущение: не живу — умираю.

Поведение Киплинга, сам того не ведая, объяснил ей Чигорин, которому она презентовала свою книжку. Вручила как ответный дар — он специально приходил в редакцию со своим только что вышедшим романом, на титульном листе которого вывел ей надлежаще-учтивые слова, а подписался не автографом-фамилией, а голым своим именем, причем в уменьшительно-фамильярной форме. И вот месяца через два после обмена книжками, на оче-

редной литературной вечеринке он подходит к Гале, болтающей с коллегами и журналистом-критиком, и с улыбкой, совсем не ехидной, сообщает:

— Прочитал вашу книгу. Честно говоря, долго не хотелось ее открывать. Думал: ну зачем она пишет! Ведь такая симпатичная женщина. Заглянул в пару мест для очистки совести и увлекся. Вернулся к началу и все прочитал. Ловко придумано: каждый герой любит того, кто к нему равнодушен... Круг получился.

— Я не придумывала, так само вышло! — запальчиво воскликнула Галя.

— Так это же еще лучше, — уже не улыбаясь, сказал Чигорин, долго и внимательно смотря ей в глаза.

Она не смутилась и своего взгляда не отвела.

А на следующий день Чигорин пришел в редакцию. Сел на стул возле зава и про свою новую повесть стал рассказывать. Мол, решил предложить ее вашему журналу. Зав уже протянул свою начальственную руку, но Чигорин, даже для вежливости не делая вида, что этого не заметил, встал, положил свои листки на стол Галы и почти приказал:

— Вы! Будете моим редактором.

Галя сжалась, зав промолчал, а когда Чигорин ушел, она, наговаривая на себя, забормотала, как бы извиняясь за него, что пусть коллега не обижается, что это только выражение симпатии к ней как к женщине, больше ничего... Раба! Получилось как получилось, так хотя бы гордость не теряй!

И вот, когда она была так сердита — на себя злилась, только на себя! — позвонил Киплинг. Слово за слово, и она, уже не сдерживаясь, ляпнула то, чего сама от себя не ожидала:

— Я больше так не могу. Если рядом со мной человек, который не считает меня писателем, то я сама в это верить перестаю. Прочитайте мою книжку и тогда...

— Но вы пишете о гомосеках, а мне они противны, — перебил ее Киплинг.

Остановить попытался? Не получилось.

— Как «противны»?! Вы же активно мне помогли, да у вас в новом романе есть про то, как узбек-солдат пытается ночью пристроиться сзади к молодому герою! Даже во время войны это было! — выкрикнула Гала. А про себя подумала: ничего-то из ваших материалов мне не пригодилось...

— Я считаю себя обязанным помогать информацией близким мне людям. Думаю, вы не правы. У вас есть семья. Это большая редкость... Если вы считаете себя писателем, то работайте, и все... — устало, раздражающе-покорно сказал Киплинг.

— Ах, «если»! — Галу уже понесло. — Прочитайте мою книжку, и тогда давайте снова будем разговаривать. А до тех пор мне, пожалуйста, не звоните.

— Ну что ж, раз вы так решили... Желаю вам всего хорошего на всех поприщах...

Наверное, не случайно ей всегда — и в детстве, и даже потом, когда поздно, поздно! — хотелось быть актрисой. Только лицедеи могут вот так, как Гала, забывать все остальные свои амбиции и обличья. Получив в руки стоящий текст, она в одну секунду загоралась и становилась отважным редактором, то есть телохранителем на службе у литературы. Профессионалом, знающим, что чем лучше охраняемый объект, тем больше на него покушений. В советское время в ход шло идеологическое оружие, теперь сопротивление прекрасному гораздо изощреннее. У каждого преступника свои цели и свои способы при почти полной бесконтрольности со стороны общества, которому на литературу просто наплевать.

В общем, Гала заняла оборонительную позицию и по отношению к чигоринской повести, не понимая, как смешно она выглядит со стороны. Высокий, невозмутимый Чигорин, которого закалили и изощрили все круги литературного ада (он прошел каждый, ни одного не миновал: и непечатание было, и травля, и модным успел побыть, и забытым), и неуверенная в себе Гала, еще не знающая, кто она такая, пока только мечтающая быть писателем и больше никем.

Хорошо хоть, что до нее не сразу, но все же дошло — неузвзим он для уколов-ударов, которые наносят слабаки, подвизающиеся на литературном поприще. Не нуждается Чигорин в ее заступничестве. До ума дошло, а сердце все время бросалось на его защиту.

В то время в журналах платил гонорары уже не по-советски щедрые, а довольно символические. Находились, однако, принципиалы, которые соглашались публиковаться только при условии аккордного вознаграждения и сами называли требуемую цифру, конечно, не в рублях. Отстаивая так свой профессиональный статус, а не из жадности. Чигорин, исходя из прецедента недавней публикации у редактора-партизана, вычислил сумму в пятьсот у.е.

— Но если это слишком много для вашего журнала, то я не буду торговаться, — известил он своего редактора.

Гала всегда была против усредниловки. За хороший текст надо платить больше, нужных журналу авторов надо заинтересовывать любыми способами — и материально, и человеческим обхождением, — так она считала. Поэтому, передавая главному условие Чигорина, умолчала о том, что он согласен и на меньшую сумму. И даже когда главный скривился — слишком, мол, много, и повесть не так уж хороша, ради имени печатаем, — принялась защищать и текст, и гонорарные требования.

— Я сам с ним поговорю, — сказал зав, присутствовавший при этом разговоре, и как только Чигорин появился в редакции с прочитанной версткой, объяснил ему, что у журнала нет таких денег.

— Платите столько, сколько можете, — спокойно улыбнулся Чигорин. Не оскорбился, не обиделся, а просто принял информацию к сведению. — Я предупредил, что торговаться не буду.

И хотя он — невольно, конечно, — заложил Галу, она все равно отметила про себя редкое хладнокровие, с каким он говорил о деньгах. Не алчно. (Потом, много позже, Гала спросила, почему он согласился на меньшую сумму. Думала, что они теперь ему никогда достойных денег не заплатят. Чигорин даже удивился: «Как вы не понимаете, что каждый раз все по-новому начинается...» Много раз подтвердилось — прав, опять прав.)

Часа полтора Гала вносила исправления в рабочую корректуру: Чигорин где-то сократил целые фразы, пусть и остроумные, но сбивающие ритм, а где-то добавил слово-другое, уточняя мысль; увеличил количество пробелов, как бы разбивая повесть-поэму на строфы; переписал целые абзацы. Так наводят порядок в своем доме: решительно выбрасывают не только старье, но и просто не очень нужные именно сейчас вещи, не считаясь с тем, что когда-нибудь они могут пригодиться; покупая новую электронику, переставляют всю мебель — не для абстрактной, кому-то предназначенной красоты, а для собственного утилитарного удобства.

Чигорин сидел рядом с Галой. Молча. Опять наблюдал за ней?..

Переворачивая пятую примерно страницу, она вслух вспомнила, как муж, заглянувший в рукопись, ревниво восхитился: «Самого себя назвать «старым хером»! Смелчак!»

Чигорин довольно засмеялся, задумался на минуту и вдруг решительно обвел эту криминальную реплику и переместил ее в самое начало повести. Как говорится, забомбил!

Прощаясь, он повторил предложение, которым последние полгода заканчивал каждую нечаянную встречу с Галой: «Давайте где-нибудь вместе чаю попьем», а она все менее уверенно отвечала: «Спасибо, в другой раз». Теперь же, после того, как она будто побывала в его писательской лаборатории, вдруг само собой сказалось: «А почему нет? Назначайте время». Инстинктивно вырвалось, но потом, когда он ушел и сердце перестало выпрыгивать из груди, Гала не принялась себя ругать и даже не испугалась: что наделала?! Наверное, ее природа сказала о нем эти сказочные слова Киплинга, того, английского: «Мы с тобой одной крови...»

Ну как у женщин обычно бывает? Он сделал первый шаг, он меня добивался — значит, он за все в ответе, значит, он будет делать так, как я хочу.. Логика в этом никакой, но очень долго это убеждение сидело в голове Галы. Руководило ее чувствами как компьютерная программа, зараженная вирусом спесивости. Столько глупых, бессмысленных страданий она испытала, на опасно близкую дистанцию подпустила мысль о том, что легче не жить, чем так мучиться, пока не догадалась, что есть еще одно, последнее средство спасения: нужно упростить картину, убрать из нее источник, излучающий муку, то есть перестать в себе копать, а попытаться Чигорина понять. Тем более что с их первых разговоров ее поразила его открытость. То, что другие в заначке держат — из хитрости или потому, что считают неприличным оголяться — он выкладывал сразу, как только мысль ему в голову приходила.

Так он говорил о себе, о всей своей жизни — профессиональной, семейной, мужской-любовной. Так он говорил и про Галу, и про ее сложные отношения с Гомером и Киплингем:

«Большинство женщин и месяца не могут возле себя мужчину удержать, а вы одного на десять лет к себе привязали, другого на пятнадцать... Это класс! У меня даже от испуга внутри что-то сжалось. От страха, что я мог такую вообще пропустить. Всегда, когда пропускаешь лучшее, приходится довольствоваться средненьким...»

И еще: «Знаете, чем кошка от собаки отличается? Собака догоняет, а кошка умеет ждать. Я скорее как кошка».

Но главное — он с такой же беспощадной точностью оценил свою позицию в партии с Галой, просчитал все ходы вперед и полностью разбил торную дорожку, по которой привычно разогнались ее мысли насчет их отношений:

«Да вы по сути дела в четвертый раз замуж хотите? Мужа усвоили и теперь на меня нацелились? С этим, пожалуй, будут сложности».

Вроде бы все это Чигорин говорил шутливо, но доля правды в таких речах была очень велика. Хотя Галу впечатлял не столько процент этой правды, сколько ее новизна. Вот, оказывается, как можно на жизнь смотреть... Сурово... Пусть так, она выдержит.

В новом, четвертом «браке» пришлось прежде всего принаравливаться к импровизационности жизненного стиля Чигорина. Расставаясь с Галой, он никогда не планировал следующую встречу и не обещал позвонить. Невозможно было угадать, когда он объявится. За десять-пятнадцать дней его молчания Гала обычно успевала твердо понять, что он ее бросил и поэтому (женская логика!) также твердо решить, что хватит, нужно расставаться. Минут двадцать-тридцать это намерение ее даже грело, но тревога начиналась уже че-

рез час, максимум через полдня (так долго требовалось, чтобы мозги на место встали, только тогда, когда отвлекали служебные обязанности). Все время возникали мысли, которые хотелось с ним обсудить, или случались встречи-разговоры, о которых так интересно было бы ему рассказать, а еще Гала, как заправский детектив, вылавливала из литературного пространства — печатного, телевизионного, радионного и кулуарного — все упоминания о Чигорине, и, конечно, эти сведения ее просто распирали: как бы поскорее сообщить, что в газете про него обруг напечатали или его в премиальный список включили-не включили (он одинаково усмехался в свои усы и тому, и другому) или на редколлегии похвалили-заклеймили.

Вот пришла ее очередь быть «свежей головой», то есть проверять, нет ли ошибок в последней корректуре журнала, от корки до корки. И в критическом разделе она вдруг читает статью, где ее сталкивают с Чигориным. У нее, мол, «проза дышит», а у Чигорина она суховата. Рука как будто сама тут же подчеркивает критические слова о Мастере, и когда не получается вырвать их, не захватив похвальные про себя, такие редкие и такие для нее ценные, она весь кусок вымарывает. Сперва только карандашом. Потом вскакивает со своего стула и несется на четвертый этаж, чтобы согласовать эту правку с редактором, который смотрит на нее с большим удивлением, но под таким напором кто устоит... Ягненок бросился на защиту волка!

Хорошо, что Чигорин через час ей позвонил и, прослушав цензурное изъятие, громко, от души расхохотался: «Верните все обратно! Это же замечательно, это заметят! Пусть думают, что у нас ссора! Непременно восстановите!»

Гала почти забыла, что она — писатель, что третий роман застрял у нее на второй главе. Раньше каждое утро первой просыпалась мысль о том, как там дальше будет, в ее

тексте, реплики в голову приходили, картинки, а теперь сочинялись только фразы, которые можно сказать чигоринскому автоответчику на городской квартире. Жил и работал он за городом, на даче, куда телефонную связь осознанно не проводил. И рассказал, почему:

— Я заметил, что один, другой раз оторвешься от рукописи из-за звонка, а на третий думаешь: зачем возвращаться к тексту? Можно и завтра — все равно уже весь израсходовался на разговоры. Может быть, вам стоит на службу приходиться пораньше, когда еще никого нет, и писать там, если дома все отвлекает. Я даже подумывал, не дать ли вам ключ от моей квартирки, чтобы вы по утрам тут работали. Но понял, что тогда я сам буду вам мешать... В молодости, когда у меня еще не было своего угла, я в семь утра приезжал в институт, где математику преподавал, доставал из рюкзака машинку — каждый день ее с собой таскал, чтобы не украли, — и писал, пока студенты не появлялись.

— Писать? Да не могу я сейчас писать, мне хочется... — Галя на секунду остановилась, чтобы оформить мысль, но слова вылетали сами, набегая одно на другое. Она не успела даже подумать, можно ли такое говорить, не вредит ли сама себе. — Мне в вашу жизнь проникнуть хочется. Не бойтесь, я ничего не сломаю, не поврежу. Наоборот, я вам во всем, абсолютно во всем помогать готова. Почему, почему вам этого не нужно? Вам же за это ничем платить не придется! — брякнула и покраснела. От стыда.

Противно стало от этого купеческого «платить». Хотя что в нем плохого? Без этой обратной связи каждый человек был бы сам по себе — ни семьи, ни общества, ни государства бы не получилось. Осмысленно жить в одиночку могут только святые и творцы (они существуют вне временных пределов, воздаяние им тоже приходит, но, бывает, уже после их физической смерти), а остальные, боль-

шинство нуждаются в том, чтобы так или иначе при жизни квитаться.

Чигорин молчит. Идет рядом — провожает ее до метро. Сердится? Гала уцепилась за него, взяла под руку. Он не отталкивает, локтем прижимает ее пальцы к своему боку, но опять ничего не говорит. Думай, мол, сама...

Думает. Она, Гала, из которых? Она из меньшинства или из большинства?

С самого детства ее тянуло к другим. Но ведь ты навязываешься, делая первый шаг... Как его оправдать? Инстинкт подсказал: приближаюсь к человеку, чтобы ему помочь.

Об обратной связи Гала не задумывалась. До тех пор, пока не начала прочитывать во взглядах окружающих подозрительный вопрос: «Чего это она? Не может быть, чтоб без выгоды для себя утешает, поддерживает, выручает... Хитрит, наверное». Честно заглянула к себе в душу: нет ли там тайной надежды на то, что за эмоциональную щедрость ей воздастся? Нет, если и был когда-то подобный неосознанный расчет, то уж слишком часто он не оправдывался... Давно сама себе сказал: все! Перестань уповать на невозможное! Приказала своему эгоистическому подсознанию: ничего мне ни от кого не надо. Делаю, потому что хочется, потому что самой приятно делиться собой с людьми. Но и эта прихоть оказалась непозволительной роскошью. Злостью в большинстве случаев народец отвечал. Увы, ничего нельзя делать слепо. Если какое-нибудь чикатило плачет из-за того, что намеченная жертва сорвалась с крючка, то по меньшей мере глупо его утешать. И потому, что он тебя может убить, и потому, что обуючивать жизнь злодею — тоже преступление.

Но заглушить в себе это лучеиспускание Гала не могла. Вот и искала, на ком можно сфокусироваться, чтобы не пропадало ее тепло, не шло на обогрев второстепенных

людей, которые светлую энергию потребляют безотчетно, которые чужую доброту пожирают, не усваивая, не просветляясь душами. Вот почему, наверное, и появлялись в жизни Галы все ее Пигмалионы...

На Тверской потемнело, загорелись фонари, спрятанные под крышами, под карнизами домов, превращая серые сталинские коробки в праздничные дворцы. Любая красота — и природная, и рукотворная, — наполняет смыслом отчаянную пустоту, она способна даже самоубийственные мысли преобразовать в философию жизни.

Не отлипая от Чигорина, Гала шла все медленнее, чтобы успеть подготовиться к расставанию. Что сказать ему, что спросить? Как сороконожка, задумавшаяся, с какой ноги шагать, не может двинуться с места, так и она перебирала все варианты слов и фраз, и каждая ей казалась глупой, неуместной, неестественной...

А Чигорину кстати пришлось ее сосредоточенное, необиженное молчание. Его как раз потянуло выложить то, что напрягало его в последние дни. Выговориться — и вынуть занозу из души.

— Вот-вот весна начнется... Эх, если б Лешка до нее потерпел, то потом уж точно бы остался жив.

Что за Лешка? Спросить было неудобно, пришлось самой догадываться...

— Ведь мы с ним буквально в тот день ездили в Мытищи к бывшей однокурснице, которая сейчас собирает сборник. В честь юбилея мехмата. На обратном пути никак машину не могли поймать. Погода жуткая — метель, пронизывающий ветер. И скользко, и мокро. Пришлось на автобусе ехать. Продрогли, но совсем не злились...

Чигорин говорил как всегда ровно, без эмоций. О смерти — и так спокойно? Гала даже заглянула ему в глаза, забежав вперед на расстояние вытянутой руки, которой она

вцепилась в его рукав. Увидела чужое лицо: отсутствующий взгляд и несколько новых носогубных морщин, состаривших его.

— Он скоропостижно скончался? — Первое, что пришло в голову, спросила, чтобы вывести Чигорина из заторможенного состояния.

— Скоропостижно? — переспросил он. — Наверно, можно и так сказать. Он прямо в этот вечер повесился. Ездил, получается, чтобы со мной попрощаться. А я не понял. Мог, наверное, его спасти — надо было только с собой на дачу взять. День-другой побыл бы на людях, потом весна, все пробуждается, и уж год-то еще он бы точно прожил... Я не понял... А ведь он был самым моим близким другом из всех математиков. Когда нам жены надоедали, мы брали палатку, рюкзаки консервами набивали и целый месяц вдвоем по горам Кавказа бродили. Эх, Лешка, Лешка! Нет, конечно, это была болезнь, иначе он бы ни за что такого не сделал... На поминках бабы наши говорили что-то про квартиру, которую у него родня после смерти жены оттягала, но я не верю в такую убогую причину. Он мог ночевать хоть где, хоть на Курском вокзале просыпаться и при этом радоваться первой проклюнувшейся почке...

Чигорин говорил и говорил, но Галя уже отвлеклась. Не было у нее душевных сил поскорбеть о совсем незнакомом человеке. Мысли понеслись в другую сторону: вот так ведь и я могу не выдержать ежедневных мук... Взорвусь изнутри, сгорю, а он таким же достойным, уравновешенным тоном обо мне кому-нибудь станет рассказывать. Идя по той же Тверской...

А что бы она хотела? Чтобы Чигорин вклинился между ней и ее смертью? Этого ни от кого требовать нельзя. Ни от кого?

Ну, от Чигорина этого ждать бесполезно, но у нее же муж есть...

Дома его спросила: «Вклинишься?» «Конечно», — ответил муж без колебаний и совсем без пафоса, обычно смазывающего границу между правдой и ложью. Но и Чигорин, наверное, также своей жене ответит... А между братом и его смертью он уже вклинивался и спасал его...

Ночью не могла уснуть, пока не допросила себя до конца. Да, и на таком холоде она готова водиться с Чигориным. Что сделаешь, если у него есть душевная теплота только на родственников... И в книгах ее не хватает. Ум есть, и большой, речевой и мыслительный поток — незаурядной силы, а эта его суховатость по отношению ко всем героям — и к тем, кто его альтер эго, и к посторонним, особенно к женщинам — эта одинаковая отстраненность создает монотонный ритм, который усыпляет тех, кто не способен оценить интеллектуальную силу, кому горькие мысли надо подавать в облатке эмоций. То есть огромному большинству обыкновенных людей. Вот почему и Гала-читательница жила параллельно его книгам до тех пор, пока не пересеклась с автором. Может, он сумеет благодаря ей нарушить эмоциональный штиль своих текстов?

А вообще-то: какого черта он с ней водится, этот рационалист и прагматик? Он первый и вывел наружу этот существенный вопрос, который считается неприлично обсуждать с партнером. Всегда, конечно, люди это делают. Наедине с собой — порядочные, за спиной — большинство.

Перед самым новым две тысячи третьим годом дело было. В ресторанчике возле его дома пили зеленый чай перед тем, как приступить к шашлыку из осетрины. Гала сидела насупленная все из-за того же — о следующей встрече он даже не заикался, а она уже знала, какими ужасными в долгом январском одиночестве кажутся все глупости, которые она ему успевала наговорить за встречу. С каждым

днем ей все очевиднее будет, что от такой идиотки, как она, нельзя не сбежать. Чигорин, конечно, так и поступил, раз не звонит, не объявляется. Уже почти два года это отчаяние охватывало ее всякий раз, когда он пропадал хотя бы на неделю. И то, что он всегда объявлялся, почему-то не помогало совладать с горечью, отравляющей ее жизнь...

А он в тот вечер был настроен на праздник. Потом, когда через целых три воспитательных недели позвонил, то не удержался, посетовал: «Вы мне праздник новогодний испортили. Я пытался вспомнить все хорошее, что в прошедшем году случилось, а вы только дулись и совсем меня не поддерживали. Жаль. Вас жаль. У меня-то есть с кем порадоваться...» Прав, призналась и ему, и себе Гала. Согласилась, хотя и новую рану получила: больно же, когда тебя отделяет от себя и отдаляет тот, к кому так безотчетно тянет.

Но Чигорин-то как раз никакой безотчетности не признавал.

— Я вот по-мужски думал: зачем мне она? — откинувшись на спинку стула, сказал тогда, глядя в глаза Галы. Смотрел с уже привычным ей лукавством, которое смягчает обидную часть правды, содержащуюся в любой шутке. — Преданная женщина у меня уже есть, вторая мне не нужна... Думал, думал — зачем? — и решил, что интересно будет наблюдать за вашей писательской судьбой. На мою уж очень похожа. Меня тоже долго в журналах не печатали. Мне тоже обидно сперва было, когда расхваливали мелодраматических коллег с их звездными билетами, в то время как у меня все было гораздо жестче и глубже. Так это было противно, что даже когда меня стали приглашать в «Юность» — и печататься предлагали, и в редколлегию войти, — я уже не мог заставить себя их порог переступить... Пишите, Гала... Всего-то и нужно — два подхода к письменному столу, а после делайте все, что хочется. Встали ут-

ром — и за рукопись. Подустали — минут тридцать перерыв. Можно чаю попить, музыку послушать, и снова за стол. Так каждый день. Вы не заметите, как стопка исписанных листов вырастет. Пишите импровизационно, бросайте фразы неоконченные, неотделанные. Потом все поправите. Пишите не фразами, а кусками...

Гала всегда записывала в дневник имена тех, кто поздравил ее в день рождения и в Новый год. Зачем эта инвентаризация? А черт его знает. Списки эти она не перечитывала, но все-таки приятно, когда столбик получался длинный. Иногда к концу дня утомительно было изображать положенную радость, особенно, если сразу понятно становилось, что звонок вынужденный. Простодушные хитрецы таким образом налаживают отношения с редактором. Как бы под копирку произносят один и тот же текст, пригодный для любого пола и возраста. Не потрудятся, чтобы придумать хоть одно словечко, подходящее только тебе и никому другому. Гала терпела: лучше уж вынужденная любезность, чем искренняя злоба. Думала сперва, что поздравляя, человек как бы говорит: мы не враги. Ха-ха! Да, не враги в эту самую минуту, а потом, звоня следующему, он-она вполне может походя гадость про тебя сказануть. Не со зла, ни для чего. И возмущаться бессмысленно. Все люди делают это. И она, Гала, тоже грешна.

Она поздновато осознала, что существует по принципу «с кем поведешься, того и наберешься». Как к черному драпу прилипает вся окружающая пыль, так и к ней приставали словечки, жесты, мимика тех, кто рядом. Поняла это, и стала бороться за экологию окружающей ее среды. Всех друзей-знакомых выполола, один Чигорин остался.

Может, именно потому, что никаких помех не было, так подействовали на Галу эти его «два подхода».

Сын со своей подружкой перебрался в снятую квартиру, и вот, из простой крестьянской рачительности, привитой сызмальства, Галя стала каждое утро садиться за компьютер в бывшей детской комнате. Чтобы дорогостоящий прибор не простаивал. Раньше она гордилась собой и мужу хвасталась, если в день целую страницу исписывала своим крупным, разборчивым почерком. Теперь же, переведя на твердый диск готовые два листа, она уже по инерции продолжила писать на серо-голубом экране тревожно гудящего монитора. Через два месяца третий роман был закончен. Еще утром, включая машину, она не знала, что сегодня поставит последнее многоточие. На эмоциональном взлете оборвала текст. Непривычный конец, размывающий грань между искусством и реальностью — как в акварелях Фонвизина, где белое платье наездницы становится небом, а черный круп лошади сливается с землей. Странно для многих, но по-другому нельзя. Чем дальше, тем тверже Галя это понимала.

Опять волнение, опять руки дрожали, когда папку с рукописью заву передавала. А он не взял. Не столько от обиды или возмущения Галя рот открыла, сколько от удивления, когда он, оперевшись взглядом в пустую столешницу, отвечал на ее «почему?»:

— В прошлый раз я сказал «нет», а вы все-таки понесли роман главному. Такое неуважение к моему мнению выказали... Ведь если бы я сомневался, то сам бы с ним посоветовался, а вы через мою голову... Я для себя решил, что больше никогда ваши тексты читать не буду...

Каким же быстрым становится ум не самого толкового человека, когда ему надо скрыть свои корыстные интересы... Или зав заранее этот ответ подготовил? Напомнить, сколько раз он через ее голову действовал? Взять хотя бы

тот случай с его знакомым журналистом-надоедой.. Нет, и начинать не стоит: чего доброго, он на базарные тона перейдет, еще какие-нибудь аргументы придумает, но решения своего ведь все равно не изменит.

А ей самой что теперь делать? Мужу бы позвонить, поплакаться-посоветоваться, но зав как приклеенный все время сидел за своим столом напротив и молчал.

К концу рабочего дня Гала решила не отступать, хотя понимала: черная метка на ее папку уже поставлена. Ясно, что главный — скорее неосознанно, чем осознанно — будет искать аргументы для отказа. И все-таки пошла к нему. Почему? В свой текст Гала верила, уверена была, что есть в нем сила, способная пересилить предубеждение. Отдавая рукопись, честно протранслировала слова зава. «Ну, это у него какой-то психологический сдвиг», — прокомментировал главный. Вселил надежду.

Вечером, дома, несмотря на мрачный скепсис мужа, Гала в своих мечтах целое дерево вырастила из этого, ею же выдуманного семечка надежды. Не сможет главный от такого романа отказаться! Не враг же он своему журналу!

(Как будто не видела, что тут совсем другие механизмы работают. Полный же произвол... Если во всей стране никто практически ни за что не отвечает, то почему в конторах будет по-другому? Чем угодно и зав, и главный объясняют падение тиража — и люди у них поглупели, и денег на подписку у интеллигенции, мол, не хватает, и государство о культуре перестало печься — все в ход идет, только бы отсталость свою не замечать, не давать себе и другим отчета в том, что из эстетической трусости сделали ставку на безопасную серость... Господи, «зав», «главный» — как это отдаст советским! Но что поделать — имена, что ли, им давать? Имя им — легион.)

В голову Галы лезла всякая белиберда, которая часто приходит на ум тем, у кого не было настоящего успеха. Третий роман написала, а все еще не вымела тот амбициозный мусор, который так мешает понимать жизнь во всей ее простоте и трагичности.

А тут еще внезапно позвонил позапрошлый Пигмалион. Надтреснутым, уже не звонким голосом Гомер сообщил, что полгода назад у него случилось огромное горе — Нина Валентиновна умерла. От разрыва сердца.

— Друзья-военные мне помогли, а собратья-писатели все в сторону отошли. Даже на словах помощи не предложили. У вас все в порядке? Я сейчас в Доме творчества. Вы должны ко мне приехать...

И долго еще напористо перечислял фамилии, именотчества генералов-помощников. Одного только бывшего министра Гала и знала, остальные имена ей ни о чем не говорили, хотя Гомер их произносил с таким пиететом и так многозначительно, что ей даже неловко стало за свою темноту. Конечно, она ему сочувствовала, но все-таки неужели он не видит, что никогда не стояла она в очереди, в которую он для понятной в его положении страховки выстраивал любящих его женщин. Как бы по деликатнее ему об этом напомнить?

Видимо, слишком сухо прозвучало ее «спасибо за приглашение», раз он обиженно спросил:

— Вы, наверное, хотите узнать, как я сейчас живу? — И, не расслышав в молчании Галы ответа «совсем не хочу», с ущемленной гордостью объявил: — Есть одна хорошая женщина, которая мне предана...

Со спесивым самодовольством попрощалась Гала с Гомером. Как же — не забыл, замуж зовет, а она не хочет. Ее победа! Хорошо, что не успела начать обустроиваться в вымышленном мире, в котором ее роман печатают, в кото-

ром у нее огромный женский успех и вообще — рай да и только.

Насчет женской победы Чигорин охладил, когда она похвасталась такой долгой привязанностью, выдержавшей испытание временем. Твердо сказал: если мужчина намерен жениться, он недвусмысленно это предлагает. И никак по-другому быть не может.

Ну, а насчет романа... Этот воздушный замок рухнул на следующий же день, после обеда. Главный сел на стул, зажатый между столом Галы и столом шефа. Бокон только уместился. Вынул рукопись из папки и, листая ее, как бы вслух стал размышлять:

— Не думаю, что это нам нужно. Тут явно читаются прототипы, поэтому лично мне было интересно. Но подписчики-то вряд ли догадаются. А я не могу предвидеть, как это читается без знания второго слоя... И потом, я бы начал роман с другой фразы. Она у вас на третьей странице. Я ее карандашом обвел. И у меня такое ощущение, что конца нет, как будто последняя страница потеряна... — Тут он впервые поднял глаза и посмотрел не на Галу, а на зава. Как будто у него спрашивал, что делать. Видимо, получил ответ, раз, вставая, твердо заключил: — Нет, мы это печатать не будем.

Еще час Гала высидела, а больше не смогла — ушла. Ушла почти как чеховская жена — в другую комнату, то есть домой.

Муж опять разгневался:

— Я сам твоё заявление об уходе отвезу! Пиши!

И все-таки Гала не сдалась. Назавтра в редакцию ноги не шли, так она их заставила. Зав как раз в Египет улетел — дал передышку. Целая неделя была на раздумья. Но она и не понадобилась. Главный как будто подкарауливал Галу. Вошел в кабинет вслед за ней, сел на тот же, вчерашний стул,

молча протянул иностранную шоколадку, соболезнующе в глаза посмотрел и, так ничего и не произнеся, вышел из ее комнаты. Подсластил пилюлю.

А зав, вернувшийся в субботу поздно вечером, выпил с устатку и, не дожидаясь начала рабочей недели, позвонил в дом Галы:

— Я так боялся, что муж вас уговорит... Если вы уйдете, то и мне придется. Я ведь когда согласился здесь работать, то думал, что полгода продержусь, не больше. Только благодаря вам уже скоро восемь лет отметим...

И, кажется, не лицемерил. Что у трезвого на уме... Градус экзальтации, правда, благодаря выпитому повысился, да еще он не заметил, что логика у его чувств и поступков — ну чисто женская... Или, может, чикатиловская? Обрадовался, что другой его жертву не перехватил, а лишь помучил и отпустил? И какой приятный риск! Ведь Гала, как мышь, помятая в лапах кота, может не очухаться и больше ничего не написать... И тогда заву будет нечем поживиться...

В питерском журнале на этот раз роман читали долго. Но приняли. Насчет сроков сперва не обнадежили и вдруг заполошно напечатали. Корректуру даже не успели прислать.

Как камни, пороги и другие природные препятствия превращают спокойный равнинный ручей в мощную реку, на которой хоть мельницу ставь, хоть электростанцию — столько в ней энергии набирается, так и с Галой случилось. Не остановили ее, а ускорили. По утрам она писала, а потом — по программе, заложенной в нее Чигориним, — делала то, что хочется. По правде-то хотелось каждый день с ним разговаривать. Ей хотелось, но не ему.

Сердце Галы безутешно вздрагивало, когда она вдруг понимала, что он был в Москве и ей даже не позвонил... И совсем безнадежное отчаяние охватывало ее, когда он проговорился, что кто-то ему на дачу звонил. Значит, не только родственники знают номер его семейного мобильного... А может, там уже и городской телефон проведен? Лучше не знать. И без этого больно.

А что сделаешь? Можно пойти по дорожке, протоптанной бабством: раз он не делает по-моему, то, значит, он меня, такой хорошей, умной, красивой... — недостойн. И вообще, все мужчины — свиньи... Как себя ни уговаривай, все равно получается потеря. Ни за что! К черту амбиции, ведь Гала чувствовала, что отказаться от Чигорина — это даже больше, чем ногу-руку ампутировать. Не Венерой Милосской она тогда останется, а обрубком недоделанным... Терпи! Вот что себе приказала. Сказал, что ему интересно за ее писательской судьбой следить, значит, надо эту судьбу строить. Вот и принялась методом проб и ошибок искать место для издания книги.

Сперва подписала договор на сборник из новелл и первого романа с уральским издательством, а через неделю буквально директор большой, сохранившейся с советских времен московской конторы убедил ее, что в книге, которую он предлагает выпустить, должно быть все три романа. Четкие вопросы задал про тот, подписанный уже договор. Ответ тоже четкий получил: аванс не получен, сроки не оговорены, объемы не обозначены. Вывод: в суде такая бумага не имеет никаких перспектив. Пусть научатся грамотно документы составлять. Сдалась Гала, согласилась и первый роман в книгу включить. Твердость только в сроках проявила — настояла, чтобы не издавали раньше журнальной публикации.

Возвращаясь домой после переговоров, на ровном месте в метро поскользнулась. Упала. Колготки порвала, коленку в кровь разбила и долго еще потом хромота будила нечистую совесть: непорядочно ведь один роман в двух книгах одновременно публиковать. Порывалась позвонить сибирякам и честно им все рассказать. Чигорин отсоветовал. «В нашей неразберихе никто повтора и не заметит. У меня так не раз случалось. А если что, агентша научила меня, как отвечать. Издатели, мол, подвели». Муж с этими доводами не то чтобы согласился, но учел их и велел на всякий случай быстренько приготовить еще пару-тройку новых новелл, чтобы и без романа полноценный сборник получился.

Написала их, когда муж в Германию уехал — лекции тамошним студентам-недорослям читать. Прямо свербило — так хотелось кому-нибудь готовый текст показать. Позвала в гости Чигорина. Приглашая, долго и путано говорила, что если ему интересно, то даст новые тексты прочитать, но она понимает, что это большая услуга, что не настаивает... Примерно с таким же эмоциональным напрягом влюбленная женщина, отказываясь сперва раздеваться, бормочет про свою порядочность, про то, что *он* теперь ее уважать не будет и тому подобную белиберду, которую настоящий мужчина читает однозначно: хочу тебя. В общем, двусмысленность Гала ощущала.

Ну, хотя бы накормит его, гурмана, как следует. Заранее меню с ним обсудила. Про морковный сок заикнулась — купила соковыжималку. И муж обрадуется: он уже год как о свежесжатых соках мечтает — с тех самых пор как попробовал их в доме у немецкого профессора и не решался заказывать себе в ресторанах. Слишком дорого.

Пирожкам Чигорин предпочел пирог: «Знаете, почему? В нем теста меньше». Сказал и засмеялся.

Гала испекла два длинных прямоугольника — с капустой и с рыбой, раскатав тесто до прозрачной тонкости. А в качестве сюрприза — печенье, красноречиво нарезанное сердечками. Сделала его почти без сахара — заметила, что Чигорин не сладкоежка. Мартель на стол выставила, французское вино, заначенное для него полгода назад: подруга-швейцарка привезла.

Волновалась Гала, как... Нет, ни с чем сравнить нельзя. Совсем новое чувство. Вымыла голову и в махровом халате за компьютер села, чтобы бездельным ожиданием не испортить радостное предвкушение. Чигорин предупредил, что точно время рассчитать невозможно — электрички то и дело опаздывают или их вовсе отменяют.

Сколько раз зарекалась не начинать по клавишам тюкать, если на плите мясо жарится или в духовке что-нибудь стоит. Столько уже добра сожгла, ведь у бытовых мыслей нет никакого соревновательного потенциала по сравнению с творческими. Незаметно как-то выпадаешь из действительности, и проконтролировать это невозможно. Звонок в дверь услышала, но не сразу даже сообразила, что надо делать. На ходу уже запахла халат так, чтобы голого тела как можно меньше выставилось, особенно у груди.

Переступив порог и еще не сняв куртку, Чигорин оголил свое запястье и посмотрел на часы. У Галы от обиды сердце екнуло. Только что пришел, а уже про время думает! А ведь счастливые часов не наблюдают... По обязаловке он, что ли, приехал?

Вот она, ограниченность литературоцентричного чело века! Все красивые, блестящие с точки зрения искусства фразы, вроде этой, про часы, и что «рукописи не горят», и так далее, несть им числа — для него истина в последней инстанции. А жизнь-то тем и хороша, что не удержать ее

даже в самых эстетных, изощренных, гибких рамках. Вываливается она из них и течет дальше, снова попадает в капкан искусства и снова из него выбирается.

Чигорин, конечно, прочитал ее немудреные мысли. Но не сразу пришел ей на помощь — проверил, не устроит ли она заурядную женскую сцену. Нет, молчит. Затаила обиду? Тоже нет, вон она, боль эта, вся так и светится в ее голубых вытаращенных глазах.

— Ну не смотрите на меня так! — засмеялся Чигорин. — Я должен знать, сколько времени от вокзала до вашего порога. Мне сегодня надо обратно на дачу возвращаться. Я даже думал, не отменить ли встречу: шурин умер, завтра похороны, и все на мне завязано. Для связи жена мне свой мобильник выдала.

Ненадолго пришел... Эта новость чуть не высекла слезы из глаз Галы. Она-то мечтала, что наговорится с ним наконец. Столько, сколько ей хочется. До позднего вечера, а, может, он и на ночь останется — три комнаты, три спальных места. Никакой принудиловки... Но спохватилась: человек умер, а она...

— Спасибо, что приехали. Я бы поняла, если б вы отменили встречу, — самоотверженно выговорили ее губы, а правда все-таки прорвалась: — Я бы здесь рыдала... Так приятно, что вы ради меня...

— Ну, если б мне самому не хотелось, зачем бы я поехал? — перебил ее Чигорин.

Не ради нее, — опять кольнуло Галу. Никогда не притворяется Чигорин. Может, это и хорошо. В общем, чувства ее опять не были в гармонии с разумом, опять полный раздрызг. А тут еще с вешалки на пол упала фетровая шляпа, не любимая Киплингем и отрецензированная Чигориным так: «Вам она идет...». Пока Галя наклонялась, поднимая ее с пола, и потом вытягивалась, пристраивая на крючок, ослаб

туго затянутый пояс на ее желтом махровом халате. Всего нога и оголилась, но Гала и этого испугалась — вдруг Чигорин решит, что это преднамеренное кокетство? Испугалась и принялась суетливо и многословно оправдываться...

Но Чигорина такими пустяками с его обычного настроения не сбить. Сказал, что посидит-почитает, пока она переоденется. В халате остаться не предложил...

Возилась Гала долго: заранее не решила, что надеть, а теперь все казалось неудобным. И длинная юбка нехороша, и джинсы великоваты... Тупость какая-то на нее нашла, буридановым ослом себя почувствовала. В конце концов выбрала простое черное платье. Облегающее и с вырезом. Дверь в комнату не закрывала, но гость сидел на кухне и даже не подумал выйти оттуда, чтобы на хозяйку посмотреть. Кольнуло обидой, которую нужно было тут же изжить — чего доброго уйдет, если она с поджатыми губками появится. Терпи!

— Как у вас прохладно... — Чигорин поднялся из-за стола, растирая поясницу, как только Гала вошла на кухню. На платье и не взглянул. — Дайте, пожалуйста, свитер или шаль какую-нибудь. Почки от холода сразу ныть начинают. Бетонные стены — это как холодильник, все тепло высасывают. Очень опасно...

— Ну, тут уж ничего не поделаешь, всегда мерзнем, пока топить не начнут. Сейчас духовку включу — садитесь возле нее. — Гала придвинула к плите мягкий стул, сбегала за мужниным свитером и обернула им чигоринскую поясницу, чувствуя себя посторонней, вроде медсестры. До которой не дотрагиваются. — Может, выпьете чего-нибудь для сугрева?

— Чаю — с удовольствием. Вы сами можете согреться и чем-нибудь покрепче, а мне сейчас нельзя — я таблетки принимаю.

Нет, одна, без компании, Галя пить не станет.

Пыталась успокоиться, заваривая чай. Молча сама на себя сердилась за страх, за эту дрожь рабскую. А Чигорин тем временем спокойно дочитывал ее опусы. По его лицу, занавешенному усами и бородой, ничего было не разобрать.

Мысль Галы переключилась с копания в эмоциях на собственный текст. И вот прошла суетливость, уже и пирог с рыбой она сумела положить на чигоринскую тарелку, не раскрошив, целеньким куском. За стол села, не задев скатерти, и не плюхнулась, а плавно, бесшумно опустилась. Боязнь прошла. Остался только чистый интерес. Что скажет Чигорин? Не как оценит ее новеллы, не какой приговор объявит, а что по существу скажет... Если честно, ей очень хотелось нравиться ему, она мечтала, чтобы он полюбил ее — женщину, личность, мыслящую особь. Ну, а насчет текстов важно было только, чтобы ему хотелось читать то, что она написала — ну хотя бы в одну пятую того интереса, какой был у нее к его текстам...

— Молодец, Галя, — сказал Чигорин, снимая очки и откладывая в сторону стопку прочитанного. — Молодец! — повторил он уже с удовольствием. Как будто не за нее, а за себя обрадовался. Себя похвалил за то, что правильный объект для наблюдения выбрал.

— Я это про вас и для вас писала. Вам хотела показать, что если не получается воздействия душ, то никто от этого не выигрывает. Потеря для обоих. И неважно совсем, по чьей вине.

— Понимаю... Я даже ждал что-то более близкое к реальности... — Чигорин помолчал, отпил глоток чая и повторил, ни к кому не обращаясь, в воздух: — Молодец, Галя. — И, уже отправляя в рот маленький кусок рыбного

пирога, добавил: — Во второй новелле нужно только несколько пробелов сделать...

— Легко! — мгновенно согласилась Гала.

— А в первой одной сцены не хватает: пусть поэт тянется к героине, а потом бьет, например, ребром ладони по столу и говорит: «Нет, не могу, грань чувствую».

В общем, была получена положительная рецензия, не имеющая никакого практического значения и огромное, безмерное значение для отношения Галы к самой себе. Можно, можно по своим правилам жить, поперек житейской мудрости. Ха, говорят, писатели не могут дружить! С Кипплингом не вышло, а с Чигориным получится! Она вся засветилась, и уже нисколько ее не задела стопроцентно отрицательная его рецензия на ее кулинарное искусство: капуста в пирожках переварена, да ее еще по правилам надо было поперчить, а теперь поздно — того вкуса уже не будет... В рыбном же пироге оказалось много мелких косточек, которые положено выбрать перед тем, как тушку в тесто закладывать. Гала сама над собой рассмеялась, когда бормотала в оправдание: «Я же филе покупала... Дорогое... Решила, что оно уже без костей...» Черт с ней, со стряпней! Научусь еще, — только и подумала. А печенье ему понравилось. «Всегда пеките для меня такое», — сказал. Пообещал, что у них есть будущее?

Чтобы подольше побыть около Чигорина, Гала напросилась в провожатые. Он не отнекивался. По дороге она вспомнила экстравагантно одетую сыщицу из английского фильма.

— Я раньше была за скрытую элегантность в одежде, а тут подумала, что у меня тоже хватит смелости, чтобы так выделяться. Достала норковую горжетку, которую мне лет

пять назад подруга-швейцарка подарила, и стала ее носить.

— Кино и жизнь нельзя сравнивать, — необходимо поправил ее Чигорин. — Там весь кадр построен под этот костюм...

— Так я нелепо в своих мехах выгляжу? — испуганно спросила Галя.

— Не всегда, но бывает...

И опять не обиду Галя почувствовала, а только доверие. «Спасибо» про себя ему сказала.

Чигорин, как бы продолжая работу над ошибками, еще и вспомнил, как она неуклюже пошутила над главным редактором во время прошлого корпоративного застолья.

— Я прямо сжался, подумал: как она вывернется?

— Меня иногда заносит. Особенно за нашими обедами, когда сидят все как сычи и напряженно молчат. Я так не могу, сразу начинаю работать массовиком-затейником. Придуряюсь...

— Моя жена тоже сперва так себя вела, и ее все глуповатой считали, а она отнюдь не дура. Я ее научил молчать в компаниях, и все сразу заметили — даже мне многие говорили, — как она поумнела...

С женой сравнивает, кольнуло Галу. Она замолчала, тем более что они как раз ехали по тоннелю между «Крылатским» и «Молодежной» — шум на этом перегоне заглушает все слова, если не кричать. Значит, можно подумать. Погрузиться сейчас в обиду — самое глупое. Эта дорожка ведет только к одному — к разъединению. Не считает он тебя уникальной, так, может, и правильно? Есть же общие правила человеческого общения, Чигорин их уж точно лучше нее знает. А что если послушаться его — сделать над собой усилие и не нарушать молчание, каким бы неловким оно ни

было? Вот что главное: сама она до этой простой мысли когда бы еще дошла... Так спасибо, что сравнил.

И пусть она никогда — ни вслух, ни мысленно — ни одного из Пигмалионов со своим мужем не сравнивала. Это многолетнее несравнение сделалось ее собственным, интимным «ноу-хау». Это умение, осознанное только сейчас, наверное, родилось вместе с ней и если у нее получится описать его, то, может быть, оно и останется как открытие, и принесет пользу другим? Чтобы научиться дружить, надо разучиться сравнивать...

В длинном переходе с «Павелецкой-кольцевой» на радиальную Чигорин взял Галу под руку и прижал ее локоть к своему боку. Крепко прижал, не случайно. И принялся вслух рассуждать:

— Я считаю, что мы можем друг другу все передавать, что о нас говорят... Ведь так?

Гала уверенно кивнула. Конечно, так.

— Всегда лучше знать, чем в неведении быть... — Чигорин приостановился и наклонился, чтобы заглянуть в глаза Галы. От его внимания лицо ее прояснилось, губы расплылись в улыбку, глаза поголубели. — Нет, пожалуй как-нибудь в другой раз расскажу, — сказал он.

Гала даже ногой топнула от шутливового негодования:

— Взятся за фигуру — ходи! Кажется, у шахматистов такое правило? Иначе я невесть что подумаю!

— Ну, ладно...

Чигорин все еще сомневался, и все-таки не спрятался за нечестной, но обычной в таких случаях оговоркой: мол, сами меня вынудили, пеняйте теперь на себя... Не переложил ответственность. А гадость рассказал такую, за которую и гонцу не грех глотку свинцом залить:

— В телефонном разговоре с одним очень высокопоставленным чиновником я ваше имя упомянул, и вдруг мой

собеседник говорит: «А, это та, которая с Киплингом спала...» Я даже поразился, откуда в мужике такое бабство. Но я не растерялся, сам горжусь ответом! Я сказал: «Он что, прокаженный или инвалид какой? Почему нельзя с ним спать?!»

Гала попуцовела, как из капкана выдернула свою руку из чигоринской подмышки и отпрянула от него. Замерла посреди перехода, уставившись в мраморный пол. Хорошо, что поздно — народу мало. Совсем не способна была соображать. В голове, как после сильного удара, была только гулкая пустота.

Мужу потом все это в красках описала. «Я бы на его месте ни за что тебе такое не передал. Но я ничего подобного никогда про тебя и не слышал», — сказал муж, когда от секундного шока оправился. «Конечно, мерзко, но все-таки лучше знать, — возразила тогда Гала. — Во-первых, я теперь ни про кого даже в шутку ничего подобного не скажу. Во-вторых, и про себя теперь никакой фривольности не брякну. Спасибо Чигорину. При его уме нужна большая смелость, чтобы мне такое сказать. И большое доверие. Мне доверие. Обычно-то такие гадости передают, чтобы ударить человека и остаться как бы в стороне...»

Оказывается, бывает так, что не сразу, не немедленно хочется печатать написанное. Две типологических позиции уж точно есть. Графоман, получивший чувствительный отлуп с первым же своим опусом, перестает рыпаться и пишет в шкаф, чтобы, как Вера Иосифовна из «Ионыча», говорить гостям: «Зачем печатать? Вы ведь имеем средства...» И самодостаточный профессионал тоже не торопится. Понимает, что спешить некуда. Отделявает до блеска написанное, как Киплинг, например, или выжидает,

когда наступит конъюнктурно подходящее время для его текста. Нюх надо иметь и хорошие математические способности, как у Чигорина.

В первой позиции Гала никогда не была. (Да и не грозит ей побывать. Почему? Потому, что даже на квартиру для сына у них с мужем средств нет, и потому, что если совсем платить перестанут, она все равно будет изо всех сил стараться вывести в люди свои романы.) А чтобы закрепиться на второй позиции, ей пока еще не хватало спокойствия. Чувства, взбаламученные Чигориным, никак не согласовывались с разумом, им же отточенным.

Так что прямо на следующий день после того, как Чигорин сказал свое «молодец, Гала», она принесла новеллы в редакцию. Как поступить: сразу главному показать, ничего не говоря заву, или воспользоваться случаем, чтобы проверить чигоринское «всякий раз все начинается по-новому»?

Уже протягивая тонкую пластиковую папку своему визави, поняла — не сработает. Опять спросила: почему не хочет он читать? И получила к прошлым аргументам добавочный: мол, если сотрудники и печатаются в своем журнале, то это всегда только лучшие образцы того жанра, в котором они пишут. Вот Петя из отдела критики ведь не предлагает нам свою прозу.. Сказал, что если б Гала не действовала через его голову, то, может быть, он бы третий ее роман напечатал, не советуясь с главным. Ведь они вдвоем обычно все решают. И второй ее роман — он помнит — был очень даже неплох. Но не настолько хорошо написан, чтобы его в собственном журнале публиковать...

Так уверенно, незапальчиво говорил, что Гала даже прониклась его логикой. Вспомнила, как один младший коллега сказал ей, что это очень благородно — «печатать свои

произведения в Питере, а не в Москве, где у вас есть влияние». Про себя тогда усмехнулась Гала на это «влияние».

Нет, не больше секунды продержалось ее согласие с завоём. Какие такие «лучшие образцы»?! Тут же выскочило два имени коллег, над текстами которых, напечатанными только что в их журнале, они оба иронически, не зло, посмеивались.

Да разве о том надо заботиться, кто что скажет в литературной тусовке! Они же копейки за журнал не заплатят — только на халяву его получают. А подписчикам все равно, работает в штате автор или нет.

Вспомнила, как мучительно было редактировать очень средненький текст одной литературной дамы. Зав подсунил его как раз после того, как впервые отклонил роман Галы. Эта-то боль всем понятно. И изобретателю, которому приходится внедрять чужой узел, в то время как его собственный проект выбросили в мусорную корзину. И автору программы «Пятьсот дней», которую зарубили в угоду политической конъюнктуры. И банковскому клерку, предложившему выгодное вложение капитала...

Не сравнивай себя ни с кем! — вот что приказала себе Гала. Если уж ревновать, то по-маяковски — не к соседу, а только к Копернику.. Да и это тоже формула мужской зависимости. Она, Гала, сумеет ни к кому не ревновать. Учиться, перенимать, отесываться, то есть пигмалиониться — всегда готова, но только не соревноваться и никого не побеждать.

«Неэтично печататься там, где служишь...» Да нет же, это бесперспективная советская логика! Это из прошлого... Сейчас для того, чтобы человек лучше и эффективнее работал, его из наемных работников переводят в партнеры, продают ему акции предприятия... Есть ли смысл оставаться там, где в тебе совсем не заинтересованы?..

Целую неделю главный читал две короткие новеллы. На этот раз Гала даже не волновалась. Решила, что она не сдает экзамен, а сама экзаменует высокопоставленного юношу.

— Не знаю, как и быть, — закуривая темно-коричневую сигареллу, признался хозяин кабинета, когда вызванная им Гала присела на визитерское кресло. На край села не от стеснения или страха, а чтобы повыше быть и смотреть на начальника не снизу вверх, а вровень, глаза в глаза. — Я сразу подумал, что интересная книга может получиться из цикла таких новелл. Хотите, название скажу? — Он откинулся на спинку своего кресла и улыбнулся. Не как администратор, а как коллега.

Гала сообразила, что и простое «да» прозвучит раболепно. Сумела промолчать и даже лицом не похлопотала. Строго смотрела на главного, не отводя взгляд.

Он рассмеялся. Оценил?

— «Вымыслы». Вот как назовите. Хотя, как я понимаю, вымысла тут как раз почти нет... Вообще-то из вашего мне больше всего нравится первый роман и вот эти новеллы. Знаете, как поступим? Дадим почитать в отдел публицистики. Если одобряют, то там и напечатаем. Вам ведь рубрика не важна?

— Конечно, — стараясь держать ровную интонацию, сказала Гала. Хоть горшком назови, про себя подумала. Хорошо уже то, что решение будет зависеть не от чикатилы, который в одной комнате с ней сидит.

И опять целую неделю она не дергалась, и даже внутри у нее ничего не дрогнуло, когда, столкнувшись в коридоре с ней, хмурой, главный, привыкший к ее всегдашней улыбке, удивился:

— Как, вам не сказали, что новеллы печатаем?

Не сдержалась Гала, просветлела лицом. Нет, не будет она больше себя насиловать! Тяжело ей все время угрю-

мой ходить. Ну и ладно, пусть в открытую душу часто поплеывают, пусть толкуют ее улыбку как хотят — она выдержит, не станет бесчувственной и железной.

Железной не железной, но что-то с собой все-таки надо было сделать, чтобы приноровиться к чигоринскому стилю жизни. Говорит, мы — друзья, а сам пропадает на неделю, на две, даже на три, бывает. Ну, еще понятно, если уехал за границу — из гостиницы звонить дорого, а у частных лиц одалживаться не хочется. Но и по возвращении не сразу дает о себе знать. Пока Гала поняла, что у мужчин какие-то другие отношения со временем, много крови ее утекло. Обезболывало только писание. Вот и засела за новый роман.

А Чигорин как раз попросил прочитать его свежую повесть. Небольшую, по объему равную двум новеллам Галы, только-только втиснутым в готовящийся июньский номер.

— Боком тебе ваша дружба выходит, — рассердился муж, когда услышал, как Гала уговаривает Чигорина немедленно, с колес напечатать его опус. — Ты хоть понимаешь, что он может занять именно твое место в номере?

Гала понимала, но и секунды не колебалась: честь важнее. Не для кого-нибудь, для себя самой она старается жить так, чтобы все ее слова, поступки и даже мысли можно было хоть по телевизору показывать. Тогда — ей кажется — у нее есть право про других писать так близко к реальности, как у нее получается.

Вышло все проще: на следующий день Чигорин сам отказался от спешки — и не из-за Галы, а просто потому, что в летние номера якобы заглядывают реже, чем в осенние. Остался верен старому предрассудку, возникшему тогда, когда чтение было в России и чуть не единственным доступным способом духовной и общественной жизни,

которая летом замирала, и одним из немногих развлечений, и модно было толстые журналы читать. Теперь-то между всеми двенадцатью месяцами никакой разницы нет.

Обрадовалась ли Галя? Нет.

Оказалось, что несопоставимы по силе огорчение от непечатания и радость от того, что вот, приняли. Может, еще из-за того осталась равнодушной, что все ее эмоции расходовались на новый роман и на уже неновые — третий год пошел — отношения с Чигориным. Не личные отношения, а отношения личностей. И вот теперь повод для встреч откладывался на целых три месяца.

Вспомнилось, как он посмеивался: лучше всего, мол, иметь женщин, живущих в другом городе — от встречи к встрече у них накапливается хоть какая-то информация... У Галы же в следующую секунду после того, как он повесил трубку или сел в свою электричку, появлялось то, что необходимо немедленно обсудить с ним. Правда, зато было время подумать: ему это сколько-нибудь будет интересно?

Не очень естественными получались их встречи: Чигорин всегда, абсолютно всегда спокоен и хладнокровен, а Галя всегда, абсолютно всегда взволнована: не забыть бы что важное. Чаще всего она приносила в клювике все печатные упоминания о Чигорине. Как заправский библиограф делала вырезки и, наученная Киплингом, оставляла большие поля, на которых подписывала название издания и дату. Правда, Чигорину такая тщательность не требовалась. Он читал прямо при ней. Не без удовольствия, когда хвалили, но особенно радовался совсем уж нелепой ругани. Прочитает и вернет:

— Зачем мне? Когда переезжали на новую квартиру, я выбросил все отклики на себя — стопка была с мой рост примерно.

То есть в метр восемьдесят семь.

Видно, что не рисуется. И у Галы перестало замирать сердце, когда она вдруг натыкалась на рецензию или упоминание о себе. Этому спокойствию тоже можно научиться.

Когда вышла книга с тремя ее романами, она решила ничего о ней Чигорину не говорить. И чтобы проверить: сам он, без ее подсказки, узнает о ней? И из наивного желания хоть как-то с ним поквитаться: пусть и у нее будет от него хоть какая-нибудь тайна. Другой заначки она придумать не могла. Нечего больше ей было от него скрывать. Даже про забытую партийность свою выложила, когда ей напомнили — не утаил ее от мировой общественности бывший друг, автор биографического словаря. Он там всех заложил. («Что же он и евреев не разоблачил — ведь фашистам для расстрелов нужны «коммунисты и евреи», — раздраженно прокомментировал муж Галы, к которому никто никогда и не подступался насчет вступления в ряды, то есть абсолютно чистый в этом отношении человек... Впрочем, как не считается у патриотов настоящим русским тот, кто женат на еврейке, пусть даже в его крови нет никаких примесей, так в августе девяносто первого одна либералка поставила ему в вину кратковременную партийность Галы.)

— Надо посмотреть, что про меня там написано, — сказал как всегда спокойно Чигорин.

— Хотите, я ксерокс сделаю? — тут же предложила Галя.

— Да нет, не надо. Меня он побоится тронуть. Трус он... Отвратительный трус... Но как вы об этом сказали! — засмеялся вдруг Чигорин. — Так женщины признаются, что отдавались другому. Какой низкий человек, этот ваш приятель... Противно...

— Мне кажется, он таким образом пытается сам отмыться. В партии-то не был, но именно он, служа в газете, писал там установочные статьи по литературе и согласовывал их в

ЦК. А я просто не заметила ни как меня беспартийной невинности лишили, ни как потом эта партия накрылась... Пардон, пардон за грубость...

Чтобы договорить, Гала опять увязалась провожать Чигорина. Вечер только начался, но он торопился на дачу — нельзя было больше, чем на час оставлять в одиночестве больного сына. Гала оробела от непривычной, неожиданной для нее толпы на Павелецкой-радиальной и так бы осталась на платформе, если бы Чигорин не втянул ее в щелку закрывающихся дверей. И все равно они не были последние: трое парней в черных кожаных куртках и надвинутых на лоб шерстяных шапках (вылитые фотороботы убийц, которые по телику показывают) разжали сходящиеся створки и сумели-таки втиснуться в вагон. Зажатая со всех сторон, но радостная от того, что Чигорин не дал ей отстать, что позаботился о ней, все еще ощущая его мужской властный жест, Гала задрала голову и признательно посмотрела ему в глаза. И оторопела: такого лица у него она еще не видела. Не испуганное, нет, но такое сосредоточенное, что, кажется, видно, как мысли одна другую перебивают.

— Кошелек, — ровным голосом, не утишенным до жалкого шепота, произнес Чигорин и несуетливо проверил все карманы: в брюках посмотрел, в куртке и даже во внутреннем кармане пиджака пошарил. Нигде нет. Исхитрился в этой тесноте развернуться лицом к тем, кто в черном и, глядя поверх их голов, четко проговорил: — Там мало денег.

Один из парней, нагло уперевшись в него взглядом, с угрозой спросил:

— Что-что?

— Ничего, — мгновенно ответил Чигорин и отвернулся. На Галу стал смотреть. — Там не больше тысячи рублей. И листки с номерами телефонов. Но это восстановимо. —

Лицо его расправилось: просчитал все варианты своих действий, оценил потери и смирился.

А минутой позже обобщил случившееся:

— Опасно что-то делать, когда ты с женщиной. Был бы один...

— Значит, из-за меня вас обокрали? — виновато спросила Галя, надеясь на вежливый, джентльменский ответ. Совсем не рассчитывая на правду.

— Пожалуй, да, — улыбнулся Чигорин. — Они видели, что я с дамой, поэтому и напали. Процедура отработана. Ладно, хватит об этом. В следующий раз буду внимательнее, я еще дешево за такой урок заплатил...

Галя вспомнила, как ее в свое время облегчили от кошелька в книжном магазине. Нет, так красиво держаться, как он, она тогда не сумела.

Вот после этого эпизода у нее и вырвалось: «Теперь я знаю, что такое любовь...»

И, может быть, благодаря этому маленькому потрясению Галя не испугалась, когда незнакомый женский голос пронзил ее ухо из домашней телефонной трубки: «Когда же ты, сука, перестанешь писать свои гнусные романы!» И так мстят сочинители, отвергнутые ею-редактором... Профессиональный риск, что поделаешь... Но как они узнали, где у Галы самое чувствительное место?

В интернете написали, что Киплинг наконец закончил свой долго-долгожданный роман. Вряд ли, подумала Галя. Столько вранья на этой бесконтрольной свалке помещается. Но информацию все же стоит проверить. Прямой путь — звонок автору. Нет, не захотелось воспользоваться

поводом, чтобы вернуть прошлое. Зава попросила. На память продиктовала засекреченный номер кипплинговского телефона, и тот набрал его прямо при ней. Через пять минут их беседы Гала не вытерпела, вышла из комнаты, чтобы не быть соглядатаем. Вдруг Киплинг что-нибудь резкое про нее скажет? Ей неприятно, заву неудобно... Вернулась через полчаса — они все говорили.

— Оказывается, до конца еще далеко. Но он обещал нам первым текст показать, — доложил зав, когда наконец повесил трубку. И с удивлением добавил: — Он так долго и так хорошо про вас говорил... Гала, вы должны ему позвонить!

«Должны»... Никогда зав не приказывал ей ничего категорически, а тут, видно, проняло. Но никакой амбициозной радости Гала не почувствовала. Ну, помнит ее Киплинг, не забыл. И что? Раз сам не делает первый шаг, а вымогает, чтобы она взяла ответственность на себя, значит, общение будет на прежних условиях.

А ей бы чего хотелось?

Уже совсем не так важно, чтобы Киплинг стал ее читать... Теперь она и сама выживет...

«Бросила человека на ржавые гвозди», — так осудил Киплинг одну молодую женщину, которая развелась с мужем-стариком, его приятелем. Но Гала Киплинга не бросала. И сейчас она бы могла с ним общаться, никакого насилия над собой для этого ей делать не пришлось бы. Только, конечно, уже всю душу ему бы не раскрывала. Ну и что? И это немало, если любишь. Лучше, чем ничего. Она же водится с Чигориным, не претендуя на обратную сторону его души, занятую женой, детьми, братьями и еще теми, о ком она приказала себе не думать. И большую часть времени подчиняется этому приказу. А когда мысль вдруг уходит в самоволку, то что ж, приходится терпеть боль, ничего тут не поделаешь...

Нет, Киплинг, конечно, на такое не способен. Все-таки ни к чему хорошему не может привести его категоричность, эта его формула «жопа об жопу и кто дальше отскочит», которой он отгораживается от любого, как только появляется малейшая шероховатость в отношениях. Сам себе не отдает отчета, что нуждается в общении. И в результате к нему прибились те, кто подчиняется, то есть второстепенные, не равные ему люди. Может, мужчины вообще не могут дружить с теми, кто в чем-то выше их? Может, это большое женское преимущество — найти себе Пигмалиона и удерживаться возле него?

Почти месяц Гала думала, не позвонить ли Киплингу, и тут вспомнила, как примерно за неделю до ее ультиматума он, рассердившись, вдруг спросил: «Нервничаете? Что, дата давит?»

Какая дата? Она не сразу сообразила тогда, что речь о ее летах — о том, что «полтинник» уже не за горами. Мол, нечего выпендриваться. (Она-то никогда не чувствовала солидный возраст самого Киплинга, хотя он старше Галы на... двадцать четыре года. Нет, не нужно ей это женское преувеличение. Есть же точная цифра: двадцать три года, три месяца и два дня.)

Да, не очень благородно сказано было. Тогда она его простила: у уязвленного человека и не такое может вырваться. Жену свою Киплинг при гостях еще и не так обзывал. «Как из Мухосранска приехала!» — говорил. Или: «С тобой какашки хорошо есть — первая упрaviшься!»

Простила его Гала, но, оказывается, не забыла обиды. И первой уже не объявлялась. А он? Нуждался ли он в ней как в чем-то незаменимом? Зашло бы дело о жизни или смерти — он сам бы позвонил. На этом Гала и успокоилась.

Дискету с только что оконченным романом Галы Чигорин прочитал не сразу. Известил, что дошел до середины, и небрежно так сказанул: ну, мне уже понятно, чем все кончится. Но сколько Галя ни допытывалась, он не раскололся. Видимо, боится ошибиться, самолюбиво подумалось.

Сама-то она, дописав до этого места, еще совсем не знала, какой будет финал. К последней главке только и появилось ощущение, что после нее уже можно будет приступать к «Четырем Пигмалионам». Как раз посередине того романа и пришло в голову их написать. Вот и надо было приниматься, убрав в стол только что законченный опус. Но куда там! Вроде бы взрослый, битый человек, а детские мечты о славе нет-нет и прокрадывались в душу.

Тем более что муж, прочитав рукопись, почти ничего в ней не предложил поправить, а когда заговорил о своем впечатлении, то у него ком к горлу подступил и слезы на глаза навернулись. Катарсис испытал — так это, кажется, можно назвать...

Еще дважды Галя прочесала весь роман от начала до конца к тому времени, когда Чигорин, встретившись с ней, достал несколько листов с ее текстом:

— Я сам распечатал, чтобы показать вам, как нужно править. У вас мысли набегают одна на другую — это трудно читается. Нужно проредить их. Перечитайте «Войну и мир», особенно первую часть. Я всегда восхищаюсь тем, как Толстой умел закончить абзац именно одной мыслью...

— Но у меня же философский роман получился, и мне совсем не хочется его упрощать, — стала сопротивляться Галя.

Ее нисколько не задело, что он не сказал никаких ритуальных слов, что в целом никак роман не оценил. Пример-

но так, наверное, два бывалых хирурга решают, нужна ли операция. Все исследования уже проведены и обоим ясно, что больной ее выдержит.

— И все-таки посмотрите. Сделайте сокращения хотя бы перед тем, как в журнале показывать. Потом, когда будете печатать, можно все вернуть. Я же знаю, как они читают. Споткнутся на первом трудном месте, и дальше уже только верхоглядски просмотрят... Жаль будет, если они отвергнут... Такой конец! Меня трудно удивить, но я поразился! Мне бы такого не придумать...

Гала слушала вполуха, уткнувшись в исчерканные им листки:

— Так это давнишний вариант. Я тут многое уже сама поправила.

— Вот и хорошо. Напечатайте трудные куски и дайте мне — я еще покумекаю.

Не утерпела Гала, не дождалась, пока у Чигорина дойдут до нее руки. С пристрастием в третий раз прочесала сама весь текст, мужа попросила еще раз его прочитать и по телефону, не дожидая даже до встречи, объявила Чигорину, что завтра понесет рукопись в редакцию. Объяснила, почему торопится: сейчас очень подходящее время — портфель пуст, ну не посмеют они его отвергнуть.

— Не верю я ни в какое подходящее время, — устало сказал он. — Но вы же уже решили...

Зав вполне мирно принялся вслух рассуждать: все равно главному надо дать прочитать (зачем? раньше по-другому считал...), так что пусть он первый будет, а потом, если решение будет положительным, он, зав, уже сразу редактировать текст начнет. И очень даже хорошо, во второй номер поставим.

— Я не буду торопиться... — известил главный.

И действительно не спешил. Дней через десять, за обедом — они вдвоем за столом сидели — Гала не выдержала, и, признавшись, что у нее даже руки дрожать начинают, когда она о судьбе романа думает, спросила: «Как вам?»

— Я до середины пока дошел. Все время чувствую, что я бы по-другому это же писал. И везде вместо трех фраз две бы оставил... И потом, мне интересно, потому что я всех прототипов угадываю, а как другим?

— Так вы же читаете, как литератор, изнутри, а вы посмотрите на текст глазами нормальных читателей, наших подписчиков! — возмущенно воскликнула Гала.

— Да я уже испорченный читатель, я не умею по-другому читать, — наивно проговорился главный. Как мальчик на провокацию поддался.

Но власть была у него. Через неделю принес рукопись заву. При Гале говорил, что не знает, как поступить. Что если бы автором был он, то обязательно бы в конце написал, что с героями через десять лет стало... Повторил, что сам бы в другом ракурсе все показывал... Но пусть зав почитает.

Вечером Гала заехала к Чигорину — ненадолго, всего на полчаса: верстку его повести привезла и свою эпопею рассказала. Хозяин поил ее чаем, пододвигая то к себе, то к гостье фигурную банку с брусничным вареньем. Не заметили, как до дна добрались. Гала вскочила, чтобы вымыть такую красивую стекляшку: в хозяйстве пригодится.

— Не надо, — остановил ее Чигорин. — Положите в этот пакет, потом выброшу. А рукопись свою у них заберите и скажите, что еще поработаете над ней.

Совет прозвучал категорически. Он как будто в шахматы играл и видел, что вот-вот флажок упадет и партия будет проиграна.

Гала же, еще ничего не понимая, даже рассердилась на Чигорина. Чем меньше было реальной надежды на то, что роман возьмут, тем больше ее сил уходило на оживление картинки мечтаемого успеха.

И когда вечером зав сам позвонил ей домой, она не сумела выполнить чигоринский совет. Зав резко отказался вернуть ей рукопись, а потом долго, расслабленно говорил, как волнуется перед чтением, что будет иметь в виду ее готовность над ней работать. И главному, мол, он сказал, что просто так возвращать нельзя, что тогда надо пообещать автору напечатать ее новеллы. «Вы ведь пишете дальше ваши «Вымыслы»?»

Ну, прямо именины сердца. Друг, да и только.

— Как это «не отдал»?! — возмутился Чигорин, когда Гала позвонила ему на следующее утро. Потом помолчал и усталым, блеклым голосом объяснил: — А, он боится читать не тот же текст, что главный... Боится не угадать, чего тот хочет... — И после говорил с Галой как с потерпевшей поражение: — Ну, ничего, скажите себе: значит, после пятого романа я проснусь знаменитой. Значит, еще рано вам для успеха...

Как это — «рано»? Разве мало я мучалась! Совсем не рано! И ничего же еще не решено! Не может заву такой текст не понравиться!

Все это запальчиво пронеслось в ее голове, а подсознание уже говорило, что Чигорин лучше знает...

Так и оказалось.

Обычно и зав, и Гала читали рукописи очень быстро, не больше, чем день-два: оба не терпели никаких завалов и неопределенности. Так что недельное молчание зава звучало для Галы как предупреждение врача: будьте ко всему готовы. Но разве можно подготовиться к смерти близкого че-

ловека? И ведь то была не естественная смерть, а убийство. Если б Гала правильно оценивала ситуацию, то могла бы и подстраховаться: киллерам надо сопротивляться. Не умеешь? Придется научиться.

Через неделю не в начале, а только в середине дня зави пересел на стул, зажатый между его столом и столом Галы — занял место, с которого главный уже возвращал ей два ее романа.

— Я даже не знаю, что с этим можно сделать... Конечно, вы в своем роде художник, многие эпизоды, которые вы мне раньше рассказывали, на бумаге у вас гораздо ярче получились, но в целом... А что ваш муж говорит? — как будто растерянно пробормотал он, листая рукопись.

Гала тут же вспомнила мужнину формулировку, очень ей лестную: «У тебя получился светлый, но не мелодраматический роман о современности. Не поймут его те, в ком этого внутреннего света нет». Губы раздвинулись в улыбку, но повторить эти слова не смогли. И неловко, и бессмысленно. Чтобы еще как-то побороться, Гала предложила:

— Давайте я позвоню сейчас мужу, и он сам вам скажет...

Конечно, коллега отказался. Хотя несколько лет назад в такой же почти ситуации совсем по-другому себя повел.

Тогда он был в растерянности насчет одного романа с литературными прототипами, совсем ему, довольно невежественному, не знакомыми, и Гала, чтобы не упустить полезный для журнала скандальный текст, использовала авторитет мужа-профессора. Тогда зав не стал чиниться, сам позвонил уважаемому им эксперту и, пройдя у него часовой ликбез, согласился с Галой. Ок-

тябрьский номер потом раскупили мгновенно и много месяцев «пиарили» журнал, вспоминая об этом успешном сочинении.

Гала еще пыталась продолжить этот неприятный для обоих разговор, чтобы выудить хоть сколько-нибудь дельное соображение, полезное для улучшения ее текста. Готова была поправлять, совершенствовать, прислушиваясь к чужому мнению. Но напрасно мучила — и себя, и товарища по работе.

Зато Чигорина ее отчаяние проняло. Нет, душу его не задело, только ум заработал. Говорил, глядя вдаль, поверх головы Галы. Зашли выпить чаю в недавно открытый ресторанчик на перекрестке Кузнецкого моста и Неглинной.

— Журнальная жизнь даже половую природу искажает... Женщина ведет себя как настоящий мужчина, а ее коллеги-мужики полными бабами оказались... Хочется вам на помощь броситься, но невозможно включиться в чужую партию, свою фигур у на доску не добавишь. Не переживайте, ничего же не изменилось. Вот если бы они, как нормальные люди, честно увлеклись вашим сюжетом, то можно было бы анализировать ситуацию, а так... Вы сделали большой шаг вперед, вы крепко прибавили в прозе... Они же не могут отнять у вас радость от писания!

Радость от писания... Гала прямо взвилась. Писать же трудно, очень трудно. Какая еще радость?!

Но в этом Чигорину не признаешь. Заикнешься, что не можешь сейчас даже в комнату с компьютером войти, он сразу глумливо так улыбнется: что ж, не можете писать — не надо, займитесь чем-нибудь другим. И сколько ни возмущайся, правду не перекричать. Прав он. Может, и

к ней эта радость придет? Только мысли свои надо развернуть: не от внешнего успеха счастья ждать, а от работы. Чигорин — вот пример. Он-то легко импровизирует. Богач, столько кусков нигде не использованных в его компьютере хранится. Показывал.

А горе уже было не удержать, и Гала прицепилась к первому, что пришло в голову:

— Куда вы смотрите! Что, нашли кого-то более интересного, чем я?!

Чигорин ничего не сказал, а только погладил ее руку, лежащую на столе. Погладил и крепко сжал. Как она потом отчаивалась, как ругала себя за то, что вырвала свои пальцы и сердито прошипела:

— Не надо меня жалеть! Я не неудачница! Я еще напишу!

А он только спокойно улыбнулся, но за руку больше не взял.

— Ладно, валяйте, я потерплю. А читал я рекламный плакат во-он на том доме. Если долго сидите перед компьютером, то непременно надо вдаль через каждые полчаса посмотреть. Полезно для зрения.

Сказал и на часы посмотрел. Открыто, не украдкой. Официанта подзовет — и все, до свидания. Нет, ни за что расстаться с Чигориным прямо сейчас Гала не могла. Что бы придумать?

— А я ходила на юбилей Гомера, в театр Советской Армии, — с бухты-баракхты брякнула, не успев подумать, благородно ли это — про одного Пигмалиона с другим говорить. — Сперва треть зала было занято, а потом курсантов привели и гражданскую молодежь. Я даже удивилась: как при нынешней свободе можно кого-то заставить? Спросила у соседки, откуда они. Оказалось, из института зем-

лепользования, что по соседству. Соврала девица, что они сами пришли. Человек сто, и каждый сам по себе? Вряд ли... Сижу и поеживаюсь — как будто советские времена вернулись: юбиляр молча за столом сидит, ведущий славословит и его, и каждого поздравителя. Казенные речи, идиотские подарки... Один генерал преподнес набор из авторучек и карандашей. Слепому... Я через полчаса не выдержала, ушла потихоньку.

— Как, даже не подошли к имениннику? — удивился Чигорин. И сам себе ответил: — Ну, конечно, он же вас не мог видеть. А вот я в те давние времена вполне мог в Доме творчества с вами встретиться. Помню, мне кто-то рассказывал, что к вашему Гомеру ходит поклонница...

— Я не была его поклонницей! — перебила Галя. Ради точности и не без высокомерия воскликнула. — И он это знал. Переживал, но поделать ничего не мог.

— Конечно, вы уже говорили, но соглядатаи-то этого не знали. Один зашел и увидел, как вы сидите посередине комнаты на стуле и что-то говорите.

— Нет, это не я была. Гомер на стук в дверь не отзывался, никому не открывал, когда я к нему в гости приезжала.

— Не вы?.. — понимающе улыбнулся Чигорин. (Ошибся в своем подозрении всезнайка, бывает.) — Вот если бы вы о своих отношениях с поэтом написали, это могло бы получиться очень интересно...

— Так я же уже в первой книге про это рассказала, только поэта не слепым, а зрячим сделала, — слукавила Галя.

Не призналась, что уже давно открыла новый файл, в котором пока есть только три строчки: прописными буквами ее собственное имя, полужирным шрифтом название «Четыре Пигмалиона» и светлым курсивом жанр — роман.

Четыре пигмалиона

Планета — Земля. Страна — Россия. Город — Москва. Век — двадцать первый. Женщина — писатель. После утреннего кофе, своей волей прекращая разговор с мужем, во время которого они и сердились друг на друга, и словом один другого ласкали, и компетенцию массировали, — так вот после обычного разговора, который может длиться часами: и до обеда, и до ужина, и сон, бывало, незаметно его прерывал, но не обрывал, — она заходит в комнату сына, включает компьютер, выкликает с рабочего стола файл «Four» и с радостью, которую у нее никто отнять не в силах, набирает первую фразу: «Теперь я знаю, что такое любовь... Любовь, которая движет...»

ТРИ ТОВАРИЩА, АГАША, СТАРИК

Типология нашего времени

Глава 1

А кто он есть? Он, Митя... Этот простой вопросец все чаще зависал в его журналистской голове, им же приученной мгновенно решать любые задачки. Бывало — очень и очень замысловатые. Если не получалось с наскока разгадать-выпутаться — тогда разрубал гордиев узел. Ничего не откладывал «на потом», не переводил в проблему, с которой надо жить. И вдруг — на тебе...

Тревожно часто, с комариной назойливостью пробивалось это «кто я?» сквозь нагромождение срочных встреч-работ.

Всякий раз, когда предлагали сделать-написать что-нибудь, Митя вмиг зажигался, мыслишки появлялись, пальцы сами собой начинали тюкать по клавишам. Вот оно — «руки просятся к перу, перо к бумаге...» в современной редакции. Слепую, не глядя на буквы, с детства печатал. Сверстники его копили или у родителей выпрашивали на велосипед-гитару, «Жигули» один одноклассник еще в школе водить научился, а Митя на рыжую пишмашинку-югославку сам заработал и с тех пор следил, чтобы под рукой всегда был самый современный прибор для подачи мыслей на бумагу.

Перепроизводство текстов ему не грозило — первое же школьное сочинение напечатали в стенгазете, и потом пошло-поехало... Куда пишет и зачем — всегда отчетливо

представлял. Подсознание нашептывало, что отказываться от возможности накопить куда-нибудь о чем-нибудь — ну никак нельзя. Почему? Да масса причин! Зарабатывать-то надо? Надо. И чем дальше живешь, тем больше денег требуется. А если гонорар мизерный или даже совсем не платят, то... То работа уж очень интересная... Или приятель просит, которому не откажешь... А у Мити все были приятели. Кроме завистников, которые из союзнической армии иногда целыми ротами сбегали в стан вражеской. (Черт, неужели всякая вражда, принципиально-идеологическая даже, с примитивной зависти начинается?..) Но враги ему никогда ничего и не предлагали. В общем, много оправданий мгновенно выскакивало — не оставалось времени о смысле своей суеты подумать.

Рюмка-другая была хорошим, надежным отгонщиком неприятной серьезности, но совсем спиваться как-то не тянуло, да и повадился проклятый вопрос залетать в голову утром, когда еще и глаз раскрыть не успел, а только-только смекнул, что вот — живу... И вместо того, чтобы радоваться, как раньше, самому бытию — его ведь могло и всегда может не быть, — пакостная такая мыслишка вползала, все отравляющая: зачем живу?

В тридцать три это началось, прямо в день рождения, а до того так называемое безоблачное счастье имело место. Как задним числом выяснилось.

Ну, не буквально без туч-облаков он здравствовал: климат — вещь объективная, фон это, на котором проходит жизнь человека, и пока ураган, землетрясение, наводнение не вырвутся на первый план, не станут главными действующими силами, на качество брэнного существования он если и влияет, то незаметно для тебя.

А какой фон жизненный был у Мити?.. Ровный, можно считать.

Отца у него не имелось — так ведь с тем он и родился. Когда во дворе узнал — пять лет ему уже тогда стукнуло, — что это не то чтобы стыдно или необычно (большинство в его детсадовской группе было из неполных семей), то «почему?» спросил у матери-учительницы только из бездумного детского любопытства. «Нет и не было!» — настолько резко ответила его строгая, никогда не сюсюкающая мать, так неожиданно грубо, что как отсекло — сам он больше никогда на эту тему не думал, и на любую насмешку, хоть чью, отвечал мгновенным ударом. Инстинкт срабатывал, не оставляя времени подумать-испугаться. Не себя защищал — мать. Малец, а почувствовал ее глубоко запрятанную боль-обиду.

Биться научился правильно: не вертеть башкой, не оглядываться, если оказывался вдруг в круговороте завязавшейся драки. Твердо знал, что наброситься могут только сзади, и всегда готов был к этому.

В карьере драчуна Митя вовремя остановился. Своего рода профессионалом стал, но профессионалом-защитником, а не агрессором — не поддавался-таки соблазну автоматически эксплуатировать новое умение, страшующее гордость от унижений.

Даже в армии, куда он загремел с журфака (не было там военной кафедры в те годы), на него никто руку не осмеливался поднять, пусть и был он тогда тощим шатеном с черными смородинами глаз и румянцем во всю щеку, по которой так и тянет вмазать. Цветная фотка в матросской форме и синей бескозырке у матери на комоде в рамочке стоит (насколько сейчас смотреть на нее приятнее, чем в зеркало), и видеозапись его интервью с питерским прозаиком сохранилась — служил он непыльно, в военной газете Балтфлота.

Так что и армейские годы пошли призывнику на пользу, и в учебе повезло: нашелся профессор, сделавший «осса-

же» ему, факультетской звезде. Причем осадил Маркелыч Митю не только психологически — этот простой трюк может освоить любой преподаватель, тут особого ума не требуется... И толку от словесной пощечины — чуть. Нет, на глубинном уровне началась борьба-дружба учителя и ученика. А там никакого значения не имеет, что профессор совсем не стар (даже не самому умному преподавателю долгий стаж придает некоторый блеск: шлифуется любой старый чурбан молодостью аудитории)... Неважно, что Митю уже многие в лицо узнают, а Маркелыч до сих пор известен только своими статьями-книгами. (Ну кто их теперь читает?! Сам профессор, в свежевывращенные усы посмеиваясь, рассказывал, как добродушная провинциальная сноха на голубом глазу его спросила-укорила: «Почему тебя по телевизору так редко показывают?») Не помещало и то, что учитель совсем не стремился сближаться.

Нячнутся некоторые со своими студентами — домой приглашают, книжками редкими снабжают, беседы душещипательные ведут, принимая настолько подробное участие в их жизни, что закрадывается подлая такая догадка: своей-то, наверное, нет — ни научной, ни личной. А как только вера в искренность становится нетверда, подобное общение начинает развращать молодняк.

Даже и интеллигентный народец разучился держаться на расстоянии — скоренько влезают в душу приглянувшегося незнакомца, пошуруют там, полакомятся тем, что с наскоку обнаружат, и сбегают, нисколько не заботясь — не порушили ли что безвозвратно... Маркелыч же ответственность чувствовал, сближаясь с любым человеком. И поэтому, старея, становился все осторожнее и одиночее... Со всем, правда, не одичал профессор: тянул его к новым людям природный демократизм. Не простой, плебейский, а культуркой отточенный демократизм дворянского типа.

Об этом даре Мите, мальчику начитанному, известно было, что раньше он по наследству передавался... Причем и тогда сохранить его удавалось только особо отмеченным. Некоторым, немногим... Новой элиты, способной своим отпрыскам завещать что-нибудь, кроме грязных баксов, еще просто нет в природе. Митя воспользовался возможностью духовного самозванства. В хорошем смысле. То есть так: объявляю, мол, себя наследником Достоевского там, Леонтьева или Бердяева и надеюсь это наследство у хаоса отсудить. Почему именно я? Потому что потрудился и освоил то ничейное пространство, которое высокопарно, и справедливо высокопарно, именуется материком мировой культуры.

Хотелось, конечно, перед посторонними Маркелычем похвалиться... Но как объяснишь, что за редкая птица его профессор... Общался-то Митя в основном с грубыми прагматиками, а они почитали только внешние регалии, конвертируемые в нечто материальное. У него и слов, неуязвимых для циничной иронии, не было, и времени никогда не хватало при его-то вечной спешке. Молчал он о своем учителе, и привязанность к Маркелычу как бы сохранила свою девственность, не была захватана словами, которые для журналиста только средство, средство общего пользования.

Благодаря этой неотрефлексированной, бескорыстной и естественной тяге Митя не терял профессора и когда сам окончил универ, и когда Маркелыч ушел оттуда, а потом, лет через десять, вернулся. Месяцами-годами они могли не встречаться, не перезваниваться, но читали друг друга сразу, как только попадался текст, подписанный знакомым именем.

За всей Митиной продукцией уследить, конечно, не было никакой возможности: он на всю катушку пользо-

вался навыком молниеносно приставлять слова друг к другу, и хотя бы по разу напечатался если не во всех отечественных периодических изданиях, то уж точно в каждом их подвиде. Перечислить? Ежедневные и еженедельные газеты, любые — желтые, бесцветные и яркие... Тонкие журнальчики типа «Нового времени»... Тонкие и толстые глянцевого журналы — еженедельный «Огонек», ежемесячная «Лиза», ежеквартальный «Харперс базар»... Интернет, прибежище коротких, неотрефлексированных мыслей... И, конечно, толстые литературные журналы — мостик, ведущий к написанию и изданию книг. Скорость — современная. Звонят из редакции. Пока тему говорят, Митя уже тюкать начинает. Сколько времени хорошей машинистке надо, чтобы готовое напечатать, столько и ему — чтобы свое записать. Свое, оригинальное и талантливое. Читать его было всегда интересно.

Маркелыч же по старинке мерил свои опусы именно книгами. Цельными и составленными из статей, за которые он брался по собственному почину или вынужденно, служа некоторое время в неплохо оплачиваемой газете. С азартом писал сам Маркелыч и единомышленников привлекал... Пока главный редактор не отказался от его услуг: слишком уж часто стали поговаривать, что читают еженедельник ради иронических литературных заметок.

Вот что наблюдал профессор: широкие, независтливые люди редко делают карьеру, редко становятся главными в какой-нибудь конторе. А ревнивцы так оберегают свой драгоценный трон, так изошряют свое зрение, что потенциального конкурента на дальних подступах углядывают и для безопасности своего сидения устраняют даже тех, кто ни сном, ни духом не собирався их подсиживать. По себе всех меряя, не подозревают, что есть и такие, кто властных амбиций начисто лишен или сознательно от них

отказался. Ну и в конце концов рубят сук, на котором сидят, то есть вредят тому процессу, которым заправляют. Губят свое же дело, но кресло, в котором они восседают, целехоньким под ними остается среди руин и развалин.

Конечно, всякий природный импульс, удерживающий двух людей рядом, истощается, если их связанность никакого практического смысла не имеет. Разумное оправдание сексуальной тяги — возможное сотворение семьи, а дружеская привязанность — она зачем?..

«Зачем тебе этот Маркелыч нужен?» — спросил как-то Митю телена начальник, которому он пытался объяснить, почему профессора стоит на ток-шоу пригласить. Сходу пришлось отвечать, ну и брякнулось что-то про камертон, который всегда можно использовать для настройки своих оценок. Не понял шеф, вычеркнул тогда Маркелыча из списка.

Журналистская профессия расшатывает шкалу ценностей, а Митю к тому же все сильнее вытягивало из культурной сферы в политическую. Туда, где скорые барыши — и моральные, и материальные — безвозвратно отбивают охоту к поиску чистоты-высоты-глубины, к попаданию в ту сказочную пещеру сокровищ, где только и дано каждому найти смысл своей, именно своей конкретной жизни...

Женился Митя поздно, если судить по паспортному штампу. А если по его собственному ощущению... Сразу после армии он стал заявляться в дом к Маркелычу с разными девушками, каждую представляя как свою жену, чем очень веселил дамское большинство профессорской семьи — улыбчивую супругу-ровесницу и смешливую дочь.

Ребенка. Школьницу. Студентку. Девушку... Агашей звать.

Ни разу бывший ученик не повторился, хотя, конечно, это не так уж поразительно, ведь промежутки между его

налетами порой составляли несколько лет. Маши-Даши-Наташи были разные — и скромные, скучно молчаливые, и нахальные хвастунишки, и даже закомплексованная училка, не поднимавшая глаз, приходила с ним. Уж на что красота — понятие расплывчатое, широкое, но у Мити насчет внешней привлекательности девиц, казалось, никаких ориентиров не было. Никакой системы, полное отсутствие какого-либо своего вкуса — и тут он безалаберно тратился, пробовал, исследовал.

Одна из Митиных литературных подружек попалась под горячую руку Маркелычу, отнюдь не добродушная ирония которого нашла тогда приют и применение в еженедельной газете. Хлестнул он юницу своим словом не только по податливому, квашнеобразному тексту, но и по упругой ягодице: «Шаловливые «Протоколы арбатских хитрецов» Милюшиной — типичная литературная самодеятельность. Что из того, что автору только девятнадцать? Возрастные льготы вундеркиндам так же недемократичны, как и льготы для литературных ветеранов: читателю важно только качество текста. Видал я в зарубежных городах афишки с женскими силуэтами и пометкой: «18 years», но изображены там были отнюдь не писательницы».

Когда Митя со смешком известил, что эта Милюшина — та самая дылда, с которой он в последний раз заявился, педагог только посетовал: «Учил же я вас, что при знакомстве надо по фамилии всех представлять...»

Куда только ни заводил Митю его расхристанный азарт! Оказывался он в центре бурь в стаканах воды, и не раз, но — уву! — никогда не был зачинщиком-режиссером очистительного, достоевского скандала. Только невольным участником, который от удивления глазами хлопает: во, влип! Не ожидал...

Даже в тюрьме он умудрился посидеть. Правда, не полимоновски целеустремленно, а дуриком попал.

Дуриком? За дело, так заявила его объективная матушка, спрошенная под телекамерой. «Я всегда боролась и буду бороться с ненормативной лексикой!» — глядя прямо в глазок «бетакама» сказала.

Маркелыч же, ни разу ни при ком вслух не выматерившийся, по собственной инициативе вступил в многочисленную армию защитников «юного» сквернословя. На суд пришел, письменное заключение дал — о том, что первоапрельское приложение к газете с концептуально-щедрым использованием богатств великого русского языка — это творческий смеховой эксперимент, действующий по принципу «подобное лечится подобным» и стратегически нацеленный на преодоление как пуризма, так и сквернословия. Наукообразное вранье это пропало втуне, его и к делу не приобщили — экспертизу-то суд не заказывал, и так всем все ясно было.

Честно признаться? Однообразно-скучная газетенка получилась. Единственное, что там интересно было почитать — это интервью с кинодраматургом, в сталинских лагерях отсидевшим.

А у Мити обошлось. За колючую проволоку его не упрятали. Осталось только блаженство от горячей ванны после двухдневного потного сидения-лежания в «обезьяннике» и довольно долго продержавшаяся слава пострадавшего за идею — уже почти через полгода знаменитый профессиональный рекламщик, по совместительству поэт-классик, на литературном вечере объявил: «Сейчас на эту сцену выйдет человек, только что покинувший тюремную камеру». Бурные, продолжительные аплодисменты Митя, конечно, не прервал правдивым уточнением, а его застенчивую ухмылку все понимаю-

щего умника невнимательная к нюансам толпа истолковала как скромность.

Рядовой мухлеж для того, кто к известности пробивается и хочет ее удержать. «Проехали и забыли», — сказал бы себе Митя, не будь рядом Ивана. Они втроем с того вечера в клуб ехали на Митином жигуленке. Иван, Леша и Митя — три ремарковских товарища, три французских мушкетера, три брата Достоевских. От всех понемножку. От всех времен, от всех наций... Брюнет, блондин и шатен.

Молчание Ивана, не осуждающее, не провоцирующее на отпор, а терпеливое какое-то, понуждало... Обратив очи зрачками внутрь, — так высокопарно Митя сам себе сказал. Для столь тонкой манипуляции у него своих слов не было — хорошо обученный, он обходился цитатами. От Маркелыча усвоил, что чужое слово, да еще и пафосное, при умелом использовании, ироническом то есть, ловко защищает от всегда возможных насмешек.

В самого себя вглядываться — непривычная, неудобная поза для человека не сомневающегося, а действующего, каким и был Митя. Рулить в таком положении опасно. Любому рискованно. И, не дожидаясь неприятных, болезненных выводов — что хорошего может рассмотреть в своей душе профессиональный журналист, сохранивший честность хотя бы по отношению к самому себе... — Митя не к себе прислушался, а к двигателю. Русское авто всегда подбросит повод для брани.

— Черт, трюит, кажется! Вы и представить не можете, сколько нервишек эта гребаная машина отнимает! Вот все мне талдычат: жиреешь-толстеешь. Один пожилой аутсайдер даже написал, что ряшка моя скоро в телевизоре перестанет помещаться — ха-ха! Но без толстой шкуры разве выживешь?

Глава 1

— В колорадского жука, смотри, не превратись, — меланхолично бормотнул Иван. Сказал и снова замолчал.

Опасный вредитель картофеля и других пасленовых с легкой Ивановой руки стал эвфемизмом, заменяющим целый трактат о том, что им всем троим ненавистно. Приговор это был прожорливым человекам-потребителям, которые только едят и размножаются, жрут и сладострастничают.

Это сравнение Ивану в голову пришло, когда они в три голоса порочный круг советского способа производства высмеивали: экскаваторы добывают руду, из нее плавят металл, чтобы эти самые экскаваторы делать, которыми опять добывают новую руду.. Сказка про белого бычка, ставшая былью...

Глава 2

В клуб приехали поздно. Заветный подвальчик в петербургском прямо-таки дворике московского центра уже и называть не надо было, когда по мобильникам о встрече сговаривались. Сперва-то, как только их триумвират составил, они перепробовали из любопытства много модных мест, но сердце успокоилось именно здесь, в клубе «У Зосимы».

Белые, неровно оштукатуренные стены, деревянные лавки и столы, покрытые белой эмалью, бюстик Достоевского из папье-маше, тоже белый — самый подходящий фон, как холст загрунтованный, на котором какую картину хочешь, такую и рисуй. Хоть буйное веселье, хоть тет-а-тет приватный, хоть молча сиди. Тогда белое на белом получится. Сейчас этот стиль минимализмом называется, а раньше, лет пятнадцать-двадцать тому назад сказали бы: бедность — не порок...

Так вот, приехали поздно.

Поздно — это когда? — флегматично уточнил бы Иван. Уже второй год нового века у него то и дело сбивалась даже нечеткая богемная шкала времени: случалось, и не раз, что спать он ложился в час или два. Не ночи — дня. И тогда бывало так, что встреча даже в двадцать два или двадцать

три — первое событие его начавшегося... как сказать? — не дня же, раз очнулся в двадцать ноль-ноль... — ну, начавшихся суток. Но и на такие грубые куски не делилось меси-во, в которое своевольно превратилась его жизнь...

Смотря для чего поздно, — усмехнулся про себя Митя. Очень даже подходящее время, чтобы намеченную секс-охоту продолжить... Как уж уговаривал он Лешку, неделю назад из Америки вернувшегося, хотя бы попробовать мил-дружка поддержать. Но тот (малыш! что с него взять!) только хлопал своими длинными ресницами, краснея, как недотрога какая-нибудь. И чего тут такого стыдного?

Сперва-то Митя поспорил с Иваном, что любую, какую тот укажет, с первого раза уложит в свою или ее постель. «Легко!» — вслух брякнул Митя. И правда, без проблем пару-тройку раз получилось. Скучно стало. И сам же предложил условия поменять: взялся найти такую, которая ему не сдастся. То есть по новым, парадоксальным условиям, выигрывал бутельмент, если отыщет стойкую, нелипучую девицу. Проверить захотелось — правда ли, что все нынешние двадцатилетки в койку без проблем проходят. (То, что они девственны в смысле культуры — удивляться не приходилось. На элементарные цитаты из авторов, которых в школе впаривают, как баран на новые ворота смотрели.)

Казалось бы — чего проще: схитри, не старайся слишком азартно ухаживать-охмурять, и — победил. Победил... Вот тут-то и была закавыка. Чувство чести, старинной, позапрошлоговековой (и однополой — на женщин оно не распространялось), скреплявшее единство трех товарищей, не позволяло Мите мухлевать даже подсознательно, от себя втайне.

А Иван — щедрый! — еще и фору дал: заранее оговорил, что кадрить можно не только в злчных местах, куда девуш-

ки приходят не сопротивляться — уступать. Библиотека, музеи, консерватория, то есть бастионы, где и стены помогают «базар фильтровать» — тоже разрешаются. Пожалуй-ста, открыто пользуйся всеми доступными средствами. Одевайся похуже... Подкатывайся к красотке лыка не вяжущим... Личину меняй — усы, например, сбрей или бородку приклей... Чтобы не узнавали круглую твою ряшку, сияющую регулярно в московской народной программе и время от времени (жаль, не так часто, как хотелось бы) приглашаемую на некоторые общесоюзные каналы, для того чтобы публично порассуждать о... Пытаться составить перечень тех тем, по которым Митя уже выступал или мог бы сказать нечто нетривиальное, — все равно что миргородскую лужу ложкой вычерпывать. Как безбрежна она, так и у этого списка нет границ: по любому вопросу у энергичного, сверхбыстро соображающего журналиста было свое мнение, вполне компетентное и безусловно интересное среднему телезрителю. (Эта новая профессия — у включенного ящика дневать и ночевать — привлекает только заурядных людей.)

— Да что же они так быстро сдаются! — приобняв Лешку за плечи, всерьез огорчился Митя или нет, после пяти кружек «будвайзера» уже неважно.

На скамейке не больно развалишься, но ноги-то вытянуть можно. Митина разношенная кроссовка нечаянно толкнула под столом тщательно начищенный, рояльно-черный ботинок Ивана. И какая реакция? Да никакой. Не вздрогнул, не рассердился эстет, ногу не поджал. Только немного погодя спокойно, без раздражения отодвинулся вправо вместе со своим стулом.

Умение владеть собой было выдано Ивану от рождения — вместе с высоким ростом, черными послушными волосами, правильным, чуть вытянутым лицом с почти греческими пропорциями... А без этого навыка он бы про-

сто не выжил — даже если и не всматриваться внимательно в его карие глаза, все равно почувствуешь излучение драматизма, оттуда идущее. Поэтому, наверно, красавчиком — для настоящего мужчины это обидно? — его никто не обзывал.

— Мозги свои включи, — бормотнул Иван, рассеянно глядя по сторонам. — Если осталось у тебя там еще что-то целое, журналистским цинизмом не траченное. Научно подойди — начни типологию бабцов создавать. Может, тогда уразумеешь что-нибудь, алгоритм сопротивления вычислишь. А то уж и не знаю, сколько придется ждать, пока дряхлость старческая съест твою хваленую неотразимость. — Он хмуро глотнул минералку прямо из пластиковой чекушки, соображая, где бы сейчас, ночью, достать свежие фактики про автора «Двух капитанов», столетие которого надо было отметить в еженедельнике, с недавних пор его приютившего. Ничего вокруг на мысль не наводило. Туговато со свежачком. И в журналистике, и в жизни. Легче Митьке помочь... — Вон, в углу, две герлы по сторонам глазками вроде бы совсем не стреляют. То ли друг другом так увлечены, то ли просто малышня несозревшая. Проверишь, может?

— А вдруг они лесбиянки? Это у вас считается? — Леша съехал на край своей скамейки, чтобы заглянуть в лицо одной из барышень, сидящей к нему прямой спиной. Что-то знакомое мелькнуло в ее повадке.

Вот она отвернулась в противоположную от них сторону.. Вот расплывается с официанткой... Вот, не торопясь, с ленцой выбившуюся прядь прячет под узорную косынку, надвинутую до бровей... Рыжая или нет? Не успел разглядеть.

Они уже уходят. Услышали бы, что про них Леша сказал, рассердились бы, конечно. И напрасно. Как у многих мальчиков (мальчик? в двадцать семь-то лет? да хоть сколько! мужчинами ответственными отнюдь не все старики ус-

Три товарища, Агаша, старик

пели побыть...), под защитной коростой грубоватости Лешина душа скрывала... Что? Осторожно отколупните любую коросту и что увидите? Розовую нежность. Она там и была. Саднит ее, поверхность эту, даже от доброй, неагрессивной иронии умной, более опытной — пусть только интуитивно — особы другого пола. Вот заранее и защищаются мальцы, кто как умеет.

Циником притвориться — самый расхожий прием. И не нужно сразу, не разобравшись, обижаться на случайно долетевшие до вас грязноватые брызги трепы. Грешат этим все однородные компании, хоть мужские, хоть женские, особенно по молодости лет, особенно когда надо доказать старшим товарищам свою взрослость.

Митя же с Иваном азартно принялись обсуждать-обгладывать так, для разговора подброшенную Лешей кость. И очевидно стало (только не им очевидно) — теоретическая дискуссия на тему сексуальной ориентации захватывает их уж во всяком случае не меньше, чем практический кадреж.

Проговорили они до закрытия клуба, но ни к какому внятному решению, конечно, не пришли — застряли в самом начале, обдумывая, может ли гипотетически существовать в природе молодая стопроцентная мужененавистница? Отчаявшиеся матроны, пострадавшие от мужского эгоизма, — ясно, бывают. Но кого интересуют старухи? Извращенцами они, такие разные, не были.

Глава 3

Мрачностью своей, словно бастионом, Иван был отгорожен от соблазнов всяких. И не таких красавцев, как он, уносил поток влюбленных в них девочек-девушек-женщин в сторону от единственного пути. В сторону тщеславия, сребролюбия, самоупоения. Историк по диплому, все больше превращался он в философа, то есть отвлеченного мыслителя, бесполезного для самого себя: жил как придется. Даже не плыл по течению, а на берегу сидел и смотрел на это течение. Созерцал...

Знал, конечно, что и у такого бездействия цель бывает — хоть эта, например, китайской мудростью сформулированная: трупа своего врага можно дожидаться. Но Иван ни кому не испытывал столь сильного, страстного чувства, как ненависть. Брезгливость — да, вызывали ее бывшие тещь и теща, но не желал он им погибели даже в сердцах и про себя, когда будто никто и не слышит. (Не бывает, чтобы никто — это он, в младенчестве крещеный, чувствовал.)

Жил, разлученный с трех-, четырех-, теперь уже пятилетней кудрявой дочерью, по-мужски претерпевая это лишение, вычитание из жизни. Упускал из вида, как большинство «настоящих мужчин», что беспощадность по отношению к себе требует компенсации и незаметно — даже

и совестливый человек это может прозевать, — начинает уравниваться жестокостью по отношению к другим.

Полгода уже он звонкого «папочка» не слышал — никак не мог заставить себя набрать тещин номер, по которому в последний раз его обидно, будто муху докучливую, отогнали. Унижение это он ставил без ответа, потому что было оно только интонационное, а не словесное. Слова-то как раз были самые обыкновенные: «Манечка сейчас к телефону подойти не может, с учителем занимается».

Прямо-таки Достоевский подтекст прочитал Иван в элементарной с виду фразе. Так и звучал в ушах внутренний монолог родителей бывшей жены, отпарировать который ему ни разу возможности не дали. Люди они были якобы интеллигентные и претензии свои при себе держали, ничего ему в лицо не говоря.

Откуда он об их происках узнал? Да жена, тогда еще в него влюбленная, простодушно выболтала, как сопротивлялись они их свадьбе. Когда уже Манечка родилась, открылось, что не пришел тесть на брачную церемонию отнюдь не по болезни, а принципиально отставной полковник не пожаловал, в знак протеста. Ну и пусть! — решил Иван. Я их тоже не полюбил. Об отношениях думать? Не мужское это дело.

Отмахнулся от неприязни стариковской. (Старику тогда пятьдесят лет было — опять Достоевских времен шкала. Теперь-то с полтинника жизнь совсем по-юношески заново может начаться.) И вникать не стал зять в причины тестевой антипатии, ведь думалось — что для таких людей главное? Деньги, конечно. А у него как раз в пору жениховства они имели место. Он иногда и не знал, куда пачки долларов девать, вместе с носовым платком вываливались зеленоватые бумажки из карманов. Где брал? Университетские приятели занялись торговлей молдавским каберне и

его вовлекли. Сперва все попотели, ящики тяжелые потаскали, а потом, когда развернулись по-настоящему, то ничего, тяжелее бокала с пристойным вином, поднимать не приходилось.

Рухнуло все в один миг. Неожиданно для наивных бизнесменов-романтиков. Не успели они добраться до страстного ядра планеты денег, только прикоснувшись к которому можно на чувственном уровне понять, как управляться с этим опасным веществом, сплавленным отныне с металлом политической власти. А умозрительное, сколь угодно подробное рассудочное знание тут от бед застраховать не может. Без интуиции нельзя ничего создать в высоком искусстве бизнеса. Ведь деньги в нем — это абстрактная сущность, а хрустящие бумажки — только побочный продукт жизнедеятельности, на который, конечно, приобретаются удобства, но если с тем самым ядром, с желтком финансового яйца не соприкасаешься, то всю благоприобретенную роскошь может уничтожить даже самое слабое экономическое землетрясение. Случился же августовский дефолт.

И враз пришлось няню рассчитать, квартиру новую продать, к тестю с тещей переехать, чтобы за Манечкой присмотр был. И радоваться еще, что долги остались только дружеские — хоть и пятизначной цифрой обозначенные, но для жизни пока не опасные. Для физической жизни, не для супружеской.

Вот когда чужесть тестя с тещей откликнулась...

В трехкомнатном жилище Ивану все чаще стало не хватать места: то к жене ученики пришли (она нормально стала зарабатывать уроками английского-французского), то к дочери учительница музыки... И все это должно было ютиться в их тесной, заставленной спальне, где даже тонкую папочку ноутбука, вынесенную с развалин недолгого

успеха, приходилось засовывать в расселину между стеной и пианино. А уж изготовлять тексты на таком, с позволения сказать, рабочем месте можно было только, когда кровать ужималась до диванного состояния. Пристраиваться приходилось бочком, справа — так, чтобы шнур дотягивался до единственной розетки.

Родительская же половина, то есть три четверти жилплощади, если по квадратным метрам считать, — неприкосновенна. Без отдыха работает телящик в бессмысленной гостиной (родной дочери ни разу не разрешили никого пригласить, о зяте что ж и заикаться...). Заставлена она сервантами с хрусталем, полированными столами-комодами из древесно-стружечных плит. Пол и стены укрыты синтетическими коврами, выдающими себя за персидские, — декорация построена из символов советской роскоши, за которые держатся те, кто не сумел зацепиться за реальную жизнь.

В двухоконной, просторной родительской спальне с недавних пор появилось новое святилище — двухтумбовый письменный стол. Для *работы*. У поколения семидесятников это слово имеет какой-то мифический смысл, вникать в который не позволялось никому постороннему, даже детям. Ну, раньше-то хоть понятно было, что скрывать — вперемешку с официальными диссертациями и статьями столько всякого самиздата писали-печатали-читали. Таинственностью, конспирацией близких защищали и от врагов оборонялись. Но теперь зачем? Какие такие секреты могут быть у отставника, пристроившегося завхозом в аграрном университете?.. Пусть называется его должность помпезно — проректор по административно-хозяйственным вопросам.

Оставалась ночная кухня, где Иван и начал мало-помалу сочинять для Манечки краткий курс истории. Зачем

и почему? Девочка нетипичная уродилась: сказочной фантастике предпочитала истории про реальных людей. Сперва попробовал молодой папаша школьный учебник малышке вслух почитать — тошно самому стало от тамошнего вранья. Если бы только идеологического... Его-то раскусить — не бином Ньютона. Во все времена достаточно одного хорошего наставника — в семье ли, во дворе ли, в школе-институте — и быстро обучаешься между строк читать и истину разглядывать. Так нет же, в книжке той ошибка на ошибке теснились еще и по небрежности, от глупости и невежества авторов.

Приноровился Иван к ночной жизни, примирила она его с дневной, в которой тоже все как-то само собой устроилось: на очередной встрече однокурсников поговорил с завкафедрой о своем учебнике, и она его в аспирантуру к себе позвала. Так что с социальным статусом, страхующим семейный покой, все было в полном порядке, а материально даже тесть согласился помогать: учись только. Вот она, добрая советская закалка — образование ценно само по себе. Неважно, что кругом полно нищих ученых... Их дочь будет профессорша... Иван стал чувствовать себя обманщиком, хотя не лгал своякам ни разу — не обещал ни диссертацию защитить, ни карьеру сделать... Что там еще у колорадских жуков ценностью считается? Не врал, а все равно чувство неудобства росло...

Неожиданным и в то же время пошлым образом все кончилось.

Как-то в полночь о Екатерине он писал и нет-нет, а про Манечку думал: как бы в ней не появилась та властность, что женственность калечит. Жена уж слишком в эту сторону тянет. Мыслями далеко отлетел, и вдруг стон-всхлип тишину прорвал. Решил — показалось. Но нет, звук повторился, да так громко!.. Вскочил, в свою комнату метнул-

ся — дочка тихо посапывает, жена ровно дышит. Послышалось? Нет, стон вернулся, как зубная боль. Со стариками что-то? Рванулся к ним, а там — абсолютно голые тела, лоснящиеся при луне. Бесстыдно сплелись... Насекомым — сладострастье...

Эпизод, в сущности, пустяковый, а не смог он больше в глаза тестю и теще смотреть. Спать под одной крышей невозможно стало... И жене свою брезгливость как объяснишь?

Умолчание трещину моментально превращает в пропасть. Тогда-то и вспомнились ему колорадские жуки, вмиг уничтожившие картофельное поле, возле которого их военные казармы стояли. Тесть словно специально тем утром приоделся — вышел к завтраку в новой шелковой пижаме в черно-желтую, как жучиное брюшко, полоску. И у тещи из-под летнего халата высывались ярко-розовые кружева ночной рубашки. Будто крылышки нахального насекомого.

Помаялся Иван. Поуговаривал себя — ну что уж такого страшного стряслось... Взрослые же люди... Но если всякий раз от одного запаха тещиной «шанели» тошнота к горлу подступает, то сколько ни сжимай губы — все равно вырвет.

Терпел, терпел... И как-то вечером, не закусывая, булькнул в себя поллитровку «Гжелки», и вон из чертогов... Проснулся в березняке возле материного дома — недалеко ушел. Голова гудит — спал-то на ноутбуке вместо подушки. Июнь месяц, а замерз... Который час? Посмотрел на запястье левой руки — пятно какое-то расплылось перед глазами. Поднес руку к самому носу — опять непонятно... Головой мотнул, зажмурился, снова посмотрел и только тогда сообразил, что часов-то нет... Украли! Командирские, противоударные, водонепроницаемые, с двумя

циферблатами. Митька перед дембелем навестить приехал и свои отдал. Как брату.

От злобы в глазах потемнело, а уж мозги, наверное, совсем набекрень завернулись, раз в милицию жаловаться потащился. Дома потом в зеркале от себя отшатнулся: белая майка вся в желтых подтеках, из волос хвойные иголки никак не вычесать. Боком повернулся — на джинсах сзади мокрое, стыдное пятно: попой на влажный мшаник улегся... Мильтонам отличное развлечение было в самую рань... Да еще протокол требовал составить.

«Ах, протокол?! — расхохотался начальник лысый, по виду — ровесник. — Ваши документы? — спросил, инквизиторски унижая своим «вы». — Ах, нет? Пиши, сержант: задержан неизвестный, без определенного места жительства, в руках переносной компьютер. Видимо, краденый... До выяснения личности посиди-ка, раз такой правильный...»

Хорошо хоть удержался Иван, в драку не полез, когда в клетку заталкивали. Изувечить запросто могли. Не со зла — для забавы. Украдкой матери позвонил по мобильнику, который в кармане брюк от воров спрятался. Она уже через полчаса с паспортом прибежала. Отпустили.

Залег Иван хоть и в тесную, но родную берлогу. Как всегда в экстремальных ситуациях делал. Жена промолчала, и даже через месяц вернуться не потребовала, а Маню на лето в Крым увезли — так и отделились.

Осенью, когда возвращал дочку после киношки, она с гордостью постучала своим маленьким кулачком по капоту стоявшего у их подъезда черного джипа: «Вот у нас теперь какая бибика!»

Это детское словечко сверкнуло во весь экран, как титр «конец». Оно и разогнало туман неопределенности, в котором его душа металась.

Глава 4

Леша же, сочувствуя товарищу, подозревал за мрачностью, молчаливостью Ивана такие глубокие страдания, которые, если не поделиться ими с кем-нибудь, разорвать на части могут... По себе мерил. Ведь даже ему, постороннему, так горько не хватает ежесубботного прохода по пешеходной филевской набережной, когда Манечка весело так мельтешит — то далеко вперед ушмыгнет, то отстанет. То молчит, то щебечет. Вопросами своими, как неожиданными аккордами, всегда кстати перебивает монотонность абстрактного мужского спора или конкретного молчаливого созерцания утинового выводка, плывущего вдоль берега.

Каково же Ивану?

В начале зимы удалось вытащить товарища на прогулку, но с первых шагов, как только начали вдвоем, без Манечки, спускаться к реке по скользкому склону, и до Леши дошло, что этот маршрут надолго зарос для них обоих непроходимыми воспоминаниями, то и дело наносящими опасные ссадины. Придется обходить его стороной и, может быть, экология сама собой восстановится: природные силы и время, если им не сопротивляться, оживляют и не такие зараженные пространства.

Опять... Ничем помочь нельзя...

Сколько раз надо с болью пережить это свое бессилие, чтобы прекратить, наконец, бессмысленные попытки? Риторический вопрос не имеет ответа. Но не самый же глупый он, Леша, человек... Про будущее, конечно, ничего арифметически-простого не предскажешь, а вот в прошлом-то, в прошлом можно сосчитать, сколько важных раз он потерпел фиаско?

Первого сентября, когда после привычной перебранки родители, суетливо потолкавшись, схватили единственного своего сына за руки и повели в первый класс, запомнилось, как растопырили они его — каждый тянул в свою сторону, да мама еще все время вперед забегала. В тот момент удалось удержать их, но откуда у семилетнего ребенка возьмутся силенки для многолетней, изощренной борьбы?

Мама в тот же год пошла учиться — второе образование в университете получать, искусствоведческое. Если она не на лекциях, то, значит, на этюдах... Или листает в Иностранке толстые гляцевые фолианты — заучивает великие картины. Отец ей служил, не рассуждая. Леше тогда ревниво казалось, что о нем он так старательно заботится затем только, чтобы матери угодить.

А она все равно сбежала, согласившись и на ультиматум: сына с собой не забирать, с отцом оставить, и на обмен трехкомнатного кооператива, ни с какой точки зрения не справедливый: отставленным — отдельная двухкомнатка (не ради нее ли был отцовский ультиматум, подловато так думалось Леше в черные минуты...), ей самой — четырнадцатиметровая кишка с одним окном. В коммуналке, на первом этаже. Метро «Спортивная».

Мать, домашняя девочка, представления не имела, что это такое — общая кухня с тараканами и вечно заляпанной супами-кашами газовой плитой, ванна с давно замоченным и уже подванивающим бельем, постоянно журчащий сор-

тир с заткнутыми за трубу оборвышами газеты на подтирку (рулон туалетной бумаги сразу стащили, хочешь — с собой приноси всякий раз). Шок от принудительного ежедневного общения с соседями у нее так и не прошел, но ни разу потом она не пожаловалась на судьбу. И Леша, словно загипнотизированный материнским талантом, одетым в броские, свободные одежды богемности, никогда, даже в самые свои беспросветные дни, ее не осуждал.

На отца — что было, то было — роптал. Оправдать свою агрессивность по отношению к родителю — не бином Ньютона, любой сумеет, тем более что Леше было, куда свою природную доброту направить. На мать, конечно. Лет десять она писала свои отчаянные пятнисто-цветные картины. Без какой-либо поддержки и признания. Не считать же за успех то обожание, которым ее окружил и опьянил второй муж, искусствовед, старик, прописанный ею в ту самую комнатенку. Ревнивый взгляд оставленного и оттого еще больше любящего, болезненно привязанного сына с легкостью не замечал того единственно-незаменимого, что получила мамочка от своего бездомного, неопрятно-бородатого Пигмалиона.

Вера художника в себя начинает расти с маленького первоначального капиталца, который дает честное и решительное одобрение настоящего понимающего. Даже если это андеграундный художник без идейных спекуляций, авторитетный лишь в кругу трех-четырех знатоков. Даже если он, соединив две страсти — к искусству и к женщине, становится мужем творческой личности и по сей причине теряет статус объективного судьи.

Юродивым казался Леше второй муж матери. Зачем он ей? — думалось... Вериги какие-то...

А вот свою собственную помощь, которая очень часто творилась руками отца, он по-детски преувеличивал. Сто-

ило только заикнуться о материнских проблемах (краски-кисти-холсты добыть, картины на выставку привезти-увезти, в хорошую больницу устроить отчима, которого тогда первый инсульт разбил), стоило проговориться нечаянно, как отец бросался на выручку, приноравливая к этим услугам свою службу, свою новую жену, свои заработки и свое здоровье.

Без денег, без успеха, необходимого, чтобы жить-выживать, мать работала. Как будто знала, что будет какое-нибудь «вдруг»...

И правда, ей вдруг перепало от безответственной приязни мирового сообщества к новой якобы России — пригласили выставиться за границей, потом еще, и еще раз, а потом она осела в Германии. Отец по совместительству с основной работой по заботе о Леше стал российским ее представителем — на общественных или, точнее сказать, личных началах. Все житейские проблемы бывшей супруги умудрялся решать. Даже те, что требовали персонального присутствия матери, которая не могла себя заставить хоть на день вернуться туда, где столько всего она перетерпела. Память о многолетних мытарствах притупила, пригасила у художницы тягу к родной земле. (Но не уничтожила. Всякая природная связь может восстановиться. Если не поторапливать. Мать и не спешила...)

Бумаги для развода со вторым мужем тоже первый собирал. Когда старик голодал — не было у него простых физических сил искать приработок к пенсии, уходящей на квартплату и лекарства, — Леша с отцом по очереди еду ему приносили. И когда он вдруг пропал, то милицию на ноги только они и подняли: на улице, по дороге к врачу тот умер, как бомж, — документы с собой взять позабыл.

И снова Леша в душе осудил отца — за то, что тот вовремя подсуетился и очень удачно сумел продать оставшуюся

комнату. Мать отказалась от наследства в пользу сына, хотя у самой денег — ни пфенига, кошелька своего даже не было. Немецкий муж-искусствовед (богач лишь с точки зрения советской уравниловки) столько тратил на нерентабельное ее искусство, что она и колготки лишние себе покупать стеснялась.

Но все-таки каждый год сына к себе звала. А чтобы он не скучал в маленьком северном городке, где они жили, подгадывала к его приезду поездки по всей большой, но все же компактной Западной Европе — то в Венецию на биеннале, то в Краков-Париж-Цюрих на вернисажи своих выставок. На трех языках Леша стал говорить, не спотыкаясь, — на мехмате английский был основным, а французский с немецким он самоуком освоил. Да и способности сказались, открывшиеся благодаря необходимости: без поводыря больше нравилось шляться по незнакомым местам.

Тогда-то и понял Леша, что не надо трусить. Перестал обходить стороной воображаемые трудности. И сам себе удивлялся — сколько нового в нем самом открывалось... Да, права мать: неисчерпаемый кладезь возможностей — вот что такое простой, обычный человек. Сочетание раскрытых и использованных талантов — вот что такое индивидуальность. И гения, наверно, каждый в себе может открыть?

Тесно стало с отцом жить, и не в пространстве совсем дело. Леша владел отдельной комнатой с полным бытовым обслуживанием и ничем не ограниченной свободой: вставал-ложился, когда хотел, музыку свою слушал в любое время дня и ночи, привести мог кого угодно. Отец с тихой, терпеливой мачехой сносили и подростковое его хамство, и угрюмое молчание...

В чем же тогда причина Лешиной неприязни? Как это обозначить? Стыдно мещанством обзывать заботу о тебе

самоотверженную... (Тем более, что тот, кто себя отвергает, может суметь себя же найти: служение другому — это, как ни парадоксально сие звучит, и есть предназначение многих. Если не всех вообще!)

Однако же добрый Леша, не утруждая себя глубокими раздумьями, причислил отца к Иванову ведомству «колорадских жуков». (Не в себе же родовые недостатки искоренять.) Раз — и лихо выставил за скобки отцову человеческую теплоту, рациональному объяснению не поддающуюся. Математические скобки упрощают реальную жизнь. Ошибку и не заметишь... Тем страннее, что отцовские чувства даже на градус никогда не похолодали. (В то же время любой звонок матери-кукушки, пусть с просьбой утомительной, радовал отпрыска.) Да нет, ничего странного... Поддерживается она, эта теплота, благодаря чистому топливу бескорыстной любви.

На пятом курсе объявили набор в Бостонскую аспирантуру — и сбежал Леша в Америку.

Почему-то самую простую, примитивную даже истину — от себя не убежишь — всякий осваивает на своем опыте. Метались тогда и мужчины, и женщины. Молодые и старые... Кто из семьи уходил — родительской или самим созданной, кто покидал деревню-город-страну-континент. А ведь даже в книгу-спектакль-фильм от себя убежать нельзя, страница-сцена-экран превращаются в зеркало, в котором себя лишь видишь... Но не каждый успевает понять, что вся эта заграница — одна фантазия, и все мы, за границей — одна фантазия...

В восьмидесятые годы, когда все уехавшие скопом, без разбирательства, счастливыми считались, и чтобы соответствовать этому рангу, победные отчеты родственникам-знакомым на родину слали (подвирая, фотографировались, типа, у чужого кадиллака, выдавая его за свой) — Лешина

Три товарища, Агаша, старик

тамошняя жизнь показалась бы суперуспешной: его сразу же признали блестящим математиком и предложили не столько учиться, сколько учить. На хорошую зарплату он и квартиру снял, и поездить по Америке смог, и ел-одевался, как и сколько хотел.

Но одно дело моментальный снимок, совсем другое — череда часов-дней-месяцев со студентами-оболтусами, которые в Москве не только в университет не поступили бы, да их из математической школы в два счета бы вытурили. И это бы можно стерпеть: настоящий кайф от службы, деньги хорошие приносящей, — большая редкость во все эпохи и во всех странах. И пусть рутинная по времени занимает большую и даже большую часть жизни, но по сути — это только материальная оболочка, которую можно заполнить душевно-телесной теплотой, в России прагматизмом еще не уничтоженной.

Без нее, без соучастия другого в своей жизни, замерзал Леша в жаркой Америке. Без отцовского соучастия — неосознанно, а по Ивану-Митьке скучал нестерпимо, хотя и появились они на его орбите всего за год до побега.

Глава 5

Как это было тогда, до Америки?

Пессимистическое всезнайство — «а, ничего хорошего из этого все равно не выйдет, так и пытаться не стоит» — вот та якобы непреодолимая плотина, которая жизнь в вязкую, приставучую тощищу превращает. Когда ничего не любопытно — это беда настоящая. Не миновал ее Леша. Не заметил, как затянуло его в пучину безразличия, пассивности уже не нравственной, а почти что психопатологической. Отец на помощь бросился, мать подключил. Академический отпуск, врачи-таблетки правильные... Забота любовная, а не контроль мелочный... Только все это вместе вынесло его тогда из омута.

Как-то после лекций, когда в очередной раз подкатывало тревожное волнение — беспричинное и поэтому никакими самоговорами не остановимое — заглянул Леша на факультатив по современной истории. Прочитал на мехматовской доске объявлений листок, отпечатанный на цветном принтере, и потопал из недавно почищенной, поскобленной, на торт похожей высотки МГУ в убогонькую коробку гуманитарных факультетов.

Построенная в начале семидесятых по гостиничному проекту, переделанному на скорую руку, одиннадцатизэтаж-

ка эта казалась сперва очень продвинутой, модной. Так в свое время шиком считался всякий разный ширпотреб — полированная мебель из дэ-эс-пэ, стандартные эстампы с городскими пейзажами, напольные керамические вазы... Но типовая модность устареваает моментально — всего это правило касается, не только одежды, но и мыслей, стилей, художественных направлений... Длинные темные коридоры истфака тоску наводили, а маленькие аудитории смахивали на тюремные камеры, особенно в летнюю жару, когда от духоты в обморок падали и недужные преподаватели, и свежие студенты.

Вот так — из праздного, ни к какой практической цели не ведущего любопытства попал Леша на занятие, которое тогда вел Иван, выполняя аспирантскую педагогическую нагрузку.

И правильно — для себя — поступил. Подумать только, сколько простых импульсов каждый день пропускает не в меру целеустремленный человек. Ненароком отсекает от ствола своей жизни и те ветви, которые именно ему могли дать самые вкусные плоды. Хочется — хватайте яблоко, протянутое случайным попутчиком-попутчицей, знакомьтесь... Дочитайте книжку, хотя бы один абзац которой вас к себе влечет... В поездку сейчас же отправляйтесь, если подмывает с места тронуться... Что дальше — уже не только от вас начинает зависеть. В праздной бесцельности может праздник таиться! (Наивно? Посмейтесь, но не заноситесь. Высокомерие может быть противоядием, но может убить не вредное, а полезное, не дать уму впитать нужные ему мысли-наблюдения...)

На первом же занятии пришлый, явно нетутошный, неистфаковский бугай с темными усиками, обрамляющими пухлые губы, как лабрекен окно, вцепился в хмурого лектора, бесцеремонно «тыкая», «Ваньком» называя. То,

как спокойно тот реагировал на наскоки, поразило Лешу. Он уже не к сути спора прислушивался, а старался понять, откуда такое самообладание человек берет. Промелькнуло даже в голове: вот пойму, да и сам таким стану...

Украдкой стал вглядываться в лицо Ивана, ни разу со стула своего не вставшего. Как пристроился тот на дерматиновом стуле не за преподавательским столом, а возле, вплотную к первой парте с двумя самыми умноглазыми девушками, — так весь академический час с места не сдвинулся. Руками не размахивал, только кончик носа иногда своими тонкими пальцами теребил. Блока-мелонхолика на знаменитой фотке лектор напоминал. Непонятное сравнение для современного телезрителя? На Киану Ривза еще Иван был похож. Это яснее?

Когда в аудиторию стали заглядывать вечерники, у которых по расписанию тут были следующие занятия, Митя (а он и был тем спорщиком) предложил всем, кто хочет, в клуб «У Зосимы» перебраться.

Леша еще как захотел. Смелости у него, совсем не нахального, хватило рядом с водителем в синюю «девятку» плюхнуться. За рулем Митя был. Вертелся он все время — и по дороге опасно поворачивался к сидящему сзади Ивану, вступаясь за нынешнюю, правильно прагматичную, по его словам, власть, и в клубе чуть шаткий столик не опрокинул, защищая уже себя от подозрений в сервильности. Следующему за ними поколению, тем, кто и Леши лет на семь-десять моложе, уже непонятно, кажется, что ж тут плохого... Неведома им истина советского времени, что начальство, любое, — хоть ближайшее к тебе, хоть такое далекое, как кремлевское, — нельзя хвалить, неблагородно это. Считалось тогда, что быть в оппозиции — красиво, в стороне держаться — мудро, служить — невозможно, а прислуживать — подло.

При Леше, совсем незнакомом им студентике, говорили оба так захватывающе свободно, что ему обидно, жалко стало быть посторонним. Из темного зала, в котором сидел он зрителем незаметным, к ним на сцену захотелось. Сосредоточился Леша, изготавился для прыжка. И дождался своего часа.

Митя как раз с гордостью перечислял достоинства нынешнего преемника. Будто о своих собственных заслугах говорил: и по-немецки, мол, тот свободно балакает, и по-английски несколько фраз подряд нанизывать научился, и главному американскому ковбою в рот не смотрит, и по-хамски не рычит на него... Тут-то Леша и сумел вклиниться. Красное словцо, ради которого он нечаянно не пожалел на царском троне восседающего, прозвучало отчетливо, громко, как в школьном драмкружке научили:

— «Теперь коллежский он ассессор по части иностранных дел»...

И чем больше внутри все сжималось от испуга — ведь пушкинская цитата уж ни в коем случае не была хвалебной одой, тем задиристее смотрел. Пусть не плотину, пусть только бревнышко, но осмелился положить поперек Митиного потока славословий. Совсем же парня этого не знает... Из-за фразы, конечно, не бьют в морду, но все равно... Вдруг он из тех, кто кулаками стирает разницу между невежеством и знанием? Да нет, драться лезут только те, у кого никаких аргументов нет, кто готовые лозунги по чьей-нибудь указке скандирует. Заплатят другие — и они, ничтоже сумняшеся, с таким же пылом, пару башмаков не износив, станут сегодня защищать то, против чего вчера сражались.

Да, впервые, пожалуй, появился шанс быть битым за политику, о которой Леша, если честно, всерьез просто не думал. Либеральные взгляды были фоном его жизни, ко-

торый как-то и не влекло подробно рассматривать. По примеру отца страхуясь от крушений-наездов, он даже и не из осторожности, а инстинктивно, не вникая особо, соблюдал дистанцию по отношению к любой власти — конкретно, был более чем осторожен со старостой класса, с участковым милиционером, с деканом факультета, и абстрактно — вообще не думал о мэрах-министрах-политиках. Высокомерно считал: что мне Гекуба, и, защищая свое самолюбие, гипертрофированное одиночеством, никогда не задумывался — что я Гекубе.

— Хм, на Александра Первого намекаешь... — Иван, не надкусив, вернул в общую деревяшку ломоть черного хлеба, поднесенный ко рту, и впервые встретился своими карими глазами с Лешиными голубыми. Забыл о еде.

Оба выдержали проверочные взгляды, которые значимы без слов (а ими, словами разными, любое сомнение и даже ложь можно хитренько так превратить в противоположность, вами желаемую). Чувствительный человек посмотрит «остреньким», розановским глазком и сразу поймет, есть ли между вами хотя бы возможность взаимности. Взаимная любовь-дружба — это вершина, но ценен и единственный разговор, когда идеи-знания не параллельно демонстрируются, а сплетаются, чтобы новую мысль родить, неожиданную для обоих собеседников. И кто мать, кто отец нового духовного эмбриончика — вычислять рассудочно не хочется.

— Нет, сравнение твое хромает... Наш не такой простодушный... — Иван закурил и, глубоко затянувшись, немного помолчал.

Только час назад, с кафедры, он утверждал, что профессионал в политике прежде всего вынужден уничтожить в себе всякую чувствительность, хладнокровным евнухом должен стать с точки зрения человечности. И вдруг, про-

тивореча себе, сам же и съехал с прагматической колеи на поле морали-нравственности. Пашню эту, сколько бы ее ни вспахивали другие — хоть Толстые-Достоевские, хоть Фрейды с Юнгами, — все равно каждый должен сам обрабатывать, если хочет свой урожай снять.

Леша его столкнул:

— Не думаю, чтоб наш главный мог сдружиться с Наполеоном. Чутье разведчика ему бы подсказало, что тот потом нападет на Россию... И не такой он коварный, надеюсь, как Сталин в тандеме с Гитлером...

Впервые Леша включился в разговор, современную политику задевающий. По-настоящему начал думать и отвечать, а не только на автопилоте — на уровне привычного многим жонглирования готовыми оценками, которыми от века в век перебрасываются команды либералов-демократов и патриотов-государственников... Профессионалы, они по долгу службы политические ребусы разгадывают. А непрофессионалам-то зачем это надо?

До Леши вдруг дошло, что только так с настоящим можно сладить. Вот Митек, одобряя теперешнюю власть, гордится, что при ней наша страна сама смогла избавиться от жестокой диктатуры, оккупационные войска не были к нам введены. Не то что в Германии, Италии, Югославии... Перечень-то не закончен. Но и от диктатуры мы разве полностью избавились? Все эти партии, выборы, дебаты политические... Признаем — свобода болтовни захватывающе велика... А вот влияют ли эти словесные баталии на Кремль? Не больше, чем прототипы на романиста — что он захочет, то учтет-заметит и потом отразит в своих решениях, а что не захочет? Управы — никакой...

— Если уж нашего президента с кем сравнивать, то Александр Второй больше подходит... — Вспомнив про террористов, убивших царя-освободителя, Митя громко

вскрикнул: — Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! — и повернул голову к своему левому плечу, но плюнул только словесно, чтобы не брызнуть слюной на Лешу, сидящего рядом. — Только бы тоже не взорвали за смелость! — Из-за постоянной своей торопливости Митя не заметил и того мига, когда Иван принял студентика в их дружество, и того, что он сам уже считает это данностью. — Первый-то Александр папашу Павлика сдал, а политический отец нынешнего, па-анимаешь, наоборот, из полумертвых восстает на глазах.

— На глазах телезрителей. Это и подделать можно — полумертвого Кучера, ну, Кстинустиныча, выдавали же за живого. — Лешу уже отпустило.

В состоянии настороженной напряженности человек еще может сдавать экзамен, то есть вспоминать готовое, кем-то исследованное-найденное, но для того, чтобы думать, самому что-то открывать, совсем другой напряг требуется. Азарт свободной беседы — лучший способ избежать мук открытия, знакомых всякому одиночке, будь он ученым, писателем, художником, композитором...

— Вы разве знаете, что по ту сторону телеэкрана творится?

— Кое-что знаем... — не без самодовольства оскалил прокуренные зубки Митя.

Поскромничал... Преуменьшил, еще как преуменьшил свою осведомленность. Уж ему ли не знать быт и нравы закадровые! Вспомнилось, как в останкиновском коридоре он впопыхах толкнул тетку одну. Она сумочку из крокодиловой кожи выронила, и оттуда веером высыпалась пачка зеленых — предвыборный эфир та без разбора покупала. На каком канале дадут, то и брала. В одномандатном округе победила. Еще вспомнилась кассета, которую, Мити не стесняясь, знаменитый продюсер на стол

его редактору положил. Покажите, мол, за десять кусков. Посмотрели — лабуда полная. Отказались. Но через месяц все это было в прайм-тайм на их канале. Сговорчивых начальников всегда можно найти. Ну а мелочь телевизионная — разве они лучше? Легкодоступные провинциалки вспомнились, готовые на все ради работы в Москве. На половичке возле компьютера спать согласные. И не только в одиночестве...

— Девушка, вы никуда не торопитесь? — Митя схватил за руку проходящую мимо их столика невысокую шатенку в высоких черных сапогах и короткой кожаной юбке. Опять забыл, что недоступных надо искать.

— Жить тороплюсь и чувствовать спешу, — был улыбочивый, податливый ответ.

— Наш человек. — Митя подвинулся влево, освободив угол скамейки, и несильно, мягко потянул барышню к себе.

В его жесте не было никакого насилия, только приглашение. Удивительно деликатное при его внешней брутальности. Такое можно принять, а можно и необходимо для обоих отклонить: несмотря на рук касание — полная свобода, которая влечет женщину сильнее всего. Она и плюхнулась на краешек, слишком маленький для ее аппетитной попы. Чтобы удержать толстушку от падения, только для этого, Митя приобнял ее правой рукой за крепенькую, оголившуюся талию:

— Объединим-ка наши мысли, а? Хотя бы по поводу сегодняшнего вечера.

— Так ночь уже, — беззаботно рассмеялась девица.

— А чем ночь плоха? Отвезем моих друзей и поедем, куда прикажете...

Сейчас роль зрителя Леше очень понравилась, тем более что наблюдал он не один, а вместе с Иваном. Правда, видели они совсем разное, хоть и сидели теперь рядом —

Леша переместился, чтобы к горячему Митиному боку не прижиматься.

Иван, усталый профессионал, побывавший на этой сцене уже и режиссером, соображал, как бы сделать рутинное зрелище поинтереснее для себя, а Леша был начинающим, неопытным актером, которому много чего еще надо освоить. И все-таки о себе он думал во вторую очередь, тем более что толстушка именно его шепотом спросила, когда они в «Жигуленок» садились: «А он меня не обидит?».

Шептаться за спиной новых товарищей Леша не мог, голос бы ему безотчетно отказал. Инстинкт джентльмена-защитника сработал. А как проще всего решить задачку, любую, хоть математическую, хоть этическую? За ушко да на солнышко ее скорее выставь. Там, на свету, всегда найдутся помощники. И Леша громко, от своего имени, повторил девичий вопрос: «Не обидишь?»

Митя смерил салагу взглядом, который, не пропади он в темноте, лучше слов сказал бы, что такая простота хоть и свята, но смешна-а-а. «У Зосимы» не бывает посетительниц, настолько уж не знающих правил любовной игры, а результат в ней — если она не куплена — всегда неожидан. Ради этих сюрпризов ее и затевают.

Но пришлось наклониться к наивному уху и тихо бормотнуть: «А может, я ее всю жизнь любить буду...» Невежда посчитал бы эти слова насмешкой над обоими, над девушкой и ее защитником, но Леша-то знал зиловско-вампиловский контекст, и сам готов был всерьез искать ту, которую всю жизнь можно любить...

Вот к этой легкости, к этому сплетению высокого с низким, похабщины с романтикой, стеба с ответственной се-

Три товарища, Агаша, старик

рьезность и тянуло из чопорно-туповатых Штатов, где Леша попробовал поиграть...

В кондиционированном «Макдоналдсе» от сорокаградусной бостонской жары он тогда скрывался. Когда с подносом шел к столику, близоруко высматривая свободное место, запнулся о вытянутую босую ногу шатенки с голыми плечами и небритыми рыжими подмышками, которые она выставила напоказ, сцепив на затылке загорелые руки. Громко ойкнув, девица скинула босоножку, пристроила ступню на свободный стул и стала дуть на ушибленный палец. Леша, умудрившийся в балетном «па» не уронить еду, сел за ее столик, чтобы извиниться как следует. Американка с непроницаемым лицом выслушала остроумные, как ему казалось, приколы, спросила, где он работает, допила коктейль и ушла, не сказав «до свидания».

По электронной почте потом «попрощалась», прислав на его кафедру заявление о «сексуальном раздражении» — термин у них специальный есть для такого безобидного флирта. Вызвали Лешу в деканат, допросили с подробностями, прямо как на комсомольском собрании из советского фильма, и поставили на вид, отбив охоту даже смотреть в сторону особ противоположного пола с американским гражданством.

Глава 6

В Москву Леша вернулся в графически красивый день — 20.02.2002. Гармония цифр хороша вот так, на бумаге... На стене в рамке она тоже неплохо смотрится, если ее, как всякое абстрактное искусство, напитать своими чувствами-знаниями... Но если даже сочная картина какого-нибудь любимого Шагала, бывает, бессильна побороть холодную мрачность своего преданного поклонника, то откуда возьмется теплота у голых цифр... Тем более что день был пасмурный, перелет тяжелый — в двигателе неполадки какие-то заподозрили и на Аляске присаживались часа на три, чтобы самолет сменить. Обо всех неожиданностях объявляли самым щадящим образом, и все-таки в душе Леша нарастала паника.

К будкам паспортного контроля он стремглав бежал по широкой лестнице. Поспешил — и не успел заранее прицениться к очередям, которые с высоты хорошо просматривались. Встал в ближайшую, короткую, попытался успокоиться и только минут через пять заметил табличку «Не для граждан России». Новое для него деление на чистых и нечистых. Кто чистые, у Митьки надо будет спросить. Метнулся к хвосту соседней змейки, она показалась слишком длинной, и, забыв Иваново «не суетись под клиентом», снова переместился.

Весь этот балет Леша проделал с тяжестью на спине — с рюкзаком, в котором, чтобы не платить за перевес багажа, были утрамбованы необходимые, только очень нужные справочники, купленные в Америке. И когда уже думал — все, отстоял, до окошка два человечка осталось, как к тем вдруг свалилась откуда-то крикливая орава сослуживцев. Чуть драться не полез, чтобы себя хоть как-то разрядить.

Сдержался. Честно признаться — главным образом потому, что девушка одна рыженькая в тот момент отвлекла. Потом уже, вспоминая первую встречу, он длинный перст судьбы в ней увидел. Конечно, если долго в облако всматриваться, что угодно в нем заметишь. Что хочешь, то и разглядишь.

А рыжая девушка Агаша тогда просто за отца беспокоилась — наверняка ведь не справился заранее, не узнал про задержку рейса. Нервничает сейчас у зева, что исторгает прилетевших. Три часа мыкается, как минимум, — если еще раньше не примчался. А то и все четыре. В ее-то часиках села батарейка, вот она и спросила о времени у случайно обернувшегося к ней высокого, худощавого блондина.

Странно, чего он такой сердитый — ответил, но так, как будто точку поставил: мол, не приставай больше. Она же именно спросила — просить ни о чем и не собиралась... Но почему-то проследила за ним краешком глаза, когда в стихийном коридоре из встречающих, стопоря движение, отец неловко, стесняясь собственной радости, к себе ее прижал. Так крутанула головой, высматривая грубияна, что родительский звонкий «чмок» пришелся в ухо и оглушил. Но не ослепил — она все же углядела, как возле электронного табло потерянно озирался сосед по очереди, и как сквозь толпу к нему прорвался легко, совсем по-весенне-

му одетый толстяк, в котором она сразу узнала бывшего отцовского ученика.

— Фазер, смотри-ка, Митя! Может, он нас подбросит?

И пока Маркелыч возился, вытягивая застрявшую чемоданную ручку, чтобы везти, а не нести набитый до отказа пузан, Агаша уже была у табло, на котором с шелестом, похожим по звукам на дождь, менялись строчки, отбивая пульс аэропортовской жизни. Оказавшись за Митиной спиной, она стала соображать, как бы его окликнуть, не теряя своего достоинства... Булгаковское «никогда ничего не просите» тоже останавливало — в детстве отец вслух ей весь роман прочитал, въелись эти фразочки в душу. (На всю жизнь? Похоже на то.) Может, лучше отца подождать... Ну где же он? В трех соснах опять заблудился?

В общем, с налету не вышло, а уже через мгновение и след двух молодчиков простыл. Понятно, ведь даже в гостях у них Митя больше десяти минут на одном месте усидеть не мог, а сейчас тем более должен был спешить — по средам у него прямой эфир, Агаша смотрела иногда. Да и узнал бы Митя ее — вот вопрос. Уж очень давно последний раз виделись, год почти прошел... Она тогда еще с челкой бегала, по ступенькам могла вприпрыжку спускаться... Остепениться пришлось — неприлично стало прыгать, когда грудь так заметно подсакивает...

По дороге домой Агаша быстренько дорассказала отцу то, о чем еще не отчиталась по телефону и по электронной почте, которую каждый почти день родителям из Нью-Йоркского университета отправляла. Они-то не требовали регулярного отчета: знали, что жива-здоровая, не в мерехлюндии — и ладно. Никакой обязаловки. Ей самой не хотелось от них отрываться... И, уставившись теперь в окно, за которым Москва то мелькала, то павой медленно плыла, Агаша в здешнюю жизнь стала возвращаться. Про отца

и Митю почему-то думалось... Как будто в голове вызвал кто-то эти два ключевые слова, и картина в памяти высветилась...

Не собирался в прошлом году отец день рождения справлять. Хотел замотать свои «две пятерки» — рановато еще публичные итоги подводить. А чтобы самому себе счет предъявить, юбилеи не нужны. Всегда жил Маркелыч с чувством недопрописанности, недовыявленности, и оправдание тому благородное — вот оно, копать долго не надо: и забота о семье отвлекает, и профессорская рутина, и доклады на конференциях... Если бы с провинциального детства, проведенного за чтением (книжные полки в родительском доме закрывали все почти стены, решая попутно проблему обоев, которых в те времена в магазинах просто так, без демократической очереди или без привилегированного знакомства, было достать невозможно), если бы с самых ранних сознательных лет не мерил этапы своей жизни написанными и изданными книгами, то совсем бы неудачником себя считал.

Озlobляются часто те, кому смелости не хватает миру себя в одиночку предъявлять — книгой ли, картиной ли, опусом музыкальным... Легче, конечно, вкладывать себя в другого — в жену, в сына-дочь, в друзей, в студентов... (перечислить все ненадежные банки никто, думаю, не возьмется). Это ведь так просто — служить-прислуживать другим, а потом сетовать на их неблагодарность. Но, во-первых, от простоватых и трусливых шагов нечего и ждать крупных результатов, а во-вторых, сравнение с банковской системой слегка хромает: как бы ни запутанны были финансовые учреждения, но человеческая душа на столько порядков сложнее и непредсказуемее, что дух захватывает.

Ощутил Маркелыч вокруг себя выжженную пустыню, которую надо засаживать новыми людьми. Не потому, что старые друзья не прижились или плохи, а потому что сам ждал от них того, чего не бывает.

Уехать хотелось ему в свой день рождения. Смыться, куда глаза глядят. Помечтал о вояже в Италию. Туда еще не была им протоптана ученая тропа, так хоть по экскурсионной пройтись. Агаша в интернете нашла пару приемлемых возможностей, но как рыпаться без чьей-либо рекомендации? Вот они, плоды людской пустыни — не с кем даже посоветоваться... Да вдобавок по телевизору так наглядно, дотошно афишируют многочисленные способы обмана бесправного туриста... И сумма на двоих с женой — две тысячи долларов... Многовато для современного московского профессора...

Ограничились бы семейным ужином при свечах, с французским красным, прибереженным на торжество. Без пирожков даже — их гости любили, а хозяину больше нравилось посмаковать разные сорта рокфора, бри и камамбера. Но недели за две Митя объявился. Почти ночью позвонил, как чаще всего и бывало. Срочно понадобился ему номер телефона какого-то знатного именинника из писательского справочника, который, как он точно знал, имеется в этом доме.

Осерчал Маркелыч в этот раз на беспардонность журналиги, и уже с трудом удерживал так и рвущийся наружу запальчивый выговор — из тех, что потом в душе объекта, ему подвергшегося, обидой застревают и, загнивая, исподволь начинают портить отношения.

Но Митя, если уж начинал говорить, то никому вклиниться не давал, пока все намеченное или пусть только что придуманное, не выпалит. «А ведь у вас, шеф, полуюбилей скоро. Смотрите, не зажильте. Я все равно приду». Уважа-

ет, помнит — вот какая простота пронеслась в голове профессора и сдула обиду, обиду на весь мир, чуть было не поразившую подставное лицо, лицо так расположенного к нему ученика.

Одно дело — совсем не отмечать день рождения... Но если только один гость на такую круглую дату пожаловал — это сиротством, бедностью отдает. Даже себе признаваться в такой неприютности, не востребованности не хочется. Кому нужны свидетели неудач? Извращенцам — не извращенцам, но все-таки людям специфическим. Уж к ним-то Маркелыч никак не принадлежал. Конечно, выходя из дома, он не надевал на уста американскую улыбку, чтобы всем демонстрировать свое житейское «тип-топ», но и угрюмым, как многие его коллеги, себе быть не позволял. Сердитый взгляд, на людей брошенный, по своему результату похож на «точечные» бомбовые удары наших военных в Чечне — отталкивает не одного, а всех, без разбору, и часто тех, с которыми очень бы хотелось пообщаться.

В общем, раз вырезать больное место не получилось, надо что-то другое делать... Задумался именинник... Вот вам еще один пример того, как сам человек городит препятствия на совершенно ровном месте. Не хочешь кого видеть — не зови. Ну кто силком в дом ворваться может? Война пока не в Москве, слава богу. Даже государство в милицейской форме вы в полном праве не пускать, если в приоткрытую на цепочку дверь не предъявят правильно оформленного «тугомента».

Да, из всего можно добыть себе не радость, а муку... Даже из праздников... Хотя тут не тот случай был, не «не хочешь»... И хочется, и колется — такой диагноз больше подходит.

Все же наскреб Маркелыч необходимый гостевой кворум. Сперва позвонил самой сдержанной коллеге по га-

зетной работе. Именно она предложила ему когда-то пере-квалифицироваться в журналисты. Она же, правда, не за-ступилась, когда главный редактор, типичный либерал по политической конъюнктуре и обыкновенный говнюк по жизни, активно обнаружил свой бабский характер. Сперва казалось — нет ее молчанию прощения. Прошло время... Газетная поденщина стала забываться, и тут вспомнилось, что коллега эта — надо должное ей отдать — ни разу не транслировала Маркелычу или кому другому наскоки главного. По своей инициативе ни одного укола профессорской амбиции не нанесла. Не проводником злобы-зависти была, а изолятором... А что не защитила — так не обязана. И могла ли? В ее ли это силах было? В общем, кто прошлое помянет...

За праздничным столом ни она, ни ее муж-переводчик ни разу про неприятное не вспомнили. Как будто и не было ямы, в которую ухнули три-четыре журналистских года. Сдержанность — великая сила...

И все же двое гостей — маловато... Из чужих не тянуло больше никого звать... Пришлось поднапрячь родственные ресурсы. Не такие уж и богатые... Дочери Маркелыч посоветовал, почти приказал пригласить ее бой-френда. Не заметил, эгоистично пестуя свою амбицию, что тот давненько им не звонил, и что Агаша в последние дни перестала быть беззаботной...

Послушная, она и на этот раз не взбрыкнула. Хотя если бы только себя спросила, хочется ли ей своего Ракитина звать — «нет», был бы ответ. Глубоко он пока залегал. Не докопалась она до него — по неопытности и по автоматизму в приятии отцовских советов.

Год, не больше, как Агаша была не одна. До Ракитина не было у нее любовного опыта. Почему? Хм, надо подумать... В филологическом классе мальчиков раз-два — и обчелся,

в филфаковской группе — одни только девочки, в аспирантуре — тоже... Это внешняя жизненная оболочка, а внутри что? Наверное, из-за дружбы с родителями она не нуждалась в близком человеке. Из-за дружбы настоящей, когда каждый о каждом заботится, когда интересно и важно все, что с другим происходит: и обычное — сыт-здоров-обут-одет, и о чем думаешь, из-за чего страдаешь, чему радуешься. Года три Агаше было. Родители в киношку ее взяли — оставить-то не с кем... Она семенила по полупустому мерцающему кинозалу, то и дело возвращаясь к отцу, чтобы тот объяснил, над чем так весело смеется. «Я тоже хочу!» — требовала. И если не понимала, то сокрушалась не по-детски: «Ну нет у меня этого вашего чувства юмора...»

Агашина душа была занята, а тело своего голоса пока не имело. Раkitин разбудил спящую царевну, но сам принцем не оказался...

По приглашению все же пришел. На Митю как на свадебного генерала клюнул. С Агашей в ее комнате не уединился, как прежде бывало, а сразу сел за общий стол, накрытый в Маркелычевом кабинете. Для гостей пришлось все перебутетенить — письменный стол к окну придвинуть вплотную, на середину комнаты вытащить обеденный, который в мирное время не раздвинутым слева от рабочего стоял, как вместилище для книг-бумаг.

Без Мити начали — тот вовремя приходиться никогда не умел. Место его пустое мешало... Тосты звучали натянуто. Взаимная приязнь, высшая цель любого людского скопища, только-только начнет возникать, как тут же испускает дух, натываясь на дурацкое ожидание. Хуже нет — ждать и догонять.

Митя к горячему явился. Не предупредил, что не один будет. Ввалился со своей новой женой — легитимной, только что зарегистрированной, — с ее трехлетним сыном и их

общей трехмесячной дочкой. Да-а, новые времена — новые нравы... С такими малютками раньше по гостям не шастали: родила ребенка — год-полтора сиди взаперти.

Крошка оттянула на себя Митину и Маркелычеву половины. Женщины подогревали молоко на водяной бане, то и дело прижимая бутылочку к самой нежной жилке запястья: не обжечь бы младенческие губки. Подгузники меняли, «козу» делали и, чтоб дитя угомонилось, «гули-гули» пели на два голоса, а Агаша в это время терпеливо, без малейшего раздражения бегала по комнатам за отвязанным проказником. «Из тебя, детка, хорошая жена получится», — по дороге в уборную похвалил ее Митя. Но и она не уследила: малыш описался на ковер в родительской спальне. А потом и постель их обмочил, когда его голышом туда мать без спросу уложила, чтобы брючки пока подсушить: запасные-то забыла прихватить.

За столом, нисколько не смущаясь тарарама, его дети-ми устроенного, солировал Митя:

— Олигарх один за свою предвыборную компанию моей газете куш отвалил. Мне пришлось целую неделю за ним мотаться по Сибири. Вначале все интересно было! Темп, четкость, просторы, еда, разговоры!.. — Митя аж светился, вспоминая. Облизнулся, и вдруг забуксовал: — Разговоры... Разговоры... Одни и те же вопросы... Обещания, которые невозможно выполнить... Позавчера, поздним вечером уже сел в его самолет и вдруг понял — не могу больше, хоть убейте. Впрыгнул на трап... отъезжающий... Ноги сами вынесли. На земле за голову схватился: что натворил-то? Уволят теперь, думаю.

Тут паузу бы сделал записной говорун. Прием этот всегда сигнализирует, что для красного словца хоть самую чуточку, но подтесали правду-матушку — так зубной врач-халтурщик, примеряя готовую коронку, обтачивает живой

зуб, а дорогой фарфор не трогает. Мите же скрывать было нечего. Чего смелостью хвалиться, когда он нисколько не струсил. Даже новой порции воздуха не понадобилось ему, чтобы закончить фразу, на том же дыхании и выпалил:

— А тот, наоборот, восхитился, и работу в своем журнале мне за тыщу в месяц предложил.

Агаша как будто увидела этого миллиардерчика в джинсах и «тишотке» с зеленым крокодильчиком. Здорово Митяй умел рассказывать. Ни одну историю не замутнял амбициозными намеками на свою причастность к высоким сферам, на свою исключительную роль в Истории. Или, наоборот, самоумалением бессмысленным. Еще и хихикнул, посмеялся над собой: не принижайся, мол, Цинна, ты и так низок. Знал, знал, конечно, что в первоисточнике, у Катулла, — «не прибедняйся». Но после эпохи постмодернистского плагиата все осмелели. Из гигантской кучи напечатанных цепочек слов уже без зазрения совести тащат приглянувшуюся и прилаживают к себе. Может статья, что спасают. Ведь вот-вот ненароком возьмут и сожгут эту многовековую свалку книг. Почему свалку? Да в последние десятилетия столько мусора, блестящего, глянцевого, в нее сверху наложили, что поверхностный взгляд только его и видит.

Агашин приятель так и впился в Митю. Вопросы ему задавал, уместные очень, и спорил не по-молодому запальчиво, а солидно, значительно. Когда мальчишка ведет себя по-взрослому, то всегда кажется, что он уменьшан-образован-талантлив не по годам. В конце вечеринки они уже говорили только друг с другом, остальные вынуждены были слушать и молчать. Кем вынуждены? Собой. Но всем-то было интересно, и лишь Маркелыч замкнулся от обиды... Пил и не пьянел, жевал что-то, но вкуса не чувствовал.

Прямо жаль его, а еще профессор, ученый. Ну и подумал бы, в каком русском застолье не забывают про виновника торжества? Хорошо, если хоть традицию соблюдут и парутройку тостов поднимут за него самого, за его родителей, за супругу-детей. Больше и не полагается. Не нравится? Так ты же хозяин, стукни по столу, а еще лучше пошутить как-нибудь необычно — оригинальность лучше всего к себе внимание привлекает. Дуться — последнее дело, удел сдавшихся, прямая дорога к жизненному фиаско, если уже не само поражение.

Уехали они вместе, Ракитин и Митя. Забрал юношу Митя, и так совпало, что насовсем забрал из этого дома.

И опять уязвлен был Маркелыч. Мальцом уязвлен. Какие-то примитивные, допотопные слова, однозначные оценки ему в голову лезли: пренебрег, бросил... Пострадавшая же Агаша выплакалась на материнском плече, а отца еще и утешала через неделю: сумела вынести свою боль за скобки. (Сочувствие близким — не бремя, а потребность. Сюда уходит энергия, которая в ином случае потратится на усиление собственной боли...)

— Ну, папочка, ведь хорошо, что так случилось. Хуже бы гораздо, если б я его словам о любви поверила и замуж согласилась выйти. Конечно, я привязалась к нему, но не я первая... Говорят, он нашел более выгодный вариант. Так это его право. В такое прагматичное время живем, тут уж ничего не поделать. Все молодые люди стараются получше устроиться. С помощью женитьбы — самый древний, веками проверенный способ... Классика...

Классика? Пушкин, Гоголь, Достоевский и... и этот... Тут Маркелыч прямо взорвался:

— Это ты — невыгодная? Профессорская дочка ему не годится?! Чтоб я больше такого самоунижения не слышал!

Три товарища, Агаша, старик

Агаша только хмыкнула, но напоминать отцу не стала, что буквально вчера он со смехом, нисколько не уязвленным, рассказывал, как юная — моложе Агаши — регистраторша из районной поликлиники на слово «профессор» глядела как на афишу коза. Кто такой, мол? Пришлось ей объяснить, что это преподаватель в университете.

Не перечя разгневанному Маркелычу, домашние дамы подсунули ему устный отзыв материнской портнихи на его последнюю книгу (не просто отзыв, а восхищение — что правда, то правда). Отвлекли. Не то вся эта история могла и прилюдной пощечиной Ракитину кончиться.

А так — за год все как будто на нет сошло.

Глава 7

Как ни меняется наша Россия, все равно возвращение на родину из краев заморских требует привыкания. Долгого? Раньше, до середины девяностых, на это уходили недели, месяцами люди пребывали в неотчетливой мрачности, заново приспособляясь к российской оригинальности, Гоголем обнаженной. (Правда, у классика Маркелыч так и не нашел нигде расхожего, заезженного выражения «дураки и дороги». У Ю. В. Манна спросил, и тот усомнился по поводу его атрибуции.) Теперь же и дорожные развязки в Москве на западные стали похожи, и выяснилось, что дураков за рубежом не меньше нашего. Ну, по-другому они с ума сходят, и тупизна их имеет свои оттенки... Что с того? Суть-то человеческая не меняется уже две тыщи годков по крайней мере.

И еще возраст путешественников надо учитывать: молодым контрастный душ только полезен, а старик чего доброго гинется от перепада температур. Кто в советские времена уже мог вкусить заграничного рая в Агашины двадцать пять? Номенклатурные дети (простого профессорства, кстати, и тогда мало было для включения в гос. элиту), комсомольско-партийные выскочки... Третий элемент, необходимый для подобия хоть какой-то закономерности подо-

брать трудно. Ну, случай еще сюда можно добавить: дуриком некоторые попадали за кордон. Но для исследования этой вот проблемы возвращенцев-невозвращенцев слишком мало было такого количества путешественников, их эмоциональный опыт растворялся в узком мирке, не транслировался во всеуслышание. Теперь даже некоторые младенцы хотя бы в Турции, а побывали. И когда они подрастут и проберутся в элиту, может быть, меньше враждебности к чужому будет в их головах? Ведь исчезнет подсознательная мстительность, ненависть к Западу за его недоступность, за то, что у нас хуже, чем у них.

В Америку Агаша слетала не за свои или родительские деньги: в интернете выкопала, что на исследование англоязычной сатиры можно получить грант, включающий поездку за границу по выбору получателя. До последнего оттягивала она и сдачу итоговой работы, и путешествие. Сорвалось бы и то, и другое, если бы не отцовская организационно-моральная помощь: усадил он дочь за компьютер, и недели хватило, чтобы привести в систему свои мысли о гротеске, иронии и комизме, интерес к которым еще в детстве у нее появился. Все-таки стала понимать, над чем родители смеются...

Тридцатого декабря, в самый крайний срок сдачи грантового отчета, Маркелыч целый час разговорами, чаем и чаевыми удерживал клерка из дорогой экспресс-почты, пока Агаша распечатывала только что дописанную работу на принтере с то и дело «сбоившим», как капризная лошадь, механизмом подачи бумаги. И все равно бы денег не дали, так как слетать-то никуда она не успела — на каторжной современной службе такие прихоти не приветствуются. Но сроки продлили из-за сентябрьской трагедии. (Интересно, долго ли год, в который она случилась, не надо будет называть — и так все знают, что в 2001-ом

самолеты в башни врезались? Войдет ли она в Историю так, как Октябрьский переворот? Кто предскажет? Ясно только, что так или иначе, сразу или постепенно ее излучение перестраивает наши жизни...)

И вот — путешествие состоялось.

Уже через неделю после возвращения из Америки Агаша вполне акклиматизировалась. Сомкнулись две части — жизнь до командировки и после. Шов, правда, пока еще не рассосался, ныл: выяснилось, что история ее первой любви, законченная в душе, в реальности имеет продолжение. Трусливо, без объяснения сбежавший предмет ее чувств увидел раскрепощенную, как цветок распустившуюся девушку по телеку — корреспондент спрашивал ее о молодых авторах, — и снова захотел над нею жадной осой пожужжать.

Кто свахой-сводней оказался? Неразборчивый Митя и эту роль поиграл. Сперва только любительски. Хоть так, а хотелось ему поучаствовать в Агашиной жизни... Встречаясь с Маркелычем, нет-нет, да замолвит словцо за непонятого и отвергнутого. Непрофессионально защиту вел. Между делом скажет: не такой, мол, Ракитин, как вы, Маркелыч, думаете. А откуда знает, что в голове профессора творится? Да и какой «не такой» — ни разу внятно не объяснил.

— «Униженные и оскорбленные» написаны были сперва, а что потом, помните? — хмыкнул Маркелыч и, не дожидаясь скорого ответа на столь простой вопрос, сам поспешил пригрозить: — «Преступление и наказание». Так что раз и навсегда замнем эту бесперспективную, на мой пристрастный взгляд, тему. Чтобы не пришлось мне свои меры принимать!

Улыбнулся Митя в свои усы, профессорскому блефу усмехнулся. Оба, конечно, понимали, что речь идет не о кулачной защите. Ну какой удар у сутуловатого, нетрени-

рованного старикана, который полгода спиной мучался после того, как на книжной ярмарке купил полное собрание сочинений Набокова и в одной руке — второй сумки не было, чтобы равновесие соблюсти, — из павильона «Пчеловодство» тащил до метро десять томов, толстенных-тяжеленных, в суперах. Мысль о такси пришла, но разум ее прогнал — тогда уж лучше было покупать фолианты в ближайшем книжном, с торговыми накрутками. От мира сего был Маркелыч, считать умел. Правда, себя, свои силы и свое здоровье еще не научился в расчет принимать. Как молодой, но не как современный молодой человек.

Что еще мог он, ученый без чинов и без денег, с обидчиком сделать? Ничего нынешние циники не боятся — время такое, что всякий скандал можно поставить на службу своей известности. Костер современной славы не брезглив, любое топливо ему сгодится. А подковерные интриги, даже в ярости находясь, даже свою дочь защищая, профессор погнушается плести. Да и начнет — ничего у него не получится, на середине бросит это тонкое, интуиции и мастерства требующее занятие: увлеченный своими отвлеченными мыслями, упустит момент, когда последний стежок надо сделать — и вся сеть расползется.

— Ваша дочь, Митя, подрастет, тогда вы меня поймете, а пока на слово поверьте, — устыдясь своей агрессивности, Маркелыч пошел на мировую. — Любимых женщин надо жалеть и защищать. Иногда — от них самих...

Не по месяцам смысленная кроха уже пробудила, конечно, в чутком Мите отцовские чувства, но маленькой женщиной он ее еще не ощущал. Слышал-читал, конечно, что беззащитность — самое сильное женское оружие, но ни теперешняя жена, ни одна его прошлая девица им не пользовались, так что только на слово профессору поверил. А вера такая, с чужих слов — очень уж поверхност-

на, сдувает ее первая же страстная ситуация. Забывается все, что пока в душе не укоренилось, в самый нужный момент и исчезает...

С Иваном пробовал Митя обговорить неприятную коллизию, сверить свои представления. Все-таки его Манька постарше будет... Но тот отмахнулся — неприятно было вспоминать, что дочь пошла по материнской линии. Какой? А такой, когда практическая выгода стоит на первом месте. Он порой сомневался, остались ли в ней его гены, не попали ли в не личинки чужих колорадских жуков.

А ведь и с ним было, жалел он женщин.

Когда винный бизнес лопнул, партнер-однокурсник все же вынес арчибальдовы «балычки» из охваченного финансовым пожаром бизнес-здания. На французенке женился, к ней переехал и погостить Ивана к себе позвал.

Бордо, Аквитания, шато виноградные. В каждой почти деревеньке ходит-бродит свой дурачок — продукт любви спившегося работника или работницы. И в России есть те, кто пить умеют, и во Франции встречаются жертвы изысканного напитка. Путешествуя, заехали в лесную усадьбу местного виноторговца, и там девушка длинноногая, простоволосая, смелая, как купринская Олеся, положила глаз на Ивана. Хотела, чтоб он переночевал у нее, обещала доставить утром, куда скажет.

Полная луна на южном небе. Черном. Цвета прохладного, а не теплого, как у нас, в Крыму. Сосны к бревенчатому дому подступают. Их заоблачные верхушки свою мелодию поют. Под обрывом океанский прилив другим голосом что-то важное бормочет.

Через переводчика-приятеля объяснялись, но все-таки выскочило, что она — дочка работяги шахтера, а никакая

тут не хозяйка. Не остался Иван, из классовой солидарности не захотел причинять вред очень-очень приглянувшейся ему красавице.

Вред?..

Теперь, рассказав об этом Мите с Лешкой, он хмуро на них уставился. Высмотрел бы издевку, хоть чуть-чуть иронии бы заметил — убил бы обоих, кажется. Но нет, вроде восхищаются... Пафосно, что ли, получилось? И сам тогда рассмеялся:

— Было, а теперь уже и не верится. Зря, наверно, такого бабца пропустил. Но ничего в тот момент с собой поделывать не мог. Сколько раз мне, дураку, понадобилось шишек себе набить, пока я перестал жалеть женщин. Пока не понял, что они — наступающий враг, и что круговую оборону от них надо занимать, как в серьезной драке... Жертвой считают то, что мужа своего обманывают. Жертвой — мне! И за это я им должен, и за то, что не всегда могу дела свои бросить и примчаться на их зов. Но больше я не поддамся. Подумаешь — измена! Сам с рогами походил, ничего в этом страшного нет... Я ведь с детства думал, что от женщин только тепло исходит. Вокруг меня и мама, и бабушка, и сестра хлопотали... Они обо мне пеклись, и мне о них заботиться нравилось... Все, хватит! Хотя бы на равных учусь с их братом быть. Правда, теперь, как подумаю, что надо перед свиданием с дивана встать, душ принять, побриться — нет, лучше уж я книжку читаю. Пусть Митька за меня отдувается, пока охотку еще не сбил. И Лешику пора этой болезнью переболеть и выздороветь. Америка ничему его не научила, так мы поможем. Ну-ка, вон девицы те снова тут как тут. Давай-ка, Митенька, позови их к нам.

«У Зосимы» они опять сидели. И правда, за соседним столом снова оказались те девушки, которых месяц, может, тому назад Леша от смущения лесбиянками окрестил.

Митя обернулся — их столик стоял за его спиной. Кажется, одну он узнал и уже хотел, не церемонясь, крикнуть для проверки: «Агашка!» Отзовется, значит, она. Но что-то его, всегда торопливого, остановило. Она, не она? Лицо изменилось или только обрамление? Челка назад зачесана, рыжие волосы в хвост собраны. Таганская сцена без занавеса, да и только. И взгляд открытый, добрый, но не приманивающий.

Вот с ней бы я, пожалуй, и пари мог выиграть, мелькнуло у Мити. Нельзя. Нечестно. Иван не зачет. На кого это она сейчас так глянула? Вставая со своего стула, он выследил — на Лешку. Черт, а Ракитин как же? Ладно, разберемся. Сам разрулю или время поможет.

Журналистика учит и быстро научает человека думать одно, говорить другое, делать третье-четвертое. Вот почему из «древнейших профессионалов» писателей настоящих не получается: прозу пишут нутром, а когда нутро это раздваивается-растраивается, то таким треснувшим гусиным пером ничего внятного уже не сотворить.

Не испытывая ни малейшего неудобства — ни физического, ни морального — Митя сумел грациозно склониться своим грузным телом над Агашиной рукой. Взял ее в свою лапу и, распрямляясь, потянул к губам, чтобы чмокнуть. Никакая девица-дама такого финта не ожидает. Если вдруг сгибается джентльмен, то для поцелуя, а не для того, чтобы дернуть ее руку и вверх к своему лицу подтащить.

По-разному ведут себя застигнутые врасплох телки. Готовность к сближению прочитывалась Митей безошибочно — по дрожи, по влажности ладони, по силе сопротивления... Ведь все это получается естественно, заранее не подстроено непредсказуемым женским умом.

Агашина рука взлетела как пушинка, доверившаяся ветру. Пухлые губы ее — их детскость еще не съели ни при-

творные поцелуи, ни химическая помада, — раздвинула хитроватая и беззаботная улыбка: играем, мол!

И Митя струсил. Как будто он — завязавший алкоголик, зашитый-закодированный, потративший на лечение огромные суммы, у которого вдруг спрашивают: третьим будешь? Ракитин, Лешка и он сам... А еще Маркелыч перед внутренним взором маячит.. Явный перебор.

— Ты ли это, Аглая? — Взяв себя в руки, Митя бережно вернул девичью кисть на столешницу и в подвальной тесноте и толчее умудрился выполнить не такой уж элементарный для нетренированной туши театральный этюд: как средневековый кавалер или Портос киношный снял воображаемую шляпу с пером и в полупоклоне выделал вензеля, надувшие края бумажной скатерти. — Если бы я был не я, а худой, молодой, неусатый, то...

— «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту просил руки и любви вашей». — Цитатный пас Агаша перехватила со смехом.

Такой хохот, открытый, необидный, снимает малейшее напряжение, которое всегда возникает при любовной игре. Умудрилась не смазать скороговоркой толстовскую формулу надежды, которая может всю жизнь согреть женщину.

— Слез благодарности и умиления от меня не ждите. В фарс нашу историю пока рано превращать. — И Агаша еще сильнее выпрямила спинку, задрала подбородок и скорчила надменную рожицу, чтобы стать карикатурно похожей на Прекрасную даму, какими их изображают в рекламных роликах. Достоинно ответила средневековому кавалеру. — А за лестную шутку — спасибо.

Никогда не стоял Митя так долго в одной позе, да еще согбенной. Но он был растерян. Снова показалось, что

обознался. Что-то таинственное, ему неизвестное проступило в этом домашнем, давно, лет десять как знакомом ребенке. Совсем новое — чего он не встречал еще в своей отнюдь не скучной жизни, про что от отпетых донжуанов не слышал и в книжках, инвентаризирующих реальных и выдуманных женщин, про такое не читал.

А еще и детское личико у Агаши осталось. Вспомнилось, как года два назад они втроем с Маркельчем зашли в закуток провинциального издательства на осенней книжной ярмарке. Директор, которому хотелось на халяву попользоваться информацией от столичных экспертов, мужчинам налил по стопке (какая же это халява! — возмутится алкаш, своей искренностью подтверждая великое открытие об относительности всех оценок), а «вашей дочурке» передал шоколадку и не поверил, что та уже кандидат наук.

Что правда, то правда — ранняя остепененность опасна для женственности. Митя как-то задумался, почему синими чулками ученые дамочки становятся? По кочану!.. Ха-ха-ха! Так почему же? А нос начинают задирать, считая, что в другой человеческий разряд перешли, высший. Даже те в душе кичатся, кто диссертацию защищал по творчеству автора самой честной мужской строки: «Мне ту сиястую, она глупей». Конечно, есть мужчины, которые трусят один на один вступать в жизненную битву за самоопределение и подстраиваются к ученой леди, полюбить потом ее могут, если она не все в себе засушила. И все-таки чаще, гораздо чаще — законом бы это можно назвать, но нет точности в науке о человеческих отношениях, чудо и тайна их всегда питают, — требуется молодое, не измочаленное трудом и комплексами тело.

Зазнаться Агаша и захоти — не смогла бы. Пообщавшись с Маркельчем, любой, у кого есть хоть маломальский вкус к филологическим знаниям (таких теперь меньшинство, да

еще и презираемое воинствующей безобразованщиной), заражался его азартным гурманством и понимал, что ни у кого не может быть превосходства.

И создание литературы, и ее познание — это процесс. Процесс бесконечный, никем и ничем неостановимый. Делят его на этапы для удобства исследователей (их-то жизнь как раз конечна), для спортивного интереса лидеров выбирают. Причем современники очень часто заблуждаются. Только Время, ни в ком не персонифицированное, не совершает ошибок... Стоит как следует взглядеться, и увидишь, что все эти развлечения поток подхватывает, и совсем его природе ярмарка тщеславия не нужна. И те, кто лучше, и те, кто хуже, и середнячки — все его подпитывают. Суетность наша, представление о том, что только включившись в соревнование и победив в нем можно получить энергию для дальнейших трудов — всего лишь житейское заблуждение. И оно может стать материалом для искусства... Лента Мёбиуса.

Так вот, все это Агаша чувствовала с детства. Потом, правда, поудивлялась, что не каждый так думает. Подвергла сомнению полученное от рождения и только после уже ощутила это знание как реальное наследство, которое надо сберечь и потомкам передать.

Конечно, абстракциями дело не ограничивалось. Отец вскипал от гнева, если она неряшливо цитировала какого-нибудь классика-современника, если вдруг забывала, кто раньше родился — Замятин или Платонов, например.

Все книги в домашней библиотеке стояли по датам рождения их авторов. Русские закрывали три стены в кабинете (у четвертой, где окно с балконом, громоздились то и дело обрушивающиеся штабеля новых и новых фолиантов), зарубежные сочинения и справочники-словари размещались в холле, от пола до потолка, на сделанных по

заказу полках. Когда само не вспоминалось, Агаша в справочники-энциклопедии лезла, только бы отца не сердить. Но даже старые авторы не все там учтены, а о новых и говорить нечего. Напрягалась и запоминала имена-даты-факты, и все равно женской памяти за мужской не угнаться — та, мужская, намного больше разной безэмоциональной информации в своих подвалах накапливает. Ну не могла она, как отец, упомнить все литературные лица, да еще с датами их жизней на лбу.

А Маркелыч — хоть ночью разбуди, скажет не только цифры на могильных плитах, но и про каждого живого, хоть чем-то интересного ему человека, без запинки выпалит год его рождения. Митин, например, — шестьдесят седьмой. Всякое знание когда-нибудь пригождается. И это тоже вскоре вспомнится.

Ну а пока Агаша с подружкой пересели за столик к троице, перезнакомились и медленно, плавно-осторожно, как будто шли по весеннему некрепкому насту, их души начали сближаться. Инстинкт подсказывал девушкам, что мужская душа покрыта ледяной коркой амбиций, и не нужно ее отколупывать — сама растает под воздействием женского тепла. Наперебой вспоминали они не по-журналистски основательные статьи Ивана, стишок один Митин процитировали, молчаливого Лешу разговорили, и он с удовольствием над своим американским опытом посмеялся.

— И что же, ты сам там остаться не захотел? Или работу хорошую не смог получить? Или там долго надо терпеть, пока следующая ступенька освободится, а здесь еще ничего не устоялось и прорваться наверх легче? — Боясь, что перебьют, выпалила Агаша и покраснела. Самой стало стыдно. За допрос.

Честная, уж от себя-то она не скрыла, что это слишком похоже на допрос. Еще год назад ей бы и в голову не при-

шло проверять, не собирается ли кто Россию бросать. А если собирается, то почему. В детстве она, конечно, слышала разговоры об эмиграции, но родители говорили об этом спокойно, как-то вчуже, никогда к себе не примеряя. Примерно так, как изредка, учитывая всю доступную информацию, без предрешенной оценки, они обсуждали чужие размолвки-разводы, подножки-предательства. Остраненно. Морщился Маркелыч только тогда, когда явное желание улучшить свои материально-бытовые условия — вполне естественное и в их безбытной семье нисколько не осуждаемое — выдавали отъезжанты за борьбу с властью, за выбор свободного пути, за жертву во имя чего-то. Понимающе улыбался отец, но не сердился, ведь в основе этого вранья лежит стремление казаться лучше, выше, достойнее. Пусть *так* врут: глядишь, вживутся в эту мысль и лучшеют сами.

Впервые пришлось Агаше подумать, сможет ли ей жить-поживать в другой стране, когда она уже сильно привязалась к Ракитину, который в своем сознании все время держал открытым запасной выход в Америку. И мысль эта напрягала ее, неприятно напрягала. Сама она тогда еще за океаном не бывала, но Европу благодаря родителям отдавала как следует, не верхоглядски.

Два месяца своих первых университетских каникул провела она в самой нейтральной стране, где отец семестр преподавал. Потом каждое лето то одну Агашу, то с одним или обоими родителями приглашала к себе в многокомнатные апартаменты на берегу озера бывшая квартирная хозяйка, ставшая общим другом. Раздельность людей, заданную местом и временем их рождения, помогло понять это почти родственное сближение. «Почти» потому, что было оно с обеих сторон свободным, без каких-либо, пусть и приятных, родственных обязательств, тем более что у

пожилой дамы были свои взрослые дети, четыре сына и дочь, и внук один уже имелся.

Чтобы научиться дружить, надо разучиться сравнивать. Ибо любое сравнение — это насильственное сближение, а дружба рушится от малейшего насилия. Ведь она летучее даже любви, у которой все же есть крепкая земная основа (да, да, о сексе речь, о физиологической тяге). Вот тогда-то Агаша не то чтобы осознала, умом поняла — нет, именно что почувствовала: самой собой, развивающейся, мудреющей, раскрывающей свои возможности она может быть только здесь, в Москве. Только если сохранит тактильную связь с родителями, с родной землей, с родной природой, с родным языком, с родной культурой. Ясно стало, что компьютерного, самолетного, голосового общения хватает на месяц-другой, никак не больше, потом одной лишь думы власть начинается: дом каждую ночь снится, лес, да поле, да плат узорный до бровей... И днем только о них думаешь.

Но Ракитин был человек соревновательный, амбициозный, и, как многие молодые люди, руководствовался тогда элементарным расчетом. Для него и для всех, на него похожих, до сих пор звучит как аксиома: в Америке жизнь богатая, незаурядные таланты там лучше оплачиваются. Да и просто на веру многие приняли — там лучше....

Горд был Ракитин и никогда не примерял к себе версию тамошней жизни на пособие (которое там в цифровом выражении выше наших средне-интеллигентских зарплат). Работать хотел, много работать. А потом, через много лет, поместив заработанный капитал в надежный банк, можно и вернуться — если у нас по-прежнему будут так же сильно уважать иностранцев. В гостях у Агаши он как-то сравнивал материальный статус никуда не уезжавших писателей и ученых, хоть и самых достойных, — с имущественным положе-

нием уезжавших, вернувшихся, и престиж притом не растерявших. В пользу последних.

У Маркелыча даже возражений никаких не находилось — не силен он был в оценке капиталов. Духовных — тут да, специалист, а простых, материальных — черт его знает при такой-то скрытной экономике! Да и не так уж интересно ему было в этом копаться. И Агаша совета у него насчет отъезда не спрашивала — значит, неприятный вопрос пока только в воздухе висит, на землю еще не опустился.

Потом, когда для них и сам Ракитин в чуждо-далеких сферах растворился, думать пришлось о другом. Поездка в Америку, ни в чем не болезненная, а наоборот, вылечившая от любовной травмы, только помогла осознать свою прикрепленность к... Как сказать, чтобы расхожими словами не заляпать эту привязанность... чтобы высокопарно не звучало, на торговый ярлык не походило? Придется еще поискать, не все сразу... Сама любовь — настолько интимное чувство, что сказать о нем, если совсем честно, не рассчитывая получить за нее ничего, совсем ничего, даже о штампе в паспорте не думать — можно только тому, к кому ее ответно испытываешь. Иначе — фальшь, ложь, хитрость получается... Значит, про любовь к родине лучше помолчать. Вслух признаться — все равно что на аукцион ее выставить. Тем более что бывают периоды, когда за нее довольно много благ дают...

Леша же настороженности Агашиной не заметил, и ответил ей так же, как отцу по возвращении, со смехом:

— По-русски я поступил, импульсивно. Никакого рационального объяснения у меня нет, все там хорошо складывалось... — И, вспомнив конец заданного вопроса, для полноты ответа, а не жалуясь, добавил: — Здесь-то как раз пока ничего у меня и нет.

Глава 7

Как по-разному можно сказать «я — безработный»! Рас-терянно объявить, не веря, что такое с тобой может стрястись... Обреченно, ставя на себе крест, признаться: «я — неудачник, по-другому со мной и быть не может». Тем самым углубляешь редкие пока следы неудачи, и по этой расхоженной дороге беды начинают толпой к тебе валить. В неравнодушном сообществе после таких слов обычно повисает пауза, как будто о смерти сообщили, о смерти веры в себя. И неловко становится тем, у кого все тип-топ сложилось, как будто сам покойник упрекает, что вы-то живы. А еще таким образом помощь вымогают — ну-ка, благополучные, пристраивайте и меня куда-нибудь.

Ничего подобного в самом глубоком подтексте Лешиного ответа не было. Всего лишь проинформировал, что не на готовенькое вернулся. Сегодня это так, а завтра я сам буду, мол, стараться, чтоб было по-другому. В плохую ситуацию любой попасть может, но не всякого она марает.

Заговорились. Реплики, как стежки умелой портнихи, так и перелетали от одного к другому, скрепляя возникшее единство. Когда подружку Агашину по мобильнику муж вызвал, компания уже сложилась, и, лишившись одного своего участника, пострадала несильно. Длинный, десятизначный телефонный номер Агаши все трое как по команде, которую неслышно их души отдали, заносили в электронные телефонные книжки так, чтобы для связи нажимать только одну кнопку. Причем Леша потеснил предыдущие строчки и присвоил ему первую позицию.

Глава 8

Летом, в июле, информацию приходится почти буквально из пальца высасывать — газеты-журналы не телевидение, повторами там не обойдешься. Редактор, вспомнив «успешную» Иванову статью к каверинскому юбилею, попросил его на мюзикл сходить. (Что такое успех газетчика? В Ивановом случае — телевизионщики заметили и взяли коротенькое интервью для ежедневного обзора прессы.) Про «Норд-Ост» надо было написать. Продюсеры подсуетились, и тема газетному начальству показалась подходящей для нынешних жарких дней: Северный морской путь, льды, покорение Полюса, романтика и патриотизм.

Предвидя несусветную скуку, Иван решил компашку сколотить. Митьке первому позвонил. И застал в такой постели, из которой тому вылезать явно не хотелось:

— Вот и алиби — скажу дома, что тебя на спектакль сопровождал. — За Митиным рокотом вторым голосом в трубке послышался колокольчик девичьего смеха. — Только не забудь, если моя жена вдруг спросит, ладно?

— Сам не забудь! — фыркнул Иван, нисколько, однако, не огорчившись.

Во-первых, дружка, они сумели каждый сохранить за собой полную свободу и, что очень редко бывает, не огра-

ничивать другого, признавать-уважать его право на сиюминутные, импровизационные выходы. Если что-то действительно надо было, то прямо формулировали: помоги! И откликались автоматически, поскольку ни разу безответственно или для проверки это слово не произносили. Сказку о мальчишке, который понарошке «волки! волки!» кричал, всем троим мамы в детстве читали. Запомнилось, что глупая шутка может быть опасна для жизни.

А во-вторых, нисколько не завидовал Иван сейчас, и не только сейчас, Митькиной позе. С легкомысленными хохотушками ему быстро становилось скучно, серьезные девушки уже второе свидание начинали с недвусмысленного «билля о правах», о своих только правах, а мудрые грешницы, которые твердо знают, чего мужику нужно, и которым нужно то же, его, как ни странно, раздражали. С цинизмом — без него в журналистике шагу не сделаешь — он по необходимости сожительствовал, но собственноручно впускать его в свою частную жизнь, и тем более узаконивать с ним отношения — увольте. Весело, как у Митяя, это не получалось. И потом отравя под любым соусом опасной горечью отдает. А Иван обладал чувствительным вкусом.

Леша ответил из Пскова — по службе туда командировали, экзамены вступительные на выезде принимал.

— Вот совпадение! — восторгнулся он. — Я как раз иду мимо гимназии, где Каверин с Тыняновым учились. Слушай, тут открыто... Плотну-ка исторического воздуха!

По ровному дыханию Ивана чувствовалось, что тот не торопится (впрочем, Иван старался никогда никуда не спешить — природные историки не терпят суеты) и даже не ждет конца Лешиного репортажа, чтобы свое словцо вставить. Без натуги, без раздражения слушает. Внимает. Редкое умение. Азартных рассказчиков полно, а слушателей

скоро можно будет только за деньги нанять, как психотерапевтов.

— Ух ты, какая лестница! — продолжал комментировать Леша. Все подстрекало его любопытство. — Думал, с парадного входа попал сюда, а тут узкие марши, вон где только на широкую поступь переходят. Да, в такой школе типовые, всеобщие идеи труднее впаривать. Вообще городок интересный — Русь моя тут безалаберная, но не распущенная. Близость Европы, наверное, от свинства удерживает. Черт, батарейка кончается, а я подзарядник забыл. Предупреди, пожалуйста, Агашу, что я еще на день застреваю, пусть не волнуется.

Иван обрадовался нечаянной Лешиной подсказке, но украдкой ничего получать не хотел, только открыто. Он это про себя в армии понял, когда увидел ночью, как сосед под одеялом посылку из дома жрал. Воровски, у себя удовольствие ворую, хрустел пацан пакетами-обертками и потом всю ночь ворочался — впивающиеся в бока крошки с простынки сбрасывал.

— Если Агаша вдруг сможет, то вместе и сходим в театр... — честно известил Иван. Заметил, что голос дрогнул, и тогда мрачно, на себя сердясь, добавил: — Ты не против?

Ответом была пустота. Иван истолковал ее как обрыв только телефонной, но отнюдь не дружеской связи...

Агаша сдавала в номер очередной некролог — в отделе культуры ее газеты, казалось, царила мировая скорбь: любой мало-мальски знаменитый покойник со всего мира находил в ней последнее пристанище. Особенно *выгодно* было умирать летом, когда нехватка материалов преувеличивала значение и менее важных событий, не говоря уж о рождении-смерти. В сетях интернета Агаша-профи научилась вылавливать и английскую, и немецкую, и французскую информацию, из которой наловчилась ткать очень

даже вычурный саван. Но честная Агашина природа сопротивлялась халтуре самым обидным образом: раз не хватало времени, чтобы выдержать необходимую для скорби минуту молчания, то она всегда запаздывала со сдачей. Сколько чашек кофе ни выпивала, насколько рано ни садилась за компьютер, но к газетной «смертной линии» («дедлайну») никак не получалось в срок подойти. Прилюдно Лешик над ней за это подтрунивал, ну и все близкие знали, что Агаше трудно назначенный час соблюдать. Вызванная рабочей запаркой небрежность проникала и в частную жизнь, никакой линией не отгороженную.

Иван решил ждать ее внутри театра, возле ненужного в эту жару гардероба, но пару раз выскакивал все же на улицу, надеясь издали увидеть бегущую фигурку: по телефону Агаша уже не ловилась. Видно, тоже батарейка села.

Суетливость всегда небезопасна. Пришлось снова в этом убедиться, когда, возвращаясь с улицы, в дверях он нечаянно толкнул широкоплечего бугая в темном костюме. От одного его вида у Ивана пот на лбу выступил, и рука сама в карман брюк сунулась. За носовым платком — испуг промокнуть. А тот вдруг раз — и пушку откуда-то из подмышки выхватил. Оказалось, незаметно, бочком за охранником шел олигарх в тишотке с зеленым крокодильчиком. Не голова, тело Ивана сообразило: руки сами собой в локтях согнулись и выставили напоказ пустые растопыренные ладони — мол, от меня никакой опасности. Разошлись без слов. Больше Иван свой пост у вешалок не покидал.

— Извини-извини-извини.

Вежливость требует это сказать? Агаша выполнила. Но прозвучала ее скороговорка не как увертюра, настроение которой передается следующей за ней мелодии, а как заключительные такты, после которых все можно начинать

на новый лад, минор повторять не обязательно. Определенная девушка.

Подергали двери в партер: заперто. Взбежали наверх и плюхнулись на свободные места у прохода. Агаша поерзала, устраиваясь поудобнее: передний ряд был слишком близко, поэтому пришлось забиться в угол мягкого кресла, чтобы по диагонали вытянуть ноги — ох, как уставали они от часов и часов почти непрерывного сидения за компьютером. Пусть и счастливых, которых не замечаешь, но позу-то все равно не переменить... Уже посматривая на сцену и прислушиваясь к звукам, она достала из своей льняной торбы наполовину опорожненную бутылку воды, сама сделала глоток и помаячила ею перед Иваном, как бы спрашивая: хочешь-нет? И затихла.

От ее соседства веяло спокойствием, на фоне которого можно делать все, что заблагорассудится — влюбляться, страдать, насчет мировых и сиюминутных проблем покумекать, зрелищем наслаждаться... Ему нужно сейчас работать — и это было легко.

Спектакль нисколько не усыплял — грамотно и довольно ритмично картины сменяли одна другую, действие совершалось на трех уровнях и в разных углах сцены, так что зрительские глаза в одном положении лентяйничали недолго. На количестве занятых актеров не сэкономили — главные герои даже раздваивались-растраивались, по возрастам. И никаких вольностей, калечащих литературную основу. Только вот с музыкой что-то не ладилось — ни одна тема пока Ивану не запомнилась, не запелась внутри.

В антракте Агаша сразу улизнула:

— Мне носик попудрить надо. Встретимся у карты.

Когда успела ориентир надежный приметить? И правда, столько народу, что запросто можно потеряться, а сте-

ну с маршрутом путешествия капитана Татаринова из любого угла видать.

Вот что она предусмотрела, торопясь, — очередь в дамский туалет прямо на глазах растет.

Совсем не задержалась, уже возвращается.

Свежая... Легко идет, ненапряженно, как будто ничьих взглядов не замечает... Спинку прямо держит, рыжие волосы гладко-гладко зачесаны, сияющее лицо всем открыто. И никакой косметики. Что, забыла носик попудрить?

Нет, дошло все же до Ивана, что эвфемизм это был, замена вульгарного «мне в уборную» или псевдобогемного «пописать хочется».

Конечно, физиологическая откровенность, намеренная или случайно вырвавшаяся, — знак того, что ворота если и не распахнуты, то уж точно не заперты. Но войдя в них, так и застреваешь в женском теле, до души редко когда по этому пути тянет добираться. Да и пойдешь, то в тупик чаще всего упруешься, в стену, возле которой еще и мусора всякого понавалено. Почему так и тянет бабцов весь его тебе продемонстрировать? Господи, сколько он выслушал женских фантазий про роковые влюбленности, про мужиков-негодяев. Все либо приукрашено, либо очернено... Чтоб на роман походило.

Ну, а правда еще хуже. В последней поездке познакомился с теледивой. Нормальная девка, казалось. Договорились, вернувшись в Москву, поужинать вместе. Ничем не кичилась — ни шикарным мерседесом, на котором приехала, ни своей славой — в кабаке все на нее пялились, и мужики, и бабы. Иван и не знал, что она так знаменита — телевизор-то редко смотрел. Хорошо поговорили, он уже думал, к кому поедет — к ней или к нему, как она вдруг расплакалась: «Какие мужики сволочи, все-таки!.. Один гад

не предупредил — гонореей меня заразил... Вылечилась, конечно, но теперь боюсь...» Больше он ей не звонил...

Стояли с Агашей, молча толпу рассматривали. Иванов взгляд споткнулся о фигуру женщины с плавной, кошачьей повадкой — в броуновском, беспорядочном шатании групп и одиночек она одна, пожалуй, двигалась не просто так, чтоб время скоротать, а с какой-то подозрительной целью. Когда она прошла мимо них в четвертый раз, Иван постарался заглянуть ей в лицо. Черные глаза полоснули его совсем немотивированной ненавистью — так скачущий на лошади всадник ударяет плеткой подвернувшегося противника. Черт, сперва настоящий пистолет в бок суют, теперь бич мерещится... Нехорошее место...

— Правда, хороша девушка? — Агаша как будто подключилась к его мыслям и перевела их на мирный лад. Да и в зал пора было возвращаться.

Про зрелище парой согласных слов перекинулись уже на обратном пути, долгом — пешком две троллейбусных остановки до метро, две пересадки и еще минут семь до Агашиной башни. Впервые ее до дома Иван один, без компании проводил.

— Зайдем? — спросила она, взглянув на свои часы. — Родители, может, и спят уже, так мы тихонько чаю выпьем.

Спят? Еще одиннадцати нет, удивился про себя Иван. Но расставаться с Агашей так вдруг, сразу — очень не хотелось. Почему? Нет, этого вопроса он себе не задавал... Просто взял и согласился. Верно, почувствовал, что по доброй воле его зовут, не из одной только вежливости. И приглашение ненасильственное: он волен его и принять,

волен и отказаться — никаких выводов при любом его решении не последует. Редкие женщины умеют свободу тебе давать...

А то бывало, обманывался Иван: звали по какому-то надуманному этикету, он из приличия уже было соглашался, а ему: «Ну, если вы не можете, то мы не обидимся...» — явная подсказка. Отказывайся, дурак, скорее!.. Почему-то вся порода колорадских жуков слова в простоте не скажет. Чтобы разгадать их мысли, надо самым внимательным образом в интонацию вслушиваться, за жестами следить, взгляд бегающий ловить. Правда, когда учебник по психологии почитал, то все понятнее стало. Ну, например, если человек мочку уха, кончик носа, шарфик или еще что тербит, то врет, значит. И так далее. Однозначность такая скучная обнаруживалась в результате напряженных усилий, что закрыть это открытие поскорее хотелось. А навык остался.

На скрип открываемой двери вышел Маркелыч, одетый по-домашнему, но еще не по-ночному — не в пижаме-халате, а в мягких вельветовых брюках и синей майке. Совсем не сонный. Прежде чем протянуть гостю руку, дернул за шнурок выключателя, гася верхний свет в прихожей:

— Тише, маму не разбудите, ей завтра рано вставать. Надо будет все-таки дверь в ее комнате на непрозрачную заменить.

— Папочка, давай отметим пятнадцатилетие этого благого намерения. Как самого древнего. А потом продолжим. На подходе десятилетие рухнувшего — на меня, между прочим, — потолка в ванной... Первая паркетная доска в новоселье выпала... Лет двадцать уже прошло? — Агаша чмокнула отца в щеку и пошла в ванную — руки вымыть и причесаться.

— Не двадцать — девятнадцать... Сегодня как раз и исполнилось. Не все сразу, вот книгу закончу... — нисколько не винился Маркелыч.

— Закончишь эту, начнешь следующую... Сколько раз уже так было? И слава богу, что так, — философски обобщила Агаша, проходя на кухню.

— Все-таки список сделанного тоже не короткий. — Маркелыч не согласился с ролью карикатурного профессора, стариком не от мира сего и в шутку побыть не захотел.

Ответ его прозвучал двусмысленно: написанного или отремонтированного — непонятно, но верно было насчет того и другого.

— Коньяку выпьем? Мы в дьюти-фри всегда покупаем — точно известно, что не подделка, и цена не грабительская. Зимой я на месяц поеду в Германию, лекции читать. Вот уж пополнию скудеющие закрома небогатой профессорской семьи.

Не дожидаясь Иванова согласия, хозяин вышел в коридор и зашебуршал в стенном шкафу. Темень, вслепую ничего не нащупать. Осветил захламленное нутро очень просто — открыл дверь уборной, как раз напротив шкафа, и зажег там лампочку. Света хватило. Сразу отыскалась плоская фляжка хеннесси, которую он же вчера и заставил высокой коробкой овсяных хлопьев, купленной про запас.

Шутливая перебранка Агаши с Маркелычем помогла Ивану освоиться. Он осмелел и, не побоявшись показаться невежливым, отодвинул в сторону синюю хрустальную стопку, над которой уже склонилась пол-литровая фляжка:

— Мне бы кофе, если нетрудно.

Его нетрадиционный ответ хозяева деликатно обошли молчанием. От хорошего коньяка пока в их доме не отказывался никто, даже недужные рюмку выпивали.

Иван прочитал удивление в Агашиных глазах и поспешил объясниться: к завтрашнему утру нужно статью написать, и нетрезвая голова — помеха. Непреодолимым препятствием она может стать. Есть ему тоже совсем не хотелось, хотя с большого деревянного круга поддразнивали гурманские деликатесы — несколько брусков твердых сыров и бело-бархатное полукружье камамбера.

Крепкий кофе да сигарета... Больше ничего... Закурил и почувствовал какое-то напряжение. Откуда? Неужели нереализованное желание сделать что-нибудь приятное, попотчевать-угодить, как не сорванная ни на ком злость-досада, тоже угнетает?

— Можно, я дам ваши координаты немецкому переводчику? Он написал, что к зиме у них выйдет мой учебник истории. Вам не трудно будет его прихватить? — придумал Иван незамысловатую просьбу.

— Конечно. С удовольствием почитаю, как наша история по-немецки выглядит. — Маркелыч повеселел и, плеснув коричневой бодрости в свою рюмку, вопросительно поднял фляжку над пустой Ивановой: — Не надумали? Хороший коньяк. Агаша с Лейпцигской ярмарки еще весной привезла.

Иван снова покачал головой. Твердо отказался — хозяин понял, обуздал свой инстинкт доброты-вежливости и больше не предлагал.

Последний фырк издала кофеварка, удобства ради стоящая на несидячем месте углового диванчика — не надо вскакивать всякий раз, чтобы налить чашку, и место на небольшом прямоугольном столе не занимает.

Агаша налила кофе себе и Ивану и включилась в разговор:

— Митек тогда в Лейпциге отличился — заперся в номере и днем и ночью натюкивал какую-то забойную книгу на своем ноутбуке.

«Знай наших!» — вот как это прозвучало в Агашиных устах. С гордостью за Митю, с дружеской гордостью, ничего общего не имеющей с бабским желанием присвоить чужой успех и его носителя.

— В Дрезденскую галерею с нами не поехал, а мы рассчитывали, что он пятым будет — скидка на железнодорожный билет тогда очень чувствительная. Зато на круглом столе так выступил, что потом только о нем и судачили все. Как будто он был главным героем всей ярмарки. Заявил, что революция губительна для художника и поэтому у него один путь — поддерживать империю, какую ни на есть. В складках империи можно затеряться и творить, в урагане революции — только погибнуть.

Да, с тревогой подумал Маркелыч, дочка стала настоящим профи — информацию точно передает и свое к ней отношение никак не засвечивает... А оно есть, это отношение? Политика, конечно, не ее сфера...

В Маркелычевой молодости аполитичностью даже кичились, но то была своего рода фронда, сопротивление советскому единомыслию. Ну не всем хотелось отвечать на горьковский вопрос: с кем вы, мастера культуры? В душе-то мало кто власть принимал... Лишь люди типа старшего, но не старого тогда еще Михалкова с детской непосредственностью ее поддерживали. Так это только властной формы касалось, а не содержания. Сейчас у власти другое содержание, а Михалковы ее так же рьяно приветствуют. Всем державным правителям умело и с пользой для себя служат...

Быстро забывается, как тогда боязно было. Можно, конечно, втолковать и Ивану, и Агаше, что раз-другой выступить против, и не на кухне среди своих, а хотя бы на той же кухне, но в присутствии стукача, чтобы власть услышала, — на это и смелость требовалась, и обществен-

ный темперамент. Не у каждого они были... Объяснить-рассказать можно, но ведь так разнятся знания, полученные внутри процесса и вовне...

Оправдываться за свою осторожность Маркелыч не собирался. Считал, что не слабый человек виноват, а сильное государство. Середнячок, конечно, и в империи может затеряться, и в революцию не очень пострадать — вон как они живучи. «Нету славного Патрокла, жив презрительный Терсит»... Герои все погибли, а выживалы теперь громогласно убеждают молодняк, что не так уж плохо было и в революцию, и при строительстве коммунизма...

Хотя молчание было не разъединяющее, но долго его растягивать нельзя ни в какой компании. Особенно это опасно, когда без практической цели сообщество составилось — связи тогда ткутся из ниток очень тонких, всякий раз состав их новый, поэтому степень крепости неизвестна. А Маркелычу, который весь день провел в компании со своей строптивой, то и дело буксующей рукописью (на компьютере ведь все равно руками работаешь, так что термин остается актуальным), хотелось поговорить еще.

— Поддерживать империю... И это мой самый яркий ученик заявил? — театрално развел он руками, давая понять, что никакой враждебности от него не исходит. Невелика честь побить отсутствующего противника. — Все-таки тянет Митю самоопределиться в двоичной системе. Конечно, в черно-белом мире проще жить, чем в красочном. Но ведь освоится он там и сам же заскучает. Ладно, при случае поспорим, — закруглился профессор, видя, что Иван уж как-то очень бессловесно ему внимает.

Не скучал историк, нет — это по его позе сосредоточенно-открытой ясно было. Может быть, не решается спорить или аргументы подыскивает? Попробуем-ка его расшевелить.

И Маркелыч похвалил Ивана, не кривя душой восторнулся тем, что тот именно за учебник истории взялся. Что не пошел, как все сейчас, по облегченному пути: альтернативку-то романную легче состряпать, чем попытаться сколько-нибудь реальную нить событий восстановить и ее уже анализировать. Сам не зная, бросил камешек в Митин огород, где уже созревала антиутопия необъятных размеров.

— Сперва надо распутать клубки и узлы, доставшиеся от однопартийной науки, — вещал Маркелыч. — А то теперь накручивают наши письменники бог знает что про вымышленных царей и царедворцев, то есть про элиту тогдашнюю... По новой запутывают... Свое собственное невежество прячут. По принципу «бумага все стерпит» работают. А читатели-то не знают, кто сперва правил — Александр Первый или Николай Второй. Как у Чехова — мальчонке устрицы предлагают, а он голоден и в хлебе наущном нуждается.

Похвала как будто подстегнула Ивана. Нет, он не расплылся в самодовольной улыбке, совсем наоборот — не расслабился, а сосредоточился. Сел прямо, потушил сигарету и помахал рукой, рассеивая тучку дыма, полетевшую к Агашиному открытому, приветливому лицу. Словно к старту изготовился. И заговорил:

— Книжки по истории в магазины лавиной двинулись, но ведь когда много всего, то отбор важен... Думать надо, что читать. И не кучей сваливать информацию, а с ее помощью пытаться современность понять-предсказать. Даже самая тупая коллекция — пробок бутылочных или сигаретных коробок — требует примитивного хотя бы отбора: ну, чтоб не было повторов, например. И систематизация нужна. А уж коллекция исторических сведений сама собой так и влечет ее проанализировать. И тогда дураку станет ясно,

что бессмысленно и рыпаться, раз европейского, легитимного царя у нас не осталось. Большевики совсем не случайно и саму семью уничтожили, и всех, в ком капля романовской крови бежала, постарались поубивать. Вера в возможность восстановления у нас монархии — чистая демагогия или невинная наивность. И содержать монарха мы не сможем — это по силам только богатому демократическому государству.

— Ну, насчет демагогов и наивняков я бы поспорил, — перебил Маркельч, вслух вспоминая, как в девяносто третьем в Вене с графом Разумовским случай его столкнул.

Настоящий был граф, родовитый. Его даже гетманом на Украину звали. Журналист по профессии. Русского, правда, не знал. Так вот он без пафоса говорил, как само собой разумеющееся, что Россия должна стать монархией. А на вопрос, кого же на престол посадить, очень нетривиально для того времени ответил. Предложил в цари автора исторической монографии о Гулаге, в который всю Россию превратили. И почему, объяснил: раз этот матерый человечще весь мир сумел повернуть в сторону реальной, но тщательно засекреченной советской жизни, значит, сможет и внутри что-то сделать. У него и сыновья-боровички крепенькие есть, так что династическое наследование обеспечено.

Иван слушал Маркельча, украдкой взглядывая на Агашу. Она сидела прямо, не приваливаясь к спинке дивана. Руки спокойно лежали на коленях и только лобик иногда морщился. Лицо тогда становилось сосредоточенным, а никак не сердитым. Понимает, все понимает, почему-то обрадовался он.

— Ну, граф не демагог, конечно, — не стал спорить Иван. — В свинстве словоблудия настоящий аристократ не погрязнет. А он настоящий, как я понял?

Маркелыч сразу кивнул головой, вспомнив, как спокойно-красиво Разумовский отхлебывал кофе из чашки, как открыто с ним, только что представленным ему русским профессором, стал разговаривать. От него не исходило никакой настороженности или недоверия, так оскорбляющих, когда встречаешься с политическими эмигрантами, которые подозревают тебя невесть в чем. От неуверенности в себе такая недоверчивость, от неукорененности в западной жизни, от того, что враг их, советская империя, рухнула, и молодежь теперь собственноручно приходится просвещать, почему их бегство было героическим.

Нет, в графе была хладнокровная уверенность, которую не надо подкармливать деньгами-чинами, и которую не может поколебать собеседник — руки не дотянуть. Открытый-то открытый, а на дистанции держит автоматически, никаких сил у него на это не уходит.

Побывав в прошлом, Маркелыч, уже расслабленный парой рюмок, подобрался — переместился с края стула к спинке, сел поглубже, согнул в коленях вытянутые ноги и попросил Агашу заварить ему свежего дарджилинга.

— Чаю со мной выпьете? — спросил он Ивана.

Но тот посомневался, не нагло ли будет, и все-таки сказал: «Мне бы еще кофе». И в просьбе этой уже ощутилось такое отсутствие зажатости, такая свобода, какую не всегда отвоевывают даже люди, десятилетиями под одной крышей живущие.

— Тогда ваш граф схоласт, — не то чтобы обвинял Иван. Просто констатировал факт. — От реалий нашей жизни отрываются даже те, кто тут родился и умереть собирается, а уж если даже языковой связи с Россией нет, то ничего путного надумать, мне кажется, нельзя. Реставрация монархии у нас только по африканскому варианту может пойти. Новый царек сперва будет есть приближенных, потом

наркотиками торговать примется... К нобелевскому лауреату это, конечно, не относится. Но его-то ни за что не пустят у нас на престол. Нет пророка в своем отечестве. И он, простите меня, если это кому вдруг обидно покажется, только роль пророка играет... — Иван снова взглянул на Агашу, встретил ее улыбку и продолжил: — Суетного в нем столько, что он, такой умный-опытный конспиратор, даже скрыть не смог. Возьмите хоть его помпезное возвращение через всю Россию. Запротоколировано и оплачено Биби-си... И потом, задним числом, еще оправдывался, что все равно от журналистов ему не скрыться было. Ему, конспиратору по натуре... Вон, камера подсмотрела, как он Наталью Дмитриевну режиссирует. Лицо, шипит, сделай серьезное, не улыбайся... Нет, обыкновенный человек он, а не пророк.

— Простите, вмешуюсь... — Агаша покраснела и, глядя в свою чашку, все-таки сказала, хоть и боялась, что глупость сморозит: — И нобелеату нужно, чтобы его путь в истории остался. Евангелистов от себя не прогоняют. Пусть вместо гусяного или какого там пера кинокамеру используют. Цель-то похожая?

— Но он же сам писатель. И писатель не такой уж гениальный, — прищурился Маркелыч, подергивая только что отпущенные, новенькие совсем, усы и бородку — Агаша посоветовала оставить, когда он от радости, что лето и не надо в университет ездить, три недели не брился. — Литературную натуру я всегда чувствовал в его словотворчестве, пусть и азартном. Скрип слышится, который при движении издают его красные колеса.

Еще «тамиздат» читая, обнаружил все это Маркелыч в текстах «классика» (как его эвфемистически-почтительно из конспирации тогда, в семидесятые-восьмидесятые называли). И потом, когда тот в «здесьиздате» появился, уже

Три товарища, Агаша, старик

с легкостью находил подтверждение своей критической оценки, щекочущее самолюбие. Искать и находить недостатки — ограничивающая, опасная слабость, которую пишущие редко сами у себя замечают.

— Нет, с этим я не согласен, — спокойно, не ревниво возразил Иван, не считавший себя писателем. — Кирпичиков, безупречных по отделке, мало для постройки здания литературы. Их слепить могут очень многие, и только единицы создают совсем новые, на годы-века остающиеся проекты. А этот автор открыл по крайней мере три новизны — после его «Матренина двора» вылупились деревенщички, после «Случая на станции Кречетовка» — лейтенантская проза, не говоря уж о Иване Денисовиче и «Гулаге»... Первый — не первый, не так уж важно... Победителей мирового пространства не судят. А что он социальный утопист — так эта претензия уже не по литературной епархии.

...В час ночи Иван заставил себя подняться с углового диванчика. Уходя, прямо признался, что боится их утомить, а то бы еще поговорил.

Все полчаса обратного пешедраля до материнского дома по ту сторону Рублевки, про себя улыбаясь, вспоминал он Маркелычевы подначки и Агашино лицо. Светлое. Открытое. Под ее взглядом их разговор сделался похожим на рыцарский поединок. Не просто сказануть-ответить хотелось, а чем-нибудь поразить. Ее, Маркелыча и себя.

Глава 9

Природа сама заботится, чтобы человеческая жизнь не была бы уж слишком монотонной. Четыре раза в год, хочешь-не хочешь, а меняй гардероб, одевайся-раздевайся, и пока стоишь перед шкафом, соображая, во что бы утеплиться, непременно залетит какая-нибудь посторонняя мысль, итожащая прожитую осень-зиму-весну-лето.

В сентября Леша вдруг заметил, что на Агашин вопрос «можно ли Леша ночевать останется?», который она задавала уже риторически, не спрашивая разрешения, а только извещая, Маркелыч по-прежнему кивал головой, но его согласие звучало покорно, а не радостно, как было вначале. Почему? Думал, присматривался деликатный бойфренд, и все равно не смог обнаружить никакого охлаждения Агашиных родителей.

Как при первом знакомстве переспросил Маркелыч: «Алексей? Защитник по-гречески. Хорошее имя...» — так и стало это слово «хорошее» управлять их отношениями. Никакой ревнивой слежки не чувствовал за собой Леша, только приязнь. Приязнь к себе как к величине постоянной, вполне определенной личности, а не как к иксу какому-нибудь, производному от отношения к нему их доче-

ри. Хотя и это было бы не страшно. Агаша была очень надежной — это даже неопытный Леша чувствовал-понимал.

Что же все-таки изменилось? Что?

По-прежнему частенько за ужином вместе засиживались. Просто болтали. Слово за слово. Само собой находилось то, что всех увлекало. И говорили совсем не о модном теперь, нагнетаемом телевизором ощущении сиюминутной трагичности и кризисности мира.

Если, конечно, Митя случайно не заявлялся. С ним без крика по поводу политики и политиков не обходилось. Со стороны на ссору похоже, но бранился-то Митя сам с собой: тянуло его к высшим телевизионным ценностям, а какую позицию удобнее и выгоднее занять — никак не мог сообразить. Проверенное «если мечешься, не знаешь, что делать, то поступай по совести, и теперешняя потеря обернется приобретением» — ему не годилось: траченная цинизмом совесть журналиста уж больно ненадежный контролер.

Маркелыч-то и тут свой интерес находил, научный — сравнивал-изучал, как на вечные проблемы смотрят разные поколения.

К литературе то и дело все сводилось: Агаша так уставала от буквоек, что Леша то и дело вслух читал ей какой-нибудь свежий роман или нужного для аналитической статьи Салтыкова-Щедрина. Вот об этом и говорили по вечерам, в телевизоре глуповцев искали. Не так уж и часто новости или обзорные передачи вместе смотрели, но всякий раз выуживали новых кандидатов, которым бы не понадобилось высокое искусство перевоплощения, чтобы сыграть роль Дементия Варламовича Брудастого или Петра Петровича Фердыщенко или Клементинки де Бурбон. Веселенькое соревнование получалось! Ну буквально каждого глуповского градоначальника можно было отыскать

среди говорящих голов и фигур. Жену аптекаря Пфейфера дольше всех высматривали, но и она проявилась, когда ее мужа в американскую кутузку посадили... А еще говорят, что человек меняется. Или Щедрин будущее прозрел? Никакое не «или», а точно, провидец.

К Лешиным визитам всегда что-нибудь пеклось-покупалось. Агашина мама, после того, как ей удалось выиграть раз-другой у дочкиного друга в «Эрудит», даже пеняла ему, что не остается на вечер.

В комнату к ним родители без стука никогда не входили, да и заглядывали-то редко. К телефону разве что позвать. А если молодые при них друг друга за руку держали или обнимались, то старшие взгляд отводили или бочком, совсем несердито из комнаты выходили.

В чем же дело? Конечно, можно прямо спросить... Легкий путь... Без усилий глубоко не копнешь и в результате получишь что-то поверхностное. «Сам подумай», — слышал Леша от матери с самого раннего детства всегда, когда такой ответ не таил никакой опасности для сына. Лучше поломать голову и ошибиться, чем поступать по чьим-то правильным советам. «Правильно» — очень относительное понятие.

Напрягся Леша и дошло: Маркелыч беспокоен, потому что книгу свою закончить не может. А как ему сосредоточиться, если у Агаши то и дело запарка с работой, и напряжение никак не проветривается — не прокуренный дом, а — промысленный, пронервланный. И вечера на разговоры уходят. Пусть интересные, приятные, но дело-то — мужское, главное — стоит.

Понятно — съезжать надо. Летом еще это с Агашей решили, даже о своей квартире помечтали, но приценились и, увы, поняли, что не осилить пока собственную недвижимость. То есть усилиями-то как раз, своими и родитель-

скими, можно было сколотить нужную на кв. метры сумму, но тогда долго придется по-спартански жить.

И это бы ничего... Не получалось пока объединить свои друг к другу стремительные силы для рывка, необходимо-го для покупки своей квартиры. В себе Леша был уверен, но бедная Агаша... Нужно время, чтобы перестать бояться дебрей человеческих отношений, в которых один раз тебе нанесли серьезные увечья. Это он понимал. И что торопиться нельзя — тоже было ясно. Сколько вокруг постра-давших от такой спешки приятелей...

Тогда надо что-нибудь снять. Часами, незаметно летя-щими, вместе с Агашей копались в интернете на ноутбуке Маркелыча. И опять профессору приходилось на это дол-гое для него время в ссылку к телевизору отправляться.

Нашли пару вариантов, приемлемых и по деньгам (Ле-шины преподавательские заработки еще как сдерживали полет фантазии, а сумма, вырученная за продажу материн-ского жилья, пропала в августовский дефолт), и по место-положению: учесть удалось расстояние до Агашиного дома и до ее работы, а если бы добавить в условия его работу и пятиэтажку его отца, то на решение столь сложной голо-воломки материальных ресурсов точно бы не хватило.

Позвонили по указанному телефону. Оказалось, не хо-зяева, а посредники, которым за точный адрес надо запла-тить тыщонку (хорошо хоть рублей, не долларов — те-перь всегда уточняют, чтоб мисандстендинг не случил-ся). Ну, сумма не ахти какая. Сразу, не раздумывая, расстались с зелено-голубой бумажкой, а смотреть толь-ко на следующее утро поехали — у Агаши в середине дня появился очередной покойник, которого она должна была к вечеру отпеть. И опоздали — квартиру уже другим сда-ли. Чертыхнулись — и денег, конечно, жалко, и времени. Но признали, что сами виноваты. И зря. Легкий слиш-

ком путь — себя во всем винить. Благородно, конечно... А если с жуликами дело имеешь? Нет, чтобы дела делать, надо все учитывать. Любого хитреца, хорошенько подумав, можно переиграть.

Второй раз попались на ту же удочку. Приехали сразу, как только предварительную сумму внесли, а ответ получили тот же: только что сдана, мол, квартирка. Полчаса назад. Причем взгляд у маклерши от явного вранья даже не скосило — прямо и честно им в глаза она уверенно смотрела. Да, высокий профессионализм. Хорошо оплачиваемый такими лохами, как они с Агашей.

Заплачено? Ладно, стали учиться повнимательнее быть, хотя бы подозревать закономерность в каждой неудаче... Эксперименты хороши научные, деньги на это специально выделяются, а когда сам платишь, то лучше все же сперва все возможности в голове прокрутить: сбывается-то чаще самая тривиальная — надуть тебя мир хочет. Но на то и щука в море, чтобы карась не дремал — взбадривает эта естественная борьба, от застоя спасает — не то бы сонное царство наступило.

С квартирой Митька помог. В Германию с внуком нянчиться съехала тетка его подружки прежней — он умудрился ни из одной экс-«girlfriends» врага себе не сотворить. Как? «А ты, Лешик, никогда ничего не обещавай, о следующем свидании сам не заикайся, люблю-обожаю наружу не выпускай, даже если рвутся. Баба, конечно, все равно пообижается, но тебе-то предъявить ей нечего. Нет словесных улик. Со временем доходит до них, что не обманывал. Ценят это бабы. И тогда можно снова общаться-встречаться. Если тебе хочется».

А хату эту Митя для себя сперва приберег — любовницу хотел в ней поселить. Красавица... Наполовину абхазка, кажется. Из Тбилиси, говорит, сбежала.

— Ну а вторая половина из чего? — Иван тогда в своей обычной меланхолической манере спросил.

Осваивали новую кухню — Лешин скарб только что привезли. Агаша задерживалась на дежурстве, поэтому хозяйничали по-мужски, на равных.

Митя, к вечеру всегда голодный, у метро выскочил из своего жигуля и кусок сала схватил, испугав старуху-продащицу волосатыми ногами, выставленными напоказ: с мая по сентябрь, который как раз и заканчивался в этот день, он в шортах шастал. Не для того, чтобы кого-то шокировать, а потому что ему всегда было жарко. Потел он в другой одежде сильно. Когда в гримерке на него напяливали казенную спецодежку — рубашку, галстук и пиджак, то уже через десять минут прямого эфира весь мокрый был. И ему разрешили оставаться в шортах. «На экране-то я говорящая голова, а не задница», — так он сам объяснял.

О нулевом хозяйственном цикле в новом жилье — постельное белье, посуда, крупы-картошка-чай-кофе-водка... — Агашины родители позаботились, когда ее на такси сюда Маркелыч доставлял. Поллитра кристалловская по их замыслу, правда, в домашнюю аптечку входила, но ее восстановить — не проблема. Да и нужна она была сейчас только как прелюдия к закуске: за рулем и Митя свой авантюризм умел сдерживать. Сто граммов — его норма, если впереди не маячило больше пяти сидяче-лежащих часов, которые любой хмель, как он считал, развеивали.

— Служай суда, — шутливо нахмурился он, то покручивая свой настоящий ус, то посасывая воображаемую трубку. Главный грузин, да и только. — Зачем дэвушку падазреват?

— Далеко тебе, сосунку, до Сосо. — Иван, не дочистив картошку, отложил нож, вымыл руки и вытер их о кухонное полотенце — не был он умелой хозяйкой, которая без

напряга сразу несколько дел проворачивает. Даже разговор мешал домашней работе, требовавшей от него полного сосредоточения. Чтобы хорошо ее делать. А по-другому он не умел. И не хотел учиться халтурить.

— Откуда мне про ее национальность знать? Я не специалист по группе крови. Не паспорт же просить предъявить. — Митя забегал по кухне, сцепив руки на груди — как будто защищался от тревоги, идущей от Ивана. За него, ободвудя, тревоги. — И так, чтобы милиция не останавливала, она вынуждена в блондинку краситься. А это такая тягомотина. И запах противный, резкий, в нос прямо бьет — я знаю, помогал ей, чтобы вместе подольше побыть. Не то она бы в парикмахерскую сбежала.

— Так не ты убегающий, а она? — ахнул Леша и на табуретку плюхнулся. От удивления.

Пробовал он, конечно, освоить Митькину легкость. Раз — и на матрац. И никаких обязательств. До Агаши это было. Удалось даже как-то собезьянничать, но быстро про себя понял, что никакого удовольствия ему такая новизна доставить не может. Все время казалось, что обижает он партнершу, и тянул-тянул резину, пока само не рвалось. Но Митю-то, ему казалось, он понимал, и вот теперь это понимание дало сбой — появление кавказки сторбило прежнюю стройную логику.

— Что ж ты нас с ней не знакомишь? Надо посмотреть на такую диковинку, — совсем не шутку потребовал Иван. Вроде из праздного любопытства. И оно сгодилось, чтобы вытянуть наружу смутное беспокойство за Митьку, который слишком уж суетливо о девице говорил. И не похоже, что влюбился. Скорее, вляпался. Во что? — Давай, вызво-ни-ка ее.

— С ума, что ли, спятил? — сказанул Митя резко и тут же спохватился: зачем Ивану нагрубил?

Как только его мысль забредала в неуютные закоулки подсознания, срабатывал инстинкт сохранения собственного спокойствия, и он выбирался оттуда. Вылетал, как ошпаренный. Самостоятельно или за любую соломинку хватался. Сейчас на помощь пришел скрип входной двери.

— При Агаше про других женщин я даже заикаться не хочу. Вам тоже не советую. — Митя погрозил пальцем и принялся играть роль галантного кавалера, состоящую из одних штампов. Ничего нового не изобрел — думал-то совсем о другом.

А в душе перекрестился, что не дал себя к стенке переperеть: пришлось бы сознаться — нет у него телефона восточной красавицы. И жить тут, в свободной квартире, она сама не захотела — новые причины придумывала, бойкая, всякий раз, чтобы оттянуть переезд. Много баек сочинила, пока до него дошло ее «нэ надо». Исчезала, бывало, на дни-недели, но зато сама никогда его ни в чем не упрекала, никогда свои тонкие, умелые губки от обиды не поджимала. Единственная в его жизни. Очень это было удобно...

Пикантная картинка вдруг в голове его пронеслась и в пот вогнала: кошечка, голая по пояс — разделась, чтобы кофтенку нечаянно не запачкать, — стоит на корточках, подставив ему свой затылок. Сантиметр за сантиметром раздвигая пряди, он выдавливает коричневые жгутики на темные, отросшие корни ее жестких волос (темное на темное — получается блондинка... парадокс какой-то, с женщинами всегда на непонятное натыкаешься...) и пальцами, одетыми в тонкую прозрачную перчатку, втирает в них эту жижу. А потом двадцать минут ровно, указанных в бумажной инструкции, на которой были распяты эти самые

перчатки, он, вжавшись животом в упругие девичьи ягодичы, согревает ее тело, покрытое от холода мурашками. Запах аммиака бьет в нос и кружит голову.

Митя самодовольно ухмыльнулся в усы и украдкой посмотрел на Ивана. А тот и не отводил своего упорного взгляда. Уставился, как сыч. Чего высматривает?

В гляделки Митя всегда проигрывал — непоседа на одном месте не усидит, в одну точку долго смотреть не может. Смылся он в уборную, и там, под журчание труб, пошевелил мозгами. Не о бабе заботился, конечно — пропитание-то сексуально-эмоциональное он себе без проблем добудет. Ну, смоемся эта, подберем другую. Само собой все у него получается, что тут думать. И с Иваном сейчас объясняться ну ужас как лень. Чего взъелся? Но не вздорничает же... Кольнуло Митю, и у него самого в глубине опаска какая-то шевельнулась. А забираться туда, в свою внутреннюю темноту, он не умел. И учиться не хотел. Зачем, если на поверхности житейской есть еще столько интересного — нового и совсем не болезненного.

За Агашу ему спрятаться не удалось — усталая пришла, да и бодрая она всегда ускользала с первого плана. Как это у нее получалось? Незаметно, без искусственных уловок, а только одним своим присутствием так классно грунтовала она фон любой компании, что на нем ярче, себя даже удивляя, блистал любой — и новичок, и завсегдатай, и скромник, и балагур записной... Пол и возраст тоже не имеют значения. Главное, чтоб было, чем отличиться — оно само легко вылезет от такой теплоты.

Да, из этих никто не поспособит — значит, самому надо действовать. Вперед! Наступаем!

— Нас с Ракитиным в новую газету зовут, соредакторами. Пролетарии умственного труда, присоединяйтесь! —

Митя опять забежал по кухне, размахивая надкушенным ломтем с зеленой шапочкой из соленого огурца. Агаша принесла пузатенький прозрачный пакет, где в рассоле, как в аквариуме, плавали пупырчатые крепыши. — Нажиматели клавиш и мышки, давайте к нам. И тебе, Лешенька, местечко подыщем! Курьер там и то больше получает, чем в вузе преподаватель остепененный.

Раkitин... Услышав фамилию, от звука которой она изо всех сил постаралась и сумела не вздрагивать, Агаша виновато улыбнулась. Почему виновато?.. Потому, что равнодушна стала к живому человеку? Потому, что Лешу ранить боялась? Потому, что подстерег ее, опаздывающую, Раkitин перед недавней тусовкой и вернуться умолял? Отцу об их недолгом стоянии рядом добрые кумушки (мужского пола, не женского) доложили. Через неделю Маркелыч, не дождавшись ее откровенности, сам спросил, что сие означает. Родителю-то она объяснила — из вежливости, мол, бывшего френда выслушала, только из вежливости. Да и самой было неприятно, неудобно все время отводить взгляд и в сторону от него шараться. А Леше что сказать? Она не знала.

— Твоя-то газетка, Агашенька, опять, говорят, хозяина меняет... Или вовсе закрывается... — Митя вместе со своей табуреткой придвинулся к девушке и уже поднял правую руку, чтобы приобнять ее, но Иван и Леша, оба смотрели на него совсем не смиренно... И он, от греха подальше, схватился пальцами за кончик уса и стал подергивать его уже не в чьей-то роли, а в своем собственном суетливом беспокойстве.

— Перестань совращать чистого человека! — сердито прошипел Иван. — Любое успешное издание сто раз на дню пытаются похоронить. Неизвестно еще, кто раньше концы

отдаст — не твоя ли шарашка кое-чем накроется... Прости, Агаша, с грубиянами поведешься... — Иван встал со стула, походил-походил и причалил у прохладного белого бока холодильника. — Все масс-медиа — сейсмически опасная зона. Перебежишь под надежную, как тебе кажется, крышу, а там как раз и развернется...

Остановил себя Иван — чего в открытые ворота ломиться. Это Маркелычеву поколению вдальбливали, что высшая доблесть — лет тридцать на одном трамвае проработать, всю жизнь прослужить в одной школе-институте, на одной и той же фабрике... Ну и пусть как винтики... Зато какие защищенные! Большинство и знать не хотело, что другая жизнь бывает. Сравнить-то не с чем. Не показывали ничего такого по телевизору, в газетах если и промелькнет, то разве что карикатура отвратительная. Запрещены были все источники информации — и документальной, и художественной. Сумели утаить, что жизнь — не борьба, а праздник, который всегда тобой. Даже роман с этим названием на полуправильном положении существовал...

Целые поколения искалечили.

Вот как компрачикусы появились? В кувшины сажали младенцев и ждали, пока их, растущих, эта глиняная тюрьма искривит. Подросших монстров потом за деньги показывали. Трудоемкий процесс, штучный... У нас же миллионы сумели изуродовать. Не физически — духовно. Старикам уже не распрямиться — редко кто начать все с нуля отважится. Но молодым-то это в кайф может быть... Уж Митьке что тут объяснять... Сам все понимает. Так чего я взъелся?

Иван мельком взглянул на Агашу и, чтобы не начинать раскопки своей души, принялся рассматривать кухню, в которой они впервые собрались.

Большое, чистое, не заставленное помещение — ремонт помог со старьем расстаться, что в возрасте квартирной хозяйки (полтинник или около) за подвиг можно зачесть. Агашины родители, например, героями в этом смысле никак не были. Хотя... Захламленность — это только внешний результат, а причины у нее все же очень разные бывают: и социальные, и экономические, и от вкуса эстетического многое зависит. Отнюдь не каждый может вникнуть, что твое жилище — это та же одежда, по которой тебя встречают, и сам ты ею формируешься. О многом говорит то, как человек берлогу свою обустроил. Одному достаточно, чтобы на письменном столе всегда пыль была вытерта и по завершении работы он пустой стоял — у Блока так было. И Иван всегда после работы в ящики и на полки книги-бумаги складывает. У другого от навязанного порядка в голове пустота образуется... А третьей кухня нужна только хирургически стерильная — это, как правило, особы, у которых даже хороший секс до души не достает.

Ладно, хватит фантазировать. В съемной квартире ценится прежде всего пространство, обуютить которое можно, например, черным квадратом Малевича, вырезанным из какого-нибудь глянцевого европейского календаря. Он и был примагничен белой шайбочкой к дверце холодильника, о которую опирался Иван.

А где другие? Леша сидит у окна, в противоположном конце кухни. Митя забился между мойкой и дверью. Как на ринге разошлись по углам. Передышка между раундами?

Агаша на своем табурете посередине кухни то и дело вздрагивала от электричества, которое вырабатывается гневом, тревогой, ревностью... Драться полезут? Непохоже, но все-таки как-то умиротворить их надо.

— За заботу, Митюша, спасибо... Но нет, я никуда перебегать не буду. Лучше уж останусь в своих джунглях с понятными мне хищниками. — Она встала и по дороге к плите провела левой рукой по Митиной гриве, от затылка ко лбу, потом надела ватную рукавичку, взяла турку с горячим кофе и медленно, плавно, не выплеснув ни капли, стала наливать его в Иванову чашку. А на Лешу только взглянула — ему хватило ее застенчивой полуулыбки. — Нет, не могу свою газету бросить. Выходит, я — консерватор и патриот в одном лице.

— Консерватор? Так это же то, что надо! — Митя потрянул взерошенной головой, и волосы сами улеглись на место. — Как ты угадала, что мы так называться будем?

— И что же собирается консервировать такой консерватор, как ты? — съехидничал Иван, но уже совсем не зло, не сердито даже.

— Себя! Самосохранение — вот фундаментальная ценность, перед которой меркнут все выдуманные ценностные конструкции, — продекламировал Митя, умудрившись не скомкать длинные слова. Телевизионная выучка сказала.

— Звучит, как апология эгоизма... — неодобрительно заметил Леша.

— Ну и что! Консерватизм как элементарный эгоизм де факто является базовой ценностью. Теперь уже не нужно быть ницшеанцем, чтобы это утверждать. Нужно быть всего лишь нормальным человеком, чуждым всякого рода р-р-революционности, — раскатисто прорычал Митя. — Консерватизм — это не столько ценность, идеология или политический стиль, сколько состояние души. И я назову реальное имя этого состояния: покой!

Все так и прыснули.

— Спокойный Митя! Что может быть смешнее! Контрадикцию ин адъекто. Ты это серьезно? Или только чтоб нас повеселить? — Иван расхохотался.

От души смеялся, и его стало не узнать. И угрюмость люциферскую, и хандру печоринскую бесследно слизнул смех, улики-морщинки не оставив.

Закоренелый пессимист так преобразиться даже на мгновение не может. Въедается нытье в поры и ничем — ни слезами, ни хохотом — не выводится. Вот трагизм — совсем другое дело... В уголках Ивановых глаз что-то блеснуло. Слезинка?

Агаше показалось, что она нечаянно подсмотрела-подслушала чужую тайну. Суть, смысл этого секрета промелькнул в ее сознании, но полученное украдкой она хранить не могла — вернула владельцу. Иваново лицо беззащитное только запомнилось. Лицо, озаренное из глубины светом каре-зеленых, с оттенком северного неба глаз. И хотя через минуту он стал прежним мрачноватым комментатором, она уже знала, что это только маска. В душе, приоткрытой таким легким, ненагужным смехом, злости-ревности-зависти быть не может.

А Митя даже вправду, не напоказ обиделся и объявил строго и с пафосом, который подпортил его искренность:

— Серьезнее не бывает.

— Говоришь-то как по-писаному, — не сдавался Иван. — Понаблюдай за собой, когда за компьютер сядешь-встанешь. Как на вахте. Ты ведь и стоя писал. Я сам видел. Похож если не на циркача, то на профессионального пианиста-ремесленника. Пальцы сложнейшие фиоритуры выводят. Сами по себе. А мысли где-то далеко блуждают. Пусть и мечтаешь не о том, что сала хорошо бы поесть...

Тут Леша, только что откусивший кусок от своего бутерброда, подавился, и Агаша тихонько постукала его по спине. И до Ивана потянуло дотронуться. По плечу его погладить. Успокоить. Не решилась.

А Иван и хотел бы, не мог остановиться:

— ...или сокрушаешься, что худеть надо, или соображаешь, как жене получше и по-новому соврать. Да пусть и не о бренном маракуешь украдкой... Пусть хоть о смысле своей жизни думаешь в духе консерватизма твоего доморощенного. Все равно ремесло это, а не творчество... Себя самого так не найти. — Разошелся Иван, и уже все в кучу повалил. — Борьба твоя с либерализмом — это прелюбодеяние мысли... Признайся себе, что не идея тебе противна, а ее носители. Но ведь это свойство обычного человека — от других требовать идеально правильных поступков, а за собой грешков не замечать. Давным-давно скукожились бы все идеи, если б смело не летели вперед, если б не отрывались от человеков-производителей. Уравниловка стопорит любое движение...

— Простим угрюмство, разве это сокрытый двигатель его... — криво усмехнулся Митя. За цитату укрылся. Поерзал на своей табуретке, но усидел. Чувствовал, что если вскочит, то остаться тут не сможет. Сбежит от напряжения, возникающего, когда к какой-нибудь важной мысли подбираешься. Тем более к такой, которая из привычной жизни тебя вырывает...

— Да перестань же от себя все время прятаться! Скажи, где ты — настоящий? Не мне, себе признайся... Расплылся... обтесать тебя так и тянет. Форма — это совсем не фотка во весь рост, хоть самая удачная, хоть голышом на экран впрыгни. Зачем, кстати, ты при всех в заставке идиотской переодеваешься? Безвкусица — и больше ничего... Само-

довольство растет незаметно, как пузо у мужика. И ампутировать его потом нельзя.

Иван, ни на кого не взглянув, взял со стола бело-голубой «Парламент», заглянул внутрь — пусто, скомкал коробку и потопал в коридор за своей сумкой. Вернулся, пошуршал, срывая прозрачную бумажку с новой пачки, — и это был единственный звук, который нарушил тишину, наполненную подавленным молчанием.

Никто не перехватил у него слово. А что скажешь, когда один как врач пытается лечить другого...

Иван продолжил уже устало, своим глуховатым голосом с деревянным оттенком:

— Содержание — это не слова, как бы свободно и красиво они из тебя не выливались. Нет, в человеке все связано...

— Знаем, знаем, в человеке все должно быть прекрасно, и вес тела, и вес души... Душу тоже можно взвесить, знаете? Завтра же на диету сажусь. А сегодня можно догулять? Разрешаете, ваше преосвященство? Пост-то еще не начался?

Не поссорились. Сумел все-таки Митя вырулить на светлую, шуткой проторенную дорогу. Выбрался с непредсказуемого целика, в котором того и гляди завязнешь. И куда попал? В космичную и всегда трагическую бесконечность. А надо ли ему туда?

Словесно-то он давно топтался вблизи этого обрыва. С которого взлетают... Или падают и разбиваются насмерть...

Вчуже, логически Митя (умный!) легко вычислил необходимость чуда-тайны для понимания миропорядка. Во всяком случае, ярлыком «хаос» он сам не хочет и не станет оправдывать бессилие своего собственного ума. Но не все же живут в мире, распахнутом в бесконечность. Большин-

Глава 9

ство-то прекрасно существует в уютно обустроенном и агрессивно охраняемом замкнутом пространстве. Размеры которого могут быть самые разные — тюремная камера, комната в коммуналке, своя квартира, собственный дом-поместье-замок, страна... Даже за железным занавесом не все тужили. Может, и ему, Мите не рыпаться?

Да и много ли те, в безграничности живущие, о себе рассказали...

Мало? Что за ересь...

Глава 10

Первым смылся Митя. На телецентр поспешил — в ночном ток-шоу давать свои умные, темпераментные ответы на вопросы разной степени толковости. Чем позднее передача, тем она пошлее, такая закономерность. Исключения, конечно, были, есть и будут, но Митю на них не звали. Он как-то посетовал на это, и тут же от Ивана получил: «Там эксперты требуются. А ты в какой области настоящий специалист? Проституцию журналистскую не считаем».

И тогда обидеть-возвыситься Иван не хотел, и вот сейчас, на Агашиной кухне.

Так ли? Задумался он, стоя у самого края платформы. Пусто вокруг, ни одного человека, никакого движения, только светящиеся циферки на табло прыгают — доскакали до девяти — пятидесяти девяти и вернулись назад, к нулям. Посмотрел вниз, на рельсы, отполированные до сабельного блеска (о господи, опять оружие мститесь...), и отступил назад. Ноги сами, без осознаваемой команды, пошли вдоль платформы.

Рассуждать на ходу Ивану всегда было проще. Мысли чаще всего приходили в голову клубком, иногда таким запутанным, что враз, с налету его и не размотать, не вытянуть в прямую нитку. Рвалась мысль, связывать концы при-

ходило, иногда обрывки разных идей, как разноцветные нитки, через узелок шли.

Кажется, из соревновательного мира все-таки удалось выбраться. Чем же он так плох-то? Да тем, что каждое поражение — это обнуление, пустота. И еще — рана это. Пусть кольнет только на мгновение. Правда, смотря куда попадет... Вдруг укол смертельным окажется? И еще. Когда часто, постоянно всех с собой сравниваешь, то незаметно для себя начинаешь передергивать, подыгрывать своему банальному самолюбию. И уже не замечаешь, кто лучше (умнее-талантливее, красивее-моложе) тебя. Уровень соревнования все время понижаешь... Так и до дворового первенства дойдешь — ну, козла там забить... Состязаясь, отбрасываешь сложность человека живущего, и в конце концов (совсем не обязательно вблизи смерти) остаешься с обидой на конкретных людей. На общий миропорядок, в котором не нашлось достойного места тебе...

Нет, не о себе Иван сейчас думал. Профессия историка научает не только не соревноваться ни с кем, но даже не сравнивать других с собой. История — это масштаб, и любой гений-разгений внутри нее — не молекула, не атом даже, сохраняющий вещество истории, а еще мельче. Протон-нейтрон-электрон... Друг с другом их сравнивать некорректно, а с собой — ущербно.

Но все-таки тянет любого на скользкий путь — на всю катушку поэксплуатировать то, что легко дается. Проще же выкачать враз все из своего таланта-умения и... И что потом? Бросить, как иссякнувшее месторождение? Да еще все вокруг как будто подталкивают, нарочно, что ли, сговариваются азартно нахваливать за сущие пустяки (ну, школа с медалью, красный диплом в университете, рылом на Блока похож...). Лестью-то вернее удержишь рвущегося вперед... Ругань-поношение только слабаков останав-

ливаает. Сильные, те свирепеют, и от пары ударов такую скорость развивают — не угонишься. Но хуже всего, когда тебя молчанием окружают, губки поджимают, чтобы словечко какое не вырвалось. Вот что по-настоящему опасно. В безмолвном тумане так просто сбиться с дороги...

Дружба в чистом виде в природе не встречается... Ну а исключения из правил, чудо то есть? В мировой литературе уже инвентаризовано. Яго — друг Отелло, Розенкранц и Гильдестерн — Гамлета, Швабрин — Гринева, Онегин — Ленского... У Толстого-Достоевского под личину дружбы злодеи и предатели, кажется, не прячутся? И шага не требуется делать от любви до ненависти, рядом они, в обнимку в каждом живут...

Иван шагнул в дверную щель, которая стала раздвигаться как раз напротив того места, где он остановился, услышав гудение рельсов.

Последний поезд. Вагон пуст, совсем никто не мешает прикрепить картинку-воспоминание к мелькнувшей мысли. Чтобы ее подтвердить или опровергнуть...

...С крыши Митиной «девятки» стаскивали компьютерный стол. Веревку, которой тот был к багажнику прикручен, распутать никак не могли. Чертыхались почему зря. Только не Леша. И его терпеливое, чуть укоризненное молчание не сразу, но переменяло взнервленный фон.

Иван прикусил язык, а Митя, так тот оправдываться стал. Пыхтел-потел, когда громаду в маленький лифт втискивали — грузовой был сломан, а этаж двенадцатый. На себе не попрешь. Семь потов сошло, пока догадались «на попа» стол поставить. Жила на Митиной шее от напряжения бугром вздулась, но вещать он продолжал: «Атеиста, Лешенька, презирать нельзя. Ему внимание нужно, любовь и забота.

Не порицать его надо, а знай себе учесывать за ушами. Тактика моей православной жены, пока я мучительно преодолевал свой либеральный агностицизм. Если кто скажет, что не преодолел еще, то он прав. Тысячу раз прав... Сомневающийся всегда прав! Очень может быть, что Бога нет. Но думать, что Бог есть и действовать, исходя из этого — лучше для человека-а-а!»

Только эхо достало Лешу, который уже вышел из лифтового холла и своим ключом открывал квартирную дверь. Но Митя говорил всему гулкому пространству: «Жизнь в присутствии Бога гуманнее, плодотворнее и эстетичнее. Конечно, из-за религии бывают войны. Но чаще они бывают из-за бабла. Так вот, по-моему, лучше погибнуть за Бога, чем за бабло»...

...Митькин голос так и звенел в ушах. Иван встал с дерматинового сиденья и подошел к сомкнутым дверям. Отвернулся от вагонной пустоты, чтобы лучше думалось.

Тоже мне, эксцентрик! Нерелигиозный гуманитарий... А еще считает себя учеником Маркелыча. Не усвоил, значит... Каша варится, лишь бы насытиться. Ну ладно, от еды польза, с этим не грех считаться. Но даже от каш-супов-жюльенов можно не только калории-витамины, а и удовольствие получать. Думать же обо всем только прагматически... Как убого! Литература якобы воспитывает, кино развлекает, Репин-Малевич стены украшают... Тогда уж и религия — опиум народа... Сюда же с легкостью пристраивается и противоположное Митькиному — для человека лучше, чтобы Бог существовал. И ведь невеждой его не назовешь. Читал и источники, и их толкователей. Но он же книги проглатывает, смаковать ему некогда. Память отличная, все схватывает... В чем же дело?.. Да впитывается на такой скорости уж очень немного.

Три товарища, Агаша, старик

Иван расплющил свой почти греческий нос о стекло с белыми поцарапанными буквами «не прислоняться» и устался в подземную темноту — дождаться хотел, когда поезд разгонится так, что огоньки перестанут мелькать и сольются в одну линию. Из детства забава. Из того времени, когда, не рассуждая, бросались на выручку друг другу. А Мите как помочь? Куда кидаться? Смешно...

Сказал себе: «смешно», — и еще больше помрачнел.

Глава 11

По средам у Мити была своя часовая передача на радио. В прямой эфир он приглашал кого хотел, говорил все, что в голову взбредет. Свобода? Пожалуй, да. Если кто распоясывался, гость какой или сам ведущий, то редактор «би-и-ип» включал — вот и вся цензура. Забывали только ненормативную лексику, больше ничего.

Двадцать третьего октября пришли десятиклассники, пятеро. Звал Митя троих знакомцев — из поэтического кружка, который он в бывшей своей школе вел. Не за деньги, на общественно-личных началах — молоденькой директрисе не хотелось отказывать. Может быть, в надежде с ней по-настоящему подружиться. Только «может быть», ничего конкретного даже в голове еще не сложилось.

Из званных явился один, самый наглый, и четверо незнакомых Мите с ним за компанию увязались. Нештатная ситуация. Времени в обрез, а надо всем новые пропуска заказать, студию побольше найти, и кто его знает, как эти наглецы будут перед микрофоном держаться. Зажимают и не такие смельчаки.

Другой бы рассердился, непрошенных гостей выгнал. Но не Митя. Ничего скучнее «бабьего моря» для него не было — в штиль, когда поверхность воды даже чуток не

колышется, ему и плавать не хотелось. Это во-первых. А во-вторых... Да его хлебом не корми, а подкинь что-нибудь неожиданное. Прямо-таки обожал он, например, когда сюжет жизни развивается по приблизительно такой схеме: прима заболела, и бац! — свой шанс использует молодая, никому не известная певица. Сам он так попал на телевидение, и другим эту возможность никогда не закрывал: если мог кого подтолкнуть на любую, хоть самую маленькую сцену — всегда это с удовольствием, азартно даже, делал.

Суматоха, матерок сердитый... То, что надо...

За круглый стол с инкрустированными пятнышками микрофонов расселись, редактор вывел в студию говорок новостей, чтобы знать, когда они кончатся и вовремя вступить в эфир. Митя достал из своей сумки учебник, Иваном написанный — о преподавании истории собирались говорить, — прошептал: «Ну, там-тара-рам, с Богом!» — и уже открыл рот, чтобы громко со слушателями поздороваться, как вдруг заиграло что-то тревожное. Кажется, Бетховен, — Митя в музыке профан полный. И диктор стал читать прямо с телетайпа: «Захват заложников. Чеченцы... На сцену вскочили в самом начале второго акта, мюзикл остановили, по залу, как черные тараканы, разбежались, бомбы к стенам прикрепили... Женщин-смертниц, проводами перепоясанных, по периметру партера расставили... Шахидки...»

Митю будто волна подняла — какая там осторожность... Можно-нельзя — некогда было раздумывать. Как только загорелась зеленая лампочка над окном, за которым в соседней клетушке редактор сидел, он, ни с кем не посоветовавшись, объявил:

— Случилась трагедия. Мы все — я и мои гости, — сейчас едем на Дубровку. И оттуда снова выйдем в эфир, — безответственно пообещал.

И хотя за стеклом в ужасе махали руками оба, и редактор, и звукорежиссер, он уже шагал к выходу. За ним, как за полководцем, схватив сумки-рюкзаки, потянулись школьники. Притихшие... Нахмуренные лбы и сжатые рты сделали их лица значительными, несуетными. Историю шли творить. А собирались только пообсуждать.

Уже на улице одна рыжая (на Агашу похожая) опомнилась, что пальтишко-то на радио осталось. Приятель ее рванулся к лестнице. Охрана его, конечно, непустила. А холодно. Пришлось Мите, у которого был постоянный пропуск, вернуться.

Там уже начальство сбежалось. Не зря чиновники в прямой эфир редко когда выходят: таким семиэтажным строптивца покрыли, что только на улице завал разобрать удалось. Да, не видать ему больше постоянного приработка в шесть тыщенок. Ну и ... с ними! — подумал.

Ребятишки доброкачественные попались. Продержались стойко, на ногах, все три ночи. Именно ночи — днем в школу ходили, чтобы родители не доставали. Выпускной класс, как-никак. Ивана и Лешика в Москве, как назло, не было, в субботу только они вернулись, когда все уже кончилось, но Ракитка-то сразу присоединился. Да еще подрядился на частной радиостанции вести репортажи с места событий, приближаясь к этому самому месту на самую опасную дистанцию. Настоящий журналистский азарт любой страх пересилит — и не заметишь.

Митя сперва ему призавидовал — сам-то он не у дел оказался, но когда послушал-посмотрел, какая лабуда в эфир шла — перестал дергаться. Ракитка хотя бы вякнул, что теперешние ночные бдения — в одном ряду с августом девяносто первого и октябрём девяносто третьего. Остальные пошли это немудреное сравнение повторять, не ссылаясь, конечно, на того, кто первым сказал «мяу». Ну, не ахти ка-

кое открытие, не «Черный квадрат», так что авторство регистрировать не обязательно...

Зато в интерпретации событий и журналюги, и политики поизощрялись... Очень несвободно комментировали, ломая логику и не замечая очевидное в угоду мошне, финансирующей эфир или оплачивающей работу типографского станка. Митя, в отличие от малыша Ракитки, успел в советское время в газете послужить, поэтому не видел уж такой огромной разницы в том, от чего зависеть — от частных денег или от государственной идеологии.

Вот уж где истина конкретна!

Маркелыч, тот всякого вышучивал, кто словами-оценками хоть умело, хоть по-дилетантски жонглировал. Над профессиональными проститутами он иронизировал добродушно — нужны журналисты обществу, как без них... Но ведь любой потребитель их продукта может, должен научиться отличать продажное перо-камеру... А на того, кто сам, без принуждения сделал свой выбор между ворюгами и кровопийцами, профессор всерьез вскипал: «Поэзия может быть глуповата, но ее автор не должен быть глуп!» У слова, мол, один нравственный императив, у поступка — другой. Словами мы эталон устанавливаем, нравственный стержень жизни, поэтому на словах такой выбор делать нельзя. Хотя бы на словах не компромиссничать...

Заповеди, все десять, на своих лекциях то и дело Маркелыч поминал. Предлога-союза в них не поменял — читал, как стихи любимые. Не по бумажке, которая все стерпит... И вывод сделал: «Признание, что какое-то преступление лучше другого, означает — ось, на которой все держится, прогнулась, и вы не замечаете уже, что живете в искривленном мире».

Сколько раз потом подтверждалось, что именно слова, и только они, могут и должны быть категоричны. Ведь ког-

да в реальности житейской оказываешься, когда как-то поступать надо, однозначно что-то сделать, то нет у тебя выбора между ворюгами и кровопийцами — и тому, и другому в ноги бросишься за сына-мать-жену.. («У всякого свой ряд приравненных себе, боль за которых сильнее своей собственной. Страшно только, если нет этого ряда, даже одного человека в мире нет, важнее тебя самого», — Маркелычевы слова...)

Господи, и что за слюни — «милее ворюги, чем кровопийцы»... Чаше всего это один злодей в личине стопроцентной добропорядочности, без примеси синтетики. (И это уже посравнивали — сталинский китель и костюм от Версаче на министре косноязычном или олигархе-златоусте.)

Митя от стыда взвыл, когда в пятницу утром родственники заложников под диктовку террористов стали подставляться под телекамеры, чтобы продемонстрировать самодельные плакаты с плачущими от осенней сырости словами против войны в Чечне. Войны, которую ворюги развязали, ворюги и кровопийцы поддерживают.

А отцы-матери заложников яростно «позор!» кричали — позор не террористам, а нашим солдатикам подневольным... И лица их гневные так походили на лица тех, кто в тридцатые вопил на собраниях «смерть собаке Троцкому!», в семидесятые требовал выслать «власовца Солженицына», в конце восьмидесятых сгонял с трибуны Сахарова... Чем умнее человек, тем яростнее ему орать надо — а по-другому себя не убедить, что все лозунги — правда, что он и сам так думает... Неискренне получится — не поверят те, кто кричать заставил. А это в разное время по-разному, но опасно... Ну и пусть! Спасись самому и спасти близкого человека всегда, во все времена одинаково хочется...

Три товарища, Агаша, старик

Распирало Митю от гнева, от негодования на глупость людскую... Кинулся он к одной группке — вроде на него похожи: молодые, мрачные... Наверно, тоже террористами возмущаются... Только заикнулся, что о государстве надо сейчас заботиться (хорошо еще, с языка не слетело криминальное по либеральным понятиям: «отечество в опасности!»; чужие лозунги не выговаривались), как на него чуть не с кулаками девица стриженная полезла... На «вы», главное, к нему обращалась. Ровесница... «Как вы можете защищать этот преступный режим!» И ведь не о террористах она говорила, не о бандитах, а о своей стране...

Сдержал себя, не вмазал. Женщина... И все-таки, он, Митя, судить не должен — ведь он всего лишь наблюдатель. Обзвонил еще вчера родных-знакомых, удостоверился, что там, внутри, близких нет. Только насчет кавказочки тревога была. Нет, если честно — не тревога, а любопытство: с кем она сейчас? Южный темперамент заводит в разные водовороты. Почему бы и не сюда?..

Глава 12

Совсем муторно стало Мите в субботу, когда для него, как для всех посторонних, действие закончилось. Террористов убили, всех до одного... (Почему никого в живых не оставили? Не из жалости, а чтобы допросить.) Заложников вывели-вынесли... (Почему в окне отъезжавшего автобуса мелькнул голый мужчина с запрокинутой головой? Совсем на живого не похож. Даже старый или молодой — не определить.) Лихо прокукарекали про победу. Вроде бы радуйся, ликуй...

А эти проклятые вопросы куда деть? И еще толпы родственников, которые мечутся в поисках освобожденных... И число погибших, медленно, но неуклонно, как температура у тяжело больного, к вечеру увеличивается. Когда цифра за сто перевалила, верить ей совсем перестали. Врут, как всегда. Наверно, раза в два-три больше погибло... А сколько же в живых осталось? И сколько из них не покалеченных — не отравленных? Никого. Психика у всех заложников изуродована.

Днем Мите пришлось домой заскочить — поесть-поспать-помыться-пописать. (На третий день все кустики за оцеплением были загажены, но это ведь на природе, а они там в оркестровую яму испражнялись — даже от мыслен-

ной картинке в нос шибает...) Усидеть на одном месте было никак невозможно, хотя и надо бы остаться — дочка, рыдая и размазывая сопли по всему лицу, за брючину уходящего отца ухватилась. (Она уже и до шортов на цыпочках дотягивалась. Растет!) Спасибо, жена отвлекла мультиком. Молодец, Ленка, понимает!

Сел в машину, а куда ехать? К Ивану-Лешику потянуло. Позвонил. Лешка простуженный из Казани вернулся, Агаша его лечит. «Приезжай, конечно...» — не слишком энергично позвал. Понятно, болен, и я — третий лишний... Зависть кольнула, но занозой даже не засела... Ладно, раньше надо было думать. Все-таки Агаша не чужому досталась.

Ивана по мобильнику застиг у цветочного киоска — тот розы покупал, его всегдашний подарок. На именины университетского одноклассника намылился. «Ну, подъезжай, у подъезда покурю — там встретимся», — хмуро продиктовал адрес. Не радостно, но без подтекста, в котором прячут обычно то, в чем откровенно признаваться не хочется. Разрешил товарищу примазаться.

Только завел Митя свой чихающий «жигуль», как в левом брючном кармане телефончик завибрировал. Ракита. Тоже в компанию напрашивается. Митя легкомысленно согласился, веля поторопиться: «Хватай тачку — ждать не будем!»

На Ивановом лице мрачности чуток добавилось — высокий, смуглый лоб разделила поперечная морщинка, карие глаза потемнели, черными почти стали. Это Митя заметил уже в хорошо освещенном хозяйском холле, когда поздно просить пардона за навязанного гостя.

Тугие, темно-бордовые бутоны приняла милая такая седая дама в голубых джинсах и бежевом пушистом свитере. Ивана поцеловала, а на новичков внимательно смотрела,

пока они ей представлялись. «Теща», — сама себя представила, улыбнувшись не застенчиво, а открыто, весело, и, задрав подол небесно-голубой накрахмаленной скатерти, выдвинула новые полметра и без того длинного стола, за которым уже сидело человек двадцать.

Ракитка стал рьяно прислуживать Ивану. Без нужды суетился. Ведь Иван, ни у кого не спрашивая, сам знал, где взять стулья-тарелки-вилки-стаканы.

А, вот почему Ванек чопорничать не стал и не прогнал их — как дома он тут...

Митя откинулся на спинку стула, удивленно хмыкнув про себя: столько гостей, и ни одной табуретки-запаски не понадобилось. Вот это класс! Рука не тянулась пока к хрустальной стопке, которую именинник уже наполнил «Мартеlem». Предпочел его Митя после недолгих колебаний, ведь не по качеству выбирать надо было — напитки все самые отборные, — а вкус собственный спросить, и настроение.

Так и хотелось запомнить чистое чувство ничем не заслуженной, никак не ранжированной доброжелательности, которое авансом выдала ему и Ракитке эта царственная дама. После Дубровки — как в теплицу с пронизывающего холода попал: температура, влажность, свежесть — оптимальные для того, чтобы лучшее раскрылось... И от тебя, только от тебя самого зависит, позволят ли тебе тут бывать...

Митя и сам был добрым, доверчивым. С детства. Каждого нового человека с приязнью встречал, на небольшой пьедестал его ставил, то есть над собой слегка возвышал. Сначала само собой, инстинктивно это получалось, потом нарочно, из подросткового чувства противоречия так делал — чтобы не быть строгим и недоверчиво-подозрительным, как его мать. Потом, когда сам вымахал, то понял, что так возвышая, лучше и быстрее человечка можно разглядеть, раску-

силь даже тайное в нем. Ведь расслабляется хоть на сколько-нибудь любой, когда его над другими возносишь. Но только сейчас вдруг дошло, что в добродушии была не только широта, но и... трусость. Боялся он на равных тягаться с людьми, не верил в себя. Казалось, принизишься — меньше тебя ненавидеть будут... Заискивал, что ли?

А вот эта отважная, аристократическая доброта, которая ничуть не унижает дарителя... Самодостаточная, не обдуманная — и врагу, и другу ее излучение достается. Усваивайте! Ничем платить за нее не надо. Доброта без обратной связи? Или по-крестьянски, по кругу: получи и передай другому?..

Черт, это можно освоить? Если честно, он ведь все-таки надеялся получить что-то, пусть даже что-нибудь неопределенное, за свою ласку-лесть (границу между ними он уже почти и не чувствовал, особенно когда расслаблялся). В детстве, например, хотелось шоколадку или чужую формочку в песочнице, в школе — похвалу от учительницы или записочку от одноклассницы, а во взрослой жизни — и не перечислишь, сколько всего Мите от людей нужно было... Давали, конечно, но все время мало было. Не то, не высшее доставалось... Нет, пора просителем перестать быть, и тогда, может быть, сами все дадут?..

Больше витать в своих думах ему не дали.

— Вы что же, не за Ельцина в девяносто шестом голосовали? — взвизгнула сидевшая слева от Ивана стриженная девица.

Митя поглядел на нее. Один раз видел, а узнал. Профессиональный глаз. И злость помогла. То была сучка с Дубровки, которая больно пырнула его кулачком по уху. За поддержку «преступного режима». Но она Митю не вспомнила. Идейные, они такие невнимательные. Теперь злючка на Ивана нападала, не на Митю. Постройнее выбрала?

— Может, вы за коммунистов? — с угрозой стриженная спросила.

Сколько же людей предпочитает жить в двоичной системе, где если не черное, то обязательно белое, если не враг, то обязательно друг, если не за белых, то обязательно за красных...

Иван поморщился и молча присмотрелся к агрессорше. Незнакомая. И вообще, половину здесь собравшихся он не знал — приятель совсем недавно сел в кресло замглавного в эспээсовской газете. Видимо, новых коллег позвал для знакомства.

Совсем недавно перестал Иван ездить на дачные шашлыки (барбекю их теперь по-американски называют) к школьно-студенческим знакомцам, сделавшим успешную карьеру — не выдерживал он целый день разговоры про то, кто сколько стоит в чиновничьей иерархии. Изменились ребята. И они ведь в прежнее время ни за что бы не стали судачить о том, где, кто и что дешевле-дороже...

Стриженная тетка что-то свое прочитала в его взгляде. Выпучив глазенки, и так увеличенные толстенными стеклами очков, громко, перекрывая мирное журчание застольных разговоров, крикнула хозяину:

— Ты с кем меня посадил на одном квадратном километре?! С зюгановцем?!

Митя заерзал. До чего же грубое бабье пошло! Хорошо хоть всю поговорку не транслировала... Да это я бы с такой не стал срать на одном квадратном километре! — негодовал он. Про себя. Вслух не решился — Иван не терпел, когда за него по пустякам заступались. Гордый!

Ну что, сейчас она демонстративно вскочит со своего стула — от прокаженного бежать поскорее! — и поменяется с кем-нибудь местами? Да хоть с мужем, который слева

от нее лениво потягивает виски из высокого стакана. Как будто ничего не замечает. Привык, видимо...

Нет, осталась, с места не сдвинулась.

А Ивана так и подмывало по-мужски ей ответить, матом, но все же женщина, хоть и стерва... И еще такая некрасивая... Даже жалко ее... А самому встать сейчас ну никак нельзя — решит еще террористка либеральная, что он сдается ей на милость. И ведь в дискуссию с такими, даже не настолько пьяными, вступать бесполезно. Исторически безграмотны, терминами и ярлыками пользуются, как им заблагорассудится... Только-только с помощью самых элементарных, в школьном учебнике описанных фактов ткнешь их в их же ошибку, как вопить начинают, что ты непорядочный человек! Непорядочный человек... Клеймо... И попробуй отмойся потом. Лучше и не начинать.

Как все-таки уязвим человек любящий... Что любящий? Иван отвлекся от сиюминутности и стал думать, как бы поточнее назвать, что именно ему дорого... Родина? Но пути власти, любой — царской, советской, псевдокапиталистической, — так вросли в это слово, что скажешь — «я люблю свою родину», и тебя тут же зачислят в прислужники режима... А оправдываться совсем не хочется — «люблю, мол, отчизну я, но странную любовью». Вот как говорят человеку: «я люблю твое сердце», так Иван любил землю, на которой родился. И неважно ведь, шунтированное оно или нет, хорошо ли работают его клапаны, и сужены ли склерозом сосуды, перегоняющие через него кровь. Люблю, и все тут. Готов вместе с ней маяться... И что, вот этой суке про свое чувство говорить?!

По ровному гулу, который издает только богатая, эстетически оформленная жизнь — смешались в нем спокойные, уверенные голоса, чистый хрустальный звук чокающихся бокалов, постукивание серебряных вилок-ножей о

фарфоровые тарелки, — Иван уловил, что про него уже позабыли. Только тогда он встал из-за стола и пошел в ванную. Хотя бы лицо, гневом пылающее, остудить.

Тут тоже роскошь и чистота. Слишком яркий свет, усиленный белым кафелем и зеркалом-потолком, добавлял тревоги, и он дернул веревочку от люминесцентной трубки над умывальником — погасил общее освещение. Помещение перестало походить на огромный хирургический кабинет, равнодушный к человеческой боли. От лица, которое в голубоватом свете смотрело на него из овального зеркала, хотелось отвернуться. Никогда он собой не любовался, а теперь, злой и растерянный, стал себе совсем противен.

Будут тут мне указывать, за кого голосовать! Какого черта смолчал! Оскорбление не имеет половой принадлежности, не зря это слово среднего рода... Дорого слишком — уже не по карману — всепрощенчество по отношению к женщинам. К любым бабам. Кодекс джентльмена, по которому Иван сам себя воспитал, — он из девятнадцатого века. В двадцатом еще жив был, но сейчас-то явно устал диктовать свои правила. Устарел. Эмансипация, феминизм... Бабы сами боролись за равенство, пусть за свою победу (господи, всякая же победа — пиррова!) отвечают теперь.

Иван пустил холодную воду, наклонился над белой раковиной и подставил под тугую, резкую струю горящее лицо. Как волной накрыло. Неловко вдохнул и закашлялся — захлебнулся. С зажмуренными глазами наклонился за полотенцем — знал, что стопка чистых лежит на полке под тюльпаном умывальника. Прежде чем промокнуть, выпрямился и еще раз посмотрел на себя в зеркало. Капли воды, как слезы, стекали с его длинных ресниц... Но только его лицо там отразилось...

За спиной — на кино смахивая — началось параллельное действие. Иван так и застыл, следя за происходящим. Вот медленно открывается дверь — не распахивается, а приотворяется настолько, что в щель боком протискивается та самая пьяная стерва. Тихонько, не издав ни шороха, ни шелчка, поворачивает вертикально никелированную ручку — теперь заперто. Никто не войдет. Снимает очки и кладет их на опущенную крышку биде. Подходит к взятому в плен Ивану и за ремень разворачивает его к себе — не лицом к лицу, а пряжкой к своим тонким малиновым губам. Потому что уже стоит перед ним на коленях и, вплотную прижавшись близорукими глазами к ширинке — как будто нюхает, — пытается расстегнуть молнию.

Долго потом всплывала в Ивановой памяти эта картинка — лезла в голову, непрощенная. Никогда после не проносилось в одно мгновение столько разных, несовместимых, казалось, мыслей и чувств. Первое — самодовольство, ощущение мужского успеха... Ну, конечно, победы, раз эта сучка у его ног на коленях стоит... И ведь откликнулось в нем что-то... То, к чему импульсы не через голову идут. Потому что ум оставался ясным, оскорбление хорошо помнил. И после этого она может вот так?..

Нет, все-таки равенства никакого нет и быть не может. Женская сущность из других клеток состоит, тут сравнивать нечего. Кодекс чести к ним применять — все равно что из пушки по воробьям палить... Успеют увильнуть... Но его-то молния поддалась... И ему расслабиться, поддаться? Она сама пристала — она и отвечает. Стоп! За стеной же муж сидит! Тьфу, как они могут вот так, нагло, своего мужика опускать! Давай хоть ты, Ванюха, мужскому кодексу чести не изменяй по-мелкому..

А в дверь уже кто-то ломился. Муж?

Нет, Митькин голос громко шептал: «Тебе там что, плохо?» Угадал. Совсем противно было Ивану. Он так быстро застегнул молнию, что прищемил тонкую цепочку стриженной гадины, все еще от него не отпрянувшей. Дернул, вырвал одно звено, и пока шагал к двери, отцепил золотую змейку и бросил ее на голый кафель. Она зазвенела и свернулась.

Испуганный Митька застыл посередине ванной, прямо у рук все еще стоявшей на коленях девицы. Молодец, никого с собой не притащил.

А стриженной было все равно, пусть хоть рота войдет — без очков она, видимо, различала только одно — ширинку. И снова уцепилась за ремень, теперь Митькин. Ничего не соображает. Счастлива?

Вот она, цена нашего мужского самодовольства, подумал Иван. Дешевка. Но как ни накладно, а джентльменом то надо оставаться. Сверху вниз будем на них смотреть, тем более что они сами выбирают такую позу — у мужских ног на своих коленках. Часто.

И, схватив друга за руку, вытащил его в коридор.

Навстречу им спокойно, не торопясь двигался стержочкин муж, уже одетый. В легком кашемировом пальто он был. На согнутой левой руке лежала, как готовая прыгнуть кошка, короткая меховая курточка. «Норка», — проходя мимо, буркнул Иван. Сам себе или Мите? Муж никак на них не отреагировал. Видимо, отвозить восвояси поддатую супругу — обычная рутина для него. Что ж, каждый раз волноваться, что ли? Так, глядишь, и на карьере сил не хватит. А она только-только начиналась — в телевизоре начала мелькать его безусая морда. Не так часто, чтобы к ней уже была приклеена его фамилия, но у такого невозмутимого, хладнокровного человека все впереди...

В столовой за это время, долгое для Ивана, много чего подумавшего, и короткое для каких-либо действий, успела-таки смениться декорация. Длинный прямоугольник стола превратился в небольшой квадрат и встал углом в эркер. На нем хватило места для самовара, термоса с кофе и темно-зеленых чашек в золотом узоре стиля «модерн», больших и маленьких. Подходи, наливай, что хочешь. Низкий круглый стол из толстого бесцветного стекла, как небольшой пруд, разлился перед угловым кожаным диваном. На его глади, словно кувшинка, лежало большое белое блюдо с гроздьями черного, зеленого и желтого винограда, крутился светло-коричневый деревянный круг с мягкими и твердыми сырами (не нарезанными, конечно — кучка серебряных ножей была рядом) и камышами высились разные бутылки — Ракитка их лапал, поднося каждую к своим близоруким глазам. Плоская фляжка с зеленым пятидесятипятиградусным шартрезом удивила его, мальчика, больше всего. Откуда ему знать, сколько алкашей в советское время чертыхались, когда в магазинах вместо простой водки, которая всегда была в дефиците, натыкались они на штабеля четырехрублевых бутылок с зеленым пойлом странного терпко-горького вкуса. Одеколон и то понятнее. Исчез вскоре шартрез, целое поколение читающих слышало звон этого слова, но не знало, какого вкуса то, что им называют. Ракитка-то образованный, француз читал, и не только в переводе, так что его любопытство не было праздным.

Митя же с Иваном предпочли курвуазье — коньяк, говорят, мгновенно расширяет сосуды. Просто необходимо было снять одностороннее давление, которое оба получили в ванной комнате.

В противоположном углу вдруг громко, восторженно затараторил телевизор. Оказывается, и сейчас, как в римские

времена, поверженный противник может вызвать радость. Показывали ряды красных кресел, на которых, как на арене цирка после боя гладиаторов, с запрокинутыми головами валялись беспощадно черные коконы женских фигур. Одна почему-то притянула Митю к экрану, но разглядеть он ничего не успел — поздно подошел, и картинка быстро сменилась. Под арию Кати Татариновой телекамера подолгу останавливалась на пакетах из крафтовой бумаги, обмотанных проводами — висели они редкими гроздьями на тонких мертвых талиях, на креслах, на стенах...

Мелодия, которая летом показалась Ивану никакой, которая тогда совсем не пелась, теперь защемила сердце. Пришлось вздернуть лицо, почти запрокинуть голову, чтобы не пролить слезу, выступившую в уголке левого глаза. О чем-нибудь другом подумай! — приказал он себе.

Легко вспомнилось, как они с именинником смеялись над пустоголовыми обывателями, которые, собираясь вместе, ящик не выключают. Правда, в то, докапиталистическое время комнатки, как кувшины компрачикосов, были маленькие, и даже крошечному «кавээнэ» хватало власти, чтобы принудить всех его смотреть-слушать. Сейчас — совсем другое дело. Сиди-стой у эркера, и тебе даже не слышно, что там журчит. Но как было отлипнуть от экрана, когда защищали Белый дом... Или через два года, когда по нему стреляли... И вот теперь — тоже. Тем более что сошлись историки и журналисты, понимающие: каждого рано или поздно достанут последствия исторического события. Безопаснее побольше узнать, чем нервы-эмоции свои поберечь, закрывая глаза и зажимая уши.

Историки молча смотрели, а журналисты, которых профессия вынуждает всегда торопиться, скоропалительно комментировали увиденное-услышанное. Причем то и дело упускали, что им показывают уже препарированную

реальность. В советское-то время было проще — стоило чуток подумать, и сразу поймешь, с какой целью ее обработали. Теперь по-другому... Надолго ли? Кто-то, наверное, знает, но уже и сейчас многим понятно, что не навсегда. Все каналы еще во фронт не выстроены, разные генералы от информации отдают пока разные команды, и, сравнивая, можно в этой мутной воде живую истину выловить. Но вот так с налета — трудно понять, будь ты хоть трижды асом.

Да нет, они и не хотят в этом разбираться, решил Митя, понаблюдав за гостями. То у одного, то у другого в кармане или в сумочке начинало попискивать, и они спокойно, несуетливо вставали, чтобы в другую комнату уйти. Оттуда уже свое «алло» говорили. Воспитанность, тактичность помогает засекретить любые делишки. Причем на чужую мелодию ни один не потянулся к своей трубке — какой отточенный слух! Конечно, эти, аккуратненькие, специально постарались разные звонки настроить — иначе бы без повторов не обошлось. За деньги, должно быть, купили музыкальную эксклюзивность. Своих мобильных битлов Митя слышал у других слишком часто, поменял их на «Баньку по-белому», но и ее любил не он один.

Устал от чужих Митя. А что свои? Ракитка вел себя как историк — в споры не вступал. Слушал, вникал. Приязненно, Мите показалось — подобострастно, улыбался, встречаясь глазами с гневными обличителями действий власти. Других тут, что ли, не было? У Мити в душе зашевелилось раздражение от ракитинской мимики. Если уж не умеет или боится в открытый спор вступать, так не поддавай хотя бы, промолчи... Слабость это или хитрость?

Додумать ему не дал тощий, и этой худобой особенно неприятный, брюнет с такими же, как у Мити, усиками. Кашей бессмертный этот уверенно, не повышая голоса,

вещал, кичась секретной информацией, только что полученной по телефону:

— ...Это отчаявшиеся люди... Они просто настойчиво требуют диалога... А как по-другому? Кремль ни за что в переговоры вступать не хочет. Властям — как всегда было, есть и будет в этой стране — никого не жаль. Ни чеченцев, ни русских... Газ запрещенный применили... Никого не предупредили, что нельзя выносить людей на плече, с опущенной головой. От этого многие и задохнулись.

— Да откуда ты это взял?! — взорвался Митя. — Ты сам-то был там?

Брюнет сделал вид, что не может удостоить такого нахала ответом. Скорчил надменную рожу и ничего не сказал. Но Митя-то был тертым калачом. Не сдался. И сам ведь не раз пользовался высокомерием, чтобы не признаваться в неприятном. Поэтому продолжал так, как будто ему сознались — не присутствовал.

— Так вот к вашему сведению, каждого, кто идти не мог, двое несли, голову придерживая! Я там был и все видел! — Митя понимал, что преувеличивает — хоть он и не торчал на одном месте, но все видеть никак не мог. В лучшем случае ему доступна была малая правда — окопная, никак не командная. Ну и пусть! — Вы что же, предлагаете с террористами в переговоры вступать? Черномырдина забыли?! «Шамиль Басаев, говори громче!» Вот они до сих пор и вещают, диктуют нам свои правила... Да я горд за свою страну! Впервые, может быть! — кипятился Митя в полной тишине.

Презрительной ее можно было бы назвать, если бы она не была разбавлена стойким, стоическим молчанием Ивана. Сдерживал его долг многолетней дружбы с именинником. Конечно, если бы выпил как следует — драки не миновать. С кем? Со всеми!

Душу разрывало безвыходное сострадание мертвым — и погибшим зрителям, и убитым молоденьким чеченкам, которых — ему ли не знать Кавказ! — приговорило к смерти насилие. Насилие, пропитавшее нефтеносную землю, южный воздух и заключенных между ними людей... Насилие, которое никакими заборами-кордонами нельзя купировать, которое силой не удержать...

И бездействие невозможно... Наивно надеяться на восстановительные природные силы, которые — бывает, бывает! — побеждают болезнь, если врачи не вмешиваются. Власть не может не вмешиваться. Она должна что-то делать, это ее природное право. Вся беда в слабости государства. Власть без государственности ничего не стоит... Вот, например, белое движение. Уж какая была сила! Цветные элитные полки дроздовцев, корниловцев, деникинцев... Запад Врангеля признал... Но не сумели государственный организм создать-восстановить — и большевики их одолели... А вдруг окажется, что сильное государство на нашей земле может быть только сталинского типа?..

Со стуком поставил Иван свой бокал на стеклянный стол и к выходу направился. Шел медленно, чеканя шаг — армию вспомнил... Вот когда умение маршировать пригодилось!

У лифта его Митька догнал, а Ракитка, тот еле успел к ним в машину залезть — чуть было без него не уехали. Газанули, но через пять минут Митя притормозил у обочины.

— Нет, не могу! Неужели все либералы так думают? Сейчас же Маркельча спрошу! Черт, он же в Германии. Ну и отлично, туда звякнем. Там сейчас сколько? Одиннадцать? Значит, не разбудим...

Поднять с постели пришлось Агашу — как иначе было добыть номер немецкого телефона?

Она вообще когда-нибудь злится? — подумал Митя, когда услышал сонное, но все равно приветливо-участливое, совсем не отталкивающее «алло». Ангельское терпение — это что, дар такой? Именно терпение, а не равнодушие... Ну и дурак же Ракитка... Таковую упустил.

Не похож малец на глупца, умен-расчетлив совсем не по-детски. Правда, уж очень как-то осторожно обустроивает он пространство вокруг себя — сперва огораживает, метит, как собака, территорию, а потом впускает туда нужных ему людей. Долго, тщательно — насколько ума хватает — к ним присматривается, расставляет по удобным ему местам, выбрасывая тех, кто уюту мешает, и только тогда начинает прицениваться к следующим владениям.

Царапнула эта мысль, даже не целая мысль, а только ее осколок, но Митя тут же его смахнул, рванувшись к той, что мучила именно сейчас.

— Ты-то, Агашка, с нами? Победе нашей радуешься?

— Хорошо, что все кончилось... Но ведь не спортивный же матч был... Команда шахидов против... Против кого? — Агашин проснувшийся голос уже опять звенел. — Против случайных зрителей или против целого государства? О какой победе ты говоришь... Да родственники погибших за одно слово «победа» имеют право нам в лицо плюнуть. Опять к старому, опять все мы — только винтики? А если с точки зрения интересов государства смотреть... То надеюсь очень... как и ты, хочу верить, что жертвы не бессмысленны, но сейчас слишком поздно, чтобы так глобально думать. И слишком рано для подведения итогов. Столько непонятого случилось! Нет, об этом мы завтра...

— Алло! Алло! — закричал Митя, но в его трубке была полная и окончательная тишина. Аккумулятор сел. Гул истории заглушил пiski-предупреждения маленького аппарата.

Три товарища, Агаша, старик

Мите же сегодня, сейчас нужна была определенность... Зачем? А зачем, когда страсть захлестывает, во что бы то ни стало именно сию секунду требуешь встречи. Ну что изменится, если ее перенести? Да не дожить может человек — вот что случается.

Митина вспыхнувшая страсть, любовь к отчизне была слепа и не хотела знать-видеть ничего, что ее бы остановило. Он как будто собирал армию единомышленников, чтобы защищать родину... Армию?! Отряд пока состоял из него, Мити... А кто еще? Иван слишком Кавказ любит, чтобы и его в строй призвать... Тогда Ракитка? Нет, ненадежен. Помалкивает как-то странно. Присматривается, что выгоднее? Маркелыч-то не оплошает? Должен присоединиться!

Не поворачивая свое грузное, никак не худеющее тело к Ракитину, который беспокойно ерзал на заднем сиденье, Митя молча выбросил правую руку назад, за мобильником. На распахнутой пятерне оказалась помятая коробка «Мальборо» с одной-единственной сигаретой. Жмот, что ли? — мелькнуло у Мити. Специально для угощения валяется у него в кармане такая хилая заначка?

Но где уж тут додумывать! В следующее мгновение пустая пачка, ставшая комком, летела в форточку, незажженную сигарету бросало из угла в угол Митинога рта, а указательный палец его правой руки по памяти — с первого раза запоминал он любой, самый длинный, номер, — тыкал в кнопки лежащей на коленях Ивановой трубки.

Глава 13

Маркелыч в этот темный час сидел перед раскрытым ноутбуком, тупо уставившись на включенный экран, где рыбка-красноперка снова и снова медленно плыла из нижнего левого угла в верхний правый, по диагонали. Да, профессор, смотришь в книгу, а видишь... Вначале-то заставка была другая — еще в Москве он скачал из интернета фото своего семейного триумвирата, которое сделал Иван, случайно забредший с казенной цифровой камерой на литературную тусовку. Незаметно как-то он подкараулил миг, когда реальность сольется или хотя бы приблизится к той картинке, которая, как идеальный образ модели, инстинктивно возникает в уме настоящего фотографа. Не успела семейка перед съемкой зажаться, ведь такой продвинутый аппарат не надо к глазам подносить — на вытянутой руке его Иван держал.

Редко, очень редко получались такие удачные снимки.

Агашино лицо никак не усаживалось на глянцевую или матовую плоскость без несовместимых с его живостью потерь. Только с третьей попытки удалось ей сделать скорее менее, чем более сносную фотку для нового паспорта — пересниматься пришлось не из-за женского «симпатично — не симпатично», а из-за прагматичного «узнать —

не узнать». Даже регулярные читатели еженедельной колонки, увенчанной квадратиком ее застенчивой рожицы, знакомясь с автором, говорили: «В жизни вы совсем другая... Что за сапожник вас снимал!»

А ведь Агаша готовилась — час целый выкроила на парикмахерскую, потом полчаса неподвижно на стуле просидела, пока с ее бровями-ресничками что-то делала коллега-приятельница из модного журнала. Не «за так» постаралась умелица — Агаша безотказно снабжала ее качественным чтивом, без возврата, «с концами». (Кто теперь считает зазорным книжку зажилить? Да Агаша всякий раз радовалась, когда у нее почитать просили то, о чем она писала. Не зря, значит, так старается. Если было вдруг несколько желающих на один томик, то она частенько добывала второй-третий экземпляр — в издательстве клянчила или, что проще — сама покупала.) И еще минут сорок шелкал ее совсем не сапожник, а один из лучших фотографов их знаменитой газеты — стоя, сидя, «голову поверни налево, правое плечо опусти, шею вытяни... да не морщи свой лобик! Губы, губы не сжимай! Что, не знаешь — фотомодели всегда зубы показывают!..» Получился портрет старательной девочки. Не девушки даже, и уж точно — не зрелой женщины. Но ведь это тоже была она, Агаша.

Так вот от одного взгляда на семейную фотографию у Маркелыча мокрели глаза уже через пару недель комфортного немецкого житья-бытья. (Но не бытия. В чем разница? Философское бытие — это когда мысли свободно набегают одна на другую, когда любое житье-бытье — только подгоняющий их ветер, пусть дует он то сильнее, то слабее, меняет направление, вихрем или даже ураганом становится, а все-таки из глубины живущего-думающего что-нибудь новое, неожиданное достанет.) Он даже не сразу

сообразил, отчего плакать, как ребенку, хочется... Может, аллергия, съел что-нибудь не то...

Застукал его однажды, в самый разлив такой немужественной сентиментальности, хозяин дома, который и на заработки пригласил, и бесплатный кров обеспечил. Университет-то на всем экономил с рутинной немецкой педантичностью (ничего личного, национально predeterminedенного в ней не было). Ладно бы, только дорогу-жилье не оплатили, так еще и за холостяцкую жизнь взыскали, и налог на лютеранскую церковь содрали. Есть справка о конфессиональной принадлежности? Нет? Тогда и говорить не о чем. Плати.

По почте счета Маркелыч получил, за «фрюштюком». Дитрих сердито ел ежедневные несладкие мюсли. Нормальный, сытный завтрак он позволял себе только по воскресеньям, а по будням — без вариантов, жестко. Овес, который ожесточает.

Хозяин мрачно выслушал деликатный (как бы лишний раз не побеспокоить!) рассказ гостя и лишь пробурчал, не поднимая глаз от глубокой плошки: «Все претензии к Шредеру. Экономiku развалил, теперь налогами прижимает. Вразуми в Москве своего президента, с которым он так обнимается». (Сделал вид или вправду не понял, что его о помощи просят?)

Гоголевская ситуация — Бобчинский просил Городничего царю что-то сказать... «Вразуми президента!» А сам даже к мелкой налоговой чиновнице отказался финансово пострадавшего сопроводить.

Но Маркелыч не сдался, один пошел. Вспотел от унижения, от скудности своего немецкого, от непривычки деньги выпрашивать... Чиновница-то поняла, что не холостяк он, что есть у него и жена, и дочь. Но ей же доказательства нужны. В иностранном паспорте о семейном

положении — ни слова, русский паспорт дома остался, предъявить он мог только ту фотографию, из компьютера...

Не поленился, распечатал ее, цветную. Наивняк!

Записался на прием к начальнику буквоедки. А тот совсем по-советски, как фокусник, другой аргумент вынул: «Ваша страна не является членом Европейского сообщества...» Чистая правда, но при чем тут это? От возмущения Маркелыч не смог составить даже простую фразу из немецких слов, в сердцах по-русски выкрикнул: «Против лома нет приема!» и громко хлопнул дверью кабинета муниципальной финансовой службы. Вот и вся месть. Ну и черт с ними!

...Может, спать залечь? Завтра утром останется ровно тринадцать дней до конца. Конца чего? Добровольного самозаточения — вот как Маркелыч себя тут чувствовал. Нет, сейчас еще слишком рано в кровать отправляться. Хотя бы до полуночи надо досидеть, а то опять проснешься часа в четыре — и ворочайся до утра или лежи на спине, болтая со звездами, которые подглядывают за тобой через стеклянный фонарь в покато́й крыше. Горькие мысли толпой так и прут в беззащитный, расслабленный ум. Днем-то он научился на подступах отгонять их, — что толку мусолить очевидное, теперь ведь это никак не исправить... Мог бы сообразить, что сорок дней под одной крышей с неродными людьми — риск. И зачем было подвергать ему десятилетнюю дружбу-сотрудничество с немецким славистом? Пусть он сам предложил, пусть дом двухэтажный, и комната для гостей отдельная, и ванная у хозяев своя, у гостя своя, и обе дочери живут в других городах, редко навещающая родителей...

Все равно стало тесно. Почему, Маркелыч никак не мог понять.

Обобщать по-бабски очень уж претило, но что поделаешь, если в голове, стоит только одному остаться, как будто кино крутится из неприятных, неудобных, стыдных слов-ситуаций... За себя Маркелыч стыдился...

Взять хоть подарки... Сколько времени в Москве потратил, чтобы придумать-купить их... Привез электронную энциклопедию, новые тома Константина Леонтьева, которым Дитрих уже лет семь занимается. Занимается... Глагол этот в несовершенном виде обнажает разницу между ученым и художником. Какую? Гуманитарная наука — это процесс, а искусство, творчество — результат. Классно сделанная вещь живет независимо от ее автора. Бывает, и века, и тысячелетия живет. А любое научное исследование может быть продолжено, углублено. Так вот Дитрих в процессе находится — статьи пишет, на конференциях выступает, две книги о Конст. Ник. у него в работе: отдельно о творчестве и отдельно о жизни.

К тяжелой стопке русских даров добавил профессор и свеженький сборник своих опусов. В инскрипте на титуле перечислил страницы, где дар принимающий упоминается-цитируется. Длинная строчечка получилась, похвалил даже себя Маркелыч за тонкую предусмотрительность.

Именно что нечаянную. Ведь инстинктивно, неосознанно, уже в университете, с первого же курса, если знакомился с пишущим — хоть знаменитым ученым, хоть начинающим автором-студентом, — то сразу добывал и читал его статью-книгу. Сперва одну, а дальше — от качества все зависело... Особенно ценил тех, кто усидчиво добывал разбросанную по архивам информацию. И ту, что на полках государственных и частных спрятана, и ту, что из подвалов человеческой памяти умеют некоторые добывать. Конечно, чаще-то, особенно в советское время, печатались любители

из книжки в книжку переписывать. Освежат цитатками из последнего установочного доклада — и выдают, отнюдь не шутя, за свое.

Всегда ссылался Маркелыч на чужие труды. Особенно на работы знакомцев. Как порядочный человек и добросовестный ученый. Его-то самого так щедро никто не упоминал. Ладно бы только забывали, так еще врут без зазрения совести. И кто? Один нравственно-научный авторитет печатно ляпнул, что еще совсем не исследован Тынянов-критик, о котором у Маркелыча — на минуточку — большая статья в достаточно тиражном сборнике опубликована.

Не сдержался профессор, при случае запальчиво упрекнул составительницу-издательшу. Единомышленницу по оценке формалистов. «Да это Леон Михалыч всегда все путает!», — отмахнулась та. Совсем не смутилась. Что с бабы взять! Редко какая признает свою ошибку, на другого всегда они сваливают. Насчет ее собственных трудов в этом сборнике не только все неточности были устранены ею, редактором, но и оценочные трактовки беззастенчиво отцензурованы. Многие авторы на нее тогда жаловались. Шепотком, не оставляя печатных следов. Начальница, мало ли что...

Маркелыч же получил чувствительный урок: только в сильной позиции можно свою обиду демонстрировать. Только тогда, когда можешь добиться реального результата — письменного извинения, исправления ошибки или, по-современному, денежной компенсации. Иначе — запомнят, что и дальше с тобой можно не считаться. Поздно вато дошло...

А Дитрих про Маркелычеву книжку слова не сказал ни на следующий день после получения ее, ни через неделю, ни через две... Конечно, он все время в цейтноте, занят

очень, но есть же нормы научной вежливости... Напряжение росло...

Оказалось — с обеих сторон. В той самой сильной позиции был, конечно, Дитрих. Как-то после ужина, когда они вдвоем перешли из столовой в гостиную, высказался.

Был простой, не праздничный вторник, поэтому хозяин принес из подвала по будничной малютке пива. Объемом ноль тридцать три. Маркелычу-то хотелось вина французского, запас которого по русским меркам был необъятен и разнообразен — на первой, дружелюбной, экскурсии по дому были с гордостью продемонстрированы подвальные сокровища. Но гостя никто не спрашивал, а нарушать аскетические обычаи он стеснялся. И чем дальше, тем больше.

Самому выставить магазинное вино было как-то неловко, намеком бы это могло показаться, и Маркелыч, как преступник какой, украдкой покупал в супермаркете дешевые четвертинки «божол» нового урожая и в одиночку, прислушиваясь, не идет ли кто к его двери, пил их из горла на своей верхотуре. Пустую тару в портфель складывал. (Не уследил — обкапал все тряпичное его нутро, в Москве потом долго от каждого пятнышка душу саднило. Не потому, что вещь подпортил, а потому что себя заляпал...) В городе выбрасывал бутылочки, по дороге в университет. Тоже украдкой. «Мусорным туризмом» у них это высокомерно называется.

После первых же — гневных — хозяйских слов Маркелыч задрал голову, залпом выбулькал свою бутылку и потом зачем-то держал ее, пустую, в правой руке.

Совсем не церемонясь, без всяких там предисловий-подводок (для цирлих-манирлихов нужно более тонкое знание языка и с собеседником хоть чуть-чуть надо считаться) Дитрих — с места в карьер — принялся выговари-

вать профессору Маркелычу, как студенту-аспиранту какому-нибудь:

— Какое право ты имел меня аполитичным назвать?! — Риторический по форме вопрос прозвучал как однозначное обвинение. — Мои враги это прочитали и тут же воспользовались! — Дитрих поставил свою бутылку с таким стуком, что зарычала полуглухая далматинка, дремавшая на диване. — Выступаю я с критикой одного французского левака, и вдруг завкафедрой педагогики меня перебивает. Говорит, что я в политике ничего не смыслю. И цитату из твоей статьи в доказательство приводит!

Ни одной ошибки не сделал Дитрих. Все склонения-спряжения безупречны. Впервые, кажется.

— Не может быть! — Маркелыч почувствовал, как от ужаса, от того, что уже ничего не поправить, не изменить, краска его всего заливает. Даже лысина от стыда горит, а на губах деревенеет растерянная улыбка, которую — он уже знал, даже близкие укоряли, — читается всеми однозначно. Как насмешка. Закрыв лицо руками — чтобы уж и виноватый взгляд спрятать, — он попробовал оправдаться: — У нас, в России, «аполитичный» — похвала... Это значит, что человек власти не прислуживает... Я только этот, томас-манновский смысл в виду имел, ну, «Записки аполитичного»...

Рот закрыт ладонями, речь сбивчивая, жалкий лепет какой-го...

Дитрих ничего и не разобрал. Переспрашивать, то есть, признаваться, что русский не так хорошо знает, конечно, не стал. Куда там... Рассердился еще сильнее, расвирепел прямо. Но смолчал. Допил, смакуя, с демонстративным удовольствием, свое пиво и вежливо, демонстративно вежливо — кровь в жилах от этой учтивости стынет, — пожелал «спокойной ночи» и удалился к себе.

Издевается? Пользуется тем, что и здесь некуда Маркелычу деться, и домой, в Москву, не сбежишь до конца семестра, пока срок не истек. Тюремный срок... Ну и терпи, заключение-то добровольное...

Дома Маркелыч выскочил бы на улицу и там, шагая-бегая, обдумал все и успокоился. А здесь — смыться-то можно, а как вернуться? Ну не получается у него сразу, бесшумно открыть их замок. Разбудишь чуткую собаку, хозяев... Лай поднимется, как в концлагере. Пришлось подняться в свою камеру, где запертые мысли до боли стучат в виски и не дают спать.

Так вот почему Дитрих так ненавидит всех левых писателей, «этих Сартров-Брехтов». Такая сильная страсть обычно не гнушается вранья. Все что угодно ради нее могут подделать... Теперь надо будет проверить, не его ли собственная это выдумка, что за Брехта все написала влюбленная баба и что он только притворялся пролетарием, а сам в роскоши купался — куртку из самой лучшей лайки носил, в платиновой, немислимо дорогой оправе круглые очки у него были...

Вспомнилось, как Дитрих гневался на уравниловку в налогах, как возмущался, что состоятельные за бедных должны платить. Пусть лучше безработные, мол, будут, чем такая обдираловка. И беженцев-нацменов слишком много в Германию пускают, говорил... Да он правый в политике, яро правый. Безразличием, аполитичностью тут и не пахнет.

Господи, да не укажи я сам на посвященные ему пассажи, он бы никогда и не узнал про мое заблуждение, ругал себя Маркелыч.

А утром Дитрих веселый был. С собакой гуляя, в булочную заглянул, к будничному завтраку купил праздничных круассанов, которые себе только по уикэндам позволял.

Для гостя постарался... Политика кнута и пряника? Кнута и круассана...

Действие ее Маркелыч еще не раз на себе ощутил. Вот и сегодня... Пришлось просить, чтобы Дитрих открыл дубовую темницу, в которой был упрятан старенький черно-белый телевизор. Так алкоголики убирают с глаз долой все спиртное — чтобы искушению не поддаваться. Не попавшим в зависимость, свободным людям все равно, что маячит перед их взглядом. Захочу — посмотрю, а нет — не замечу и включенный экран.

Дверцы старинного шкафа хозяин открывал всегда с брюзжанием, нехотя, как будто его кто-то заставлял. Но Маркелыч ни разу до московской трагедии не был этим «кем-то». Полтора месяца прожить без телика ему ничего не стоило, никакого насилия над собой. Дома он иногда — по собственному наитию, а не по указке телепрограммы — заглядывал в комнату с «говорящим ящиком» и под настроение мог новости посмотреть. Про Митину еженедельную программку, десятиминутную, иногда вовремя вспоминал — с удовольствием вколупывал в его скороговорке жемчужинки остроумия и удивлялся, откуда берут столько понимающих петухов-зрителей, чтобы удерживать эту элитарную сатиру в телевизионной сетке.

Пару раз посмешило Маркелыча разнузданное шоу, имитирующее современные нравы. Но как только уловил шаблон, по которому оно кроится, сразу надоело. Ну и перестал эту программу включать. А сколько праведного гнева на нее выливалось! Плюются и смотрят... Типичное для обывателя отсутствие логики (мужчина он или женщина — все одно), ничего в этом парадоксального нет.

Кино настоящее или даже развлекаловка качественная могли Маркелыча в кресле удержать, но чаще всего волной вдруг поднимались скука или раздражение и уносили

в кабинет, к книгам и ноутбуку. В общем, долгое время у профессора были естественные, ничем не извращенные отношения с ящиком, никак он их не регулировал — на интуицию полагался.

Пока, как все почти во всем мире, не прилип к жуткой картине «башня-самолет». В реальности беда стряслась дважды, а сколько раз ее показали, сосчитать невозможно. И вот этот повтор уничтожил, вытоптал незаметно сострадание, сочувствие к жертвам, то есть человека-зрителя в монстра превратил, который эмоционально уже не реагирует на полученную информацию. Переедать опасно, того и гляди не заметишь, как колорадским жуком станешь...

Так вот, двадцать четвертого октября, суббота. Вечерние новости Дитрих нехотя, но тоже сел смотреть. Параллельно, правда, усердно правил дипломную своего студента. И как соавтор работал, и как редактор, и даже как простой корректор... Зачем такая тщательность в учебном процессе? — подумал еще Маркелыч. — Вот откуда у него цейтнот постоянный. Может, загружает так себя, чтобы с мыслями о жизни не оставаться наедине?

Трупы террористов и безжизненные тела заложников — вот что у них показывали. И еще интервью наших фээсбешников — крепеньких мужичков с не запоминающимися лицами и с привычно косящими от лжи глазами. Русскую речь дикторы заглушили своим собственным, немецким комментарием: «В Москве произошло очередное государственное убийство мирных людей, спровоцированное геноцидом чеченского народа. Подставные представители спецслужб набрали на Кавказе команду молодняка, воспитанную на ненависти к русским, которые готовы были умереть за родину и без заложников. Но государство не могло допустить, чтобы они стали героями, поэтому и

только поэтому оказалось столько жертв. Неизвестный газ, непрофессиональные действия, русская секретность...» Короткий был сюжет, и не в топ-новостях прошел.

У Маркелыча сердце сжалось — и заложников жалко было, и свою несчастную страну.. и разложить на составляющие это щемящее чувство было невозможно. На бумаге только легко места расставлять: на первом — интересы личности, на втором — государства. Всей душой был Маркелыч за такую последовательность. Но вот, отлетел на расстояние и увидел, как крепко они связаны друг с другом, эти интересы. Более-менее просто и понятно только, если личность взять не абстрактную, а конкретно себя всегда иметь в виду, свою шкуру. Свою рубашку, которая ближе к телу.

Демонстрировать вдруг повеселевшему Дитриху свой раздрызг ни за что сейчас не хотелось. Маркелыч изо всех сил руки сцепил — синяки потом остались — и уже приготовил слова, чтобы уход оправдать (кроме «голова болит», ничего в голову не пришло)... Но хозяин объявил, что сейчас за вином в подвал сходит. Приговор к удовольствию был окончателен и обжалованию не подлежал.

Одна слезинка все-таки сбежала из уголка правого глаза Маркелыча... Хорошо — успел до возвращения Дитриха промокнуть ее бумажным носовым платком: чистый белый квадратик всегда лежал в заднем кармане его брюк. Чтобы окончательно не разнюниться, Маркелыч стал думать, почему Дитрих так оживился...

Неужели, как простой человек, радуется, что не с ним беда стряслась... Или до сих пор Россию презирает? Не может забыть, как в семьдесят втором тяжело было ему, западному немцу, стажироваться в Питере? Ищет и находит доказательства, что все осталось по-прежнему? И ведь чего-то особенно ужасного за тот год с ним не приключи-

лось. Бытовые неудобства, обычное советское хамство, сосед-стукач, Леонтьевым не разрешали заниматься... Еще что? Купить ничего нельзя — так ему прислать могли, и сам привозил, и жена его навещала. Она и правда пострадала — инфекцию подхватила кишечную... Нет, ничего криминального с ним не стряслось. Или у свободного человека совсем уж другая система оценок?

Конечно, все у них по-другому. Вчера вот в кино от одиночества Маркелыч подался. Все равно было, что смотреть, только бы из золотой клетки вон... Хорошо, попалась не полная ерунда. Английский фильм о женском католическом монастыре. В газетах писали, что Ватикан протест выражал, запретить картину вроде даже пытались — чересчур утрирована, мол, там жестокость...

И что же у них зверством считается? Волосы у провинившейся коротко состригают... Бьют-кричат на послушниц, разговаривать во время работы друг с дружкой запрещают... Сбежишь — сам отец грешницу обратно вернет. Но удрать можно, и не обязательно в родительский дом... На терпеливый русский взгляд — тяжело, конечно, монашкам жилось, и все же не безвыходно... Не так изощренно над ними издевались, как бывало, и часто, в самых обычных советских коммуналках. (Бедность — очень благоприятная среда для распространения микроба насилия, который в каждом человеке дремлет. Но и каждый же может постараться его не пробудить.)

Дитрих же как заладил твердить, что все мы, советские, были жертвами, так его не собьешь... И что, за это всех нас презирать? А-а, теперь понятно, почему он, единственный, наверное, из зарубежных славистов, за тридцать лет не оброс русскими знакомствами — прислужниками брезговал, а равенства не терпел. Да и как с ним поспоришь — предвзятый взгляд только наши ляпы и видит...

Миф построен — доказательств его долго искать не надо: вот они, под рукой.

За что был отлучен от дома новосибирский профессор, которого в начале девяностых Дитрих у себя принимал, как теперь Маркелыча? Не только из-за советскости: ну никак не хотел сибиряк хаять прошлую жизнь, «при коммунистах». (Свою единственную жизнь, в которую вместились его молодость и успешная карьера.) Но и потому, что ни разу не помог стол сервировать-убирать (да он не догадался просто, не заведено в наших семьях, чтобы мужчина под ногами мешался) и при хозяйке, не знающей русского, на немецкий забывал переходить...

Услышав эту, через губу, брезгливо рассказанную историю, Маркелыч тотчас себя по всем параметрам проверил: насчет прошлого — чист. Хоть под микроскопом рассматривай не только биографию и написанное, но и помыслы. Без насилия над собой, без геройства у него получилось, что не вступал (в партию), не цитировал (Ленина и следующих за ним генсеков), в травле ничьей не участвовал...

Главным для него всегда был эстетический критерий. С годами, правда, он так окреп, что трудно стало рассчитывать силу критического удара. Увлечшись и про легко ранимость творящих забыв, кому угодно Маркелыч врезать мог. С угрозой для жизни. Своей жизни, не чужой — животный инстинкт самосохранения любым душам помогает увернуться или защититься от критических стрел. Фантазия писательская тут и у самых приземленных эмпириков (авторов скучнейших, банальнейших романов) начинает работать: придумывают, что мстительный критик личные счета сводит, что в спешке не понял-не прочитал до конца их эпохальное творение, что заговор молчания кем-то организован...

Ну а физически теперь, слава богу, никакие буковки уничтожить никого не могут. Да и не был Маркепыч таким критиком-ниспровергателем, который считает своим пьедесталом чужую могилу.

Открыто с ним редко кто спорил. Пыталось несколько смельчаков, так он своими ответами отбил охотку не только тем, кто на это решился, но и других уже не тянуло. А потом настали такие времена, когда любая брань на ворота не виснет. От ругани только известности прибавляется. Вот уж чего Маркепычу никто не желал. Ну и не надо. Я сам, решил он.

Но насчет быта профессор был очень уязвим: когда думал о чем-нибудь не житейском, вслух или про себя, запросто забыть что угодно мог: чистую чашку-ложку из шкафа достать, например, или приладить грязную в посудомоечную машину. Искусству рационально заполнять ее внутренности он так и не обучился, хотя Дитрих много раз — и раздраженно, и терпеливо, — выдвигал из машинного нутра двухярусные решетки, плоску, только что сунутую Маркепычем на нижний этаж, ополаскивал холодной водой — «иначе овсяные хлопья присохнут», — и умудрялся приткнуть ее наверх, бочком, между штырями. Свет в ванной, бывало, не выключал гость — преступление, которое хозяин даже на суд общественности вынес: при посторонних вспыллил.

Виноват, виноват, совсем сник Маркепыч. Дома, в Москве, сказал бы себе — ну и ладно, сам все испортил, сам и отвечу. И ушел бы. А сейчас даже к себе, наверх, ретироваться нельзя — вон как Дитрих разговорился. Плевать ему на мое настроение? Или мне удалось притвориться спокойным? Скорее, и то, и это, но главное — умеет он всех на расстоянии от своей души держать, ни на кого не распаляется так, чтобы вражду к конкретному человеку сде-

лать жизнеобразующей силой. Мудрость это? Или у всех немцев такая рыба кровь?

Да, вопросец... Тянет все-таки опять в двоичную систему «хорошо — плохо»... Лучше бы постараться принять — понять эту больно ранящую реальность, а не отгораживаться от нее с помощью примитивной, все упрощающей оценки. Ведь стоит только признать кого-нибудь отличником по части ума-поведения, и сразу, как в детстве, тянет брезгливо от него отвернуться. Вот двоечников в спарринг-партнеры брать — одно удовольствие. «Я лучше» — бодрит, если хоть один раз в день такое мелькнет.

Маркелыч задержал во рту темно-бордовую терпкость и, глотая, почувствовал, как она начинает расправлять напряженные жилочки. Вникнуть попытался в то, о чем Дитрих вещал. Монолог хозяина больше походил на профессионально-привычную лекцию (рыбья, рыба у них кровь!), не предполагающую никакой реакции единственного слушателя (собака снова задремала). Ни поддакивания, ни спора ему не требовалось. «Угу» или «хм-м» некуда было вклинить.

Будь Маркелыч к себе почестнее, и за собой бы такую монологичность признал — на чужом языке ведь гораздо проще самому говорить, чем на диалог переключаться. А для немца-слависта русский остался даже слишком чужим. За тридцать лет и с нелюбимой сожительницей можно свыкнуться, научиться лавировать, острые углы обходить, но Дитрих с русским так и не сжился, корявости-ошибки из года в год одни и те же лепил. Маркелыч сперва каждую исправлял — и Дитрих сам об этом просил, и абстрактно ясно же, как это полезно. Но очень скоро, как только на «ты» перешли, и до Маркелыча дошло, что уязвлен всякий раз тот бывает, когда ему замечание делают, и Агаша, напряженность сразу уловившая, попросила отца при ней не

поправлять ударения-согласования Дитриха. Заметила, что тот от стыда злиться начинает. Не столько на себя, сколько на правщика. (Общечеловеческое это свойство — гонцу с дурной вестью глотку свинцом заливать...)

И стал Маркелыч вслух ошибки поправлять лишь тогда, когда иначе не получалось верх в споре взять. Против лома нет приема...

А спорили они друг с другом чаще, гораздо чаще, чем соглашались. Чаще... Хоть разок, хоть в чем-то удалось Маркелычу упряма переубедить? В голове несколько ситуаций промелькнуло, и всегда один и тот же ответ — нет.

Ну, насчет Леонтьева и пытаться было бесполезно, тем более что по части разрозненных сведений, по количеству прочитанного тягаться с немецким педантом было бы даже неразумно. А вот по части усвоенного... Как бы это лучше объяснить?

Дитрих знал каждый листочек, каждую ветвь этого раскидистого дерева породы «публицист — прозаик — литературный критик — политический и религиозный мыслитель», особенно тщательно исследовал кривоватости всякие, недоразвитости, рожденные писательскими амбициями К.Н. и недостатком словесного его дара. Маркелыч же не то чтобы изучил (ну да, все доступное прочитал, конечно), а с первых страниц почувствовал, что одна у них с Леонтьевым корневая система. Прекрасное — вот главный аршин, эстетика — вот наилучшее мерило для истории и жизни. Правда, по Леонтьеву, оно обречено вступать в неравную борьбу с двумя другими критериями оценки жизненных явлений — нравственным и религиозным. Для Маркелыча же эти критерии были все-таки внешними, вглубь его души не проникли, так что понимал он классика, но не солидаризовался с ним, сам собой остался.

Но что Дитрих у русского эстета принимал, что нет — не сумел бы Маркелыч четко проартикулировать... А сам Дитрих, он смог бы? Хотя столько раз о Леонтьеве говорили. И мирно, очень спокойно, бывало, рассуждали, и на могилу К.Н. в Гефсиманский скит Троице-Сергиевой лавры вместе на электричке спутешествовали, и верстку толстенной Дитриховой монографии в руках своих Маркелыч долго мусолил: автор помочь попросил — проверить русские цитаты, то есть треть фолианта самым тщательным образом проштудировать. Маркелыч и так бы сделал, за «так», как друг, но выяснилось, что немецкий университет выделяет деньги на консультирование своих профессоров. Тысяча марок по ведомости, с распиской, все чин-чинарем, полагалась за эту работу. Не профессорского уровня, если честно признаться.

Ко всем Дитриховым закидонам, казалось, уже Маркелыч привык, и все-таки сейчас понять не мог, почему московскую трагедию тот никак не прокомментировал. Ну ни словом не обмолвился. Как-то уж слишком бесчеловечно это, по-фаши... Черт, опять клеймить тянет, прямо по-дворовому обозвать немца хочется... Но ведь этот зануда не счел нужным даже ритуально посочувствовать, простая же учтивость это велит. Значит, во всем согласен с официально-телевизионными обвинениями. Тогда чего ж сдерживается? У себя-то дома! Неужели думает, что я могу взорваться, как Леонтьев его? Хлыстом ударил Константин Николаевич французского консула, когда тот о России посмел оскорбительное что-то сказать. Да, и я мог бы, подумал Маркелыч и приосанился.

— Отец мой отказался в нацистскую партию вступать. Поэтому на русский фронт его не послали. Выжил, — сказал Дитрих, как ни в чем ни бывало откупоривая новую бутылку.

Пробку, с чпоком выскочившую из горлышка, он поднес к носу, одобрительно понюхал и только после этого осторожно, стараясь не тряхнуть сосуд темно-зеленого стекла, налил в специально принесенный чистый бокал лужицу красной жидкости. Посмотрел на свет — остался доволен, глотнул и стал во рту вино, как шарик, перекачивать. Будто полощет. Медленно все проделывал, с кайфом.

Не первый раз наблюдал Маркелыч за этим ритуалом. Ревниво смотрел — дома потом пару раз попробовал себе-зьянничать. И сам себе смешон показался, и насчет вкуса молдавского каберне мало что понял. Ясно, что не французское, но два сорта вина отличать, хорошее и плохое — маловато для того, чтобы вступить волонтером в армию гурманов, в которой Дитрих, безусловно, принадлежал к офицерскому сословию. Определить, сколько звездочек на его погонах, Маркелыч не мог — знаний-опыта не хватало. Что делать оставалось? Смотреть и завидовать.

— Когда у вас, в России, сравнивают сталинизм и гитлеризм, то главного не учитывают: в Германии в страхе жили только евреи и коммунисты, их и только их репрессии касались. Остальных никто не трогал. Они могли нормально жить.

Дитрих сделал паузу после необычно длинного для себя пассажа. Абсолютно грамотного. И орфоэпически — ни одной явной ошибки. Только вот «нормально» — это как? Спросить? Боязно. Не решился Маркелыч.

— А у вас... — Опять пауза. Угрожающе-пригвозждающая...

Как на допросе стал чувствовать себя Маркелыч, хотя к нему, по-видимому, у Дитриха не было никаких вопросов. Да хоть и захоти слушатель что-то свое вставить — неуместно получится. И страшновато.

Три товарища, Агаша, старик

— А у вас, в Советском Союзе, вся страна боялась, каждого могли в тюрьму-лагерь засадить, никакой внятной логики в арестах не было.

Только евреи и коммунисты...

Логика в арестах-убийствах не за преступление, а за национальность, за идеи — это что, справедливо? Как про такое нейтрально-невозмутимо можно говорить?! Ничего не соображает, что ли? Все силы ушли, чтобы правильно, без ошибок фразу строить? Просто в русском упражняется?

Нет, примиряющая версия не проходила: в такую совершенную форму можно отлить только выношенное, продуманное заранее содержание. Связаны они, еще как связаны — форма и содержание...

— Извини, голова что-то разболелась. — Маркельч все-таки не осмелел настолько, чтобы демонстративно уйти. Вежливость и трусость предлог подсунули. Восстание, которого Дитрих, скорее всего, и не заметил.

Или пренебрег? Во всяком случае, минут через тридцать хозяин сам поднялся на второй этаж и в Маркельчеву дверь негромко постучал. Впервые так деликатно к телефону позвал. Обычно снизу недовольный голос подавал. Имя только несколько раз выкрикивал. Громко. Сердито. Отчего Маркельч вздрагивал и пулей мчался вниз, роняя книги-бумаги... За шнур однажды компьютерный запнулся и чуть свой ноутбук не разбил.

Не вовремя всегда из России звонили. А как запомнить, где же не заминировано, если по Дитриховым правилам нельзя беспокоить хозяев во время трапезы (любой еды), нельзя прерывать дневной отдых (он-то сам, конечно, работал), до десяти утра и после девяти вечера звонить неприлично, в воскресенье вообще только самым близким родственникам позволено нажимать кнопки с его телефонным номером...

Маркелыч эту сложную таблицу так и не смог в себя внедрить, отторгала его импульсивная душа жесткую программу, а уж русским абонентам, которым еще на два часа надо было делать поправку, он и пытаться не стал ее ограничения объяснять. Купил телефонную карту и, возвращаясь из университета, предупреждал по уличному автомату, что один будет через полчаса. Приходил, чай крепкий себе заваривал и с телефонной трубкой и чашкой поднимался наверх, предвкушая родной звонок. Вот уж когда отводил душу — счета домой пришли на астрономическую сумму, которую он, вернувшись, заплатил с грустной улыбкой, нисколько не жалея денег..

— Это я, ваш Митя! Неужели и вы считаете, что надо было с террористами договариваться! — не спрашивал, а требовал правильного ответа бодрый баритон, который Маркелыч сразу узнал.

В Москве совсем по-другому бы реагировал профессор — никогда не торопился он поддакивать, а тем более противоречить. Если вдруг попадал в страстную ситуацию, то прежде чем принять решение, хотя бы мысленно старался из нее выбраться, чтобы не водоворот эмоций им руководил, а разум, свой собственный ум. Какой есть.

Но сейчас даже секунды не подумал. Сразу коротко и азартно выматерился, однозначно взяв сторону своего ученика. И с приязнью потом выслушал его довольно длинный спич в защиту гордого государства, которое не поставят на колени какие-то гребаные чеченцы!

— Если бы я в заложниках оказался, то умереть было бы лучше, чем сдать! — кричал Митя.

Да, на таком расстоянии от события (и время уже прошло, и километров от Москвы до северного немецкого го-

родишки — уйма) не до нюансов, без плакатной определенности, наверно, и не разобраться...

Кажется, впервые в жизни взял Маркелыч чью-то сторону в ситуации, когда начинают делиться на «свой — враг». С детства он этого чурался. Если во дворе соседская шпана игру в «наши — немцы» затевала, он домой сразу сбегал. Не только потому, что драться не любил, но и потому, что парией-немцем быть не хотелось, а в команду заведомых победителей совесть не пускала. Потом, в школе, научился отнекиваться от любых командирских постов, на которых — он сразу, в первом классе еще заметил, — требуется отстаивать выбор, который за тебя кто-то сделал. Пусть иногда он и совпадает с твоим собственным — все равно противно. А ведь предлагали ему, отличнику по всем предметам, кроме труда и поведения, стать и звеньевым, и председателем совета отряда, и командиром пионерской дружины, и секретарем комсомольской организации... Пионерлагерные должности, на которых можно летние месяцы покрасоваться, тоже пропустил. Книжку почитать всегда было интереснее, чем...

Чем что? Да откуда знать, ведь не примеривался он ни к какому власть дающему креслу даже и в университете — когда там учился и когда потом преподавать начал. Абсолютно комфортно чувствовал себя в звании простого свободного профессора, который руководит только своими мыслями. С их нашествием и то не всегда удавалось справиться, а люди уж как-нибудь сами, без него разберутся.

Диссидентом потому же не заделался, хотя в советское время совершенно определенно был против советской лживой власти. Только против... Не испытывал яркой ненависти, которая, бывало, еще как бывало! — Маркелыч-ученый не мог этого не заметить, — становилась следующим шагом после страстной безответной любви к этой са-

мой власти. Слишком спокойным, наверно, было его внутреннее чувство, раз не вырвалось оно за пределы личной жизни, не понудило вступить в борьбу с режимом. В стороне Маркелыч остался. Как во дворе детства, ни к кому не пристал.

И еще — знал он, что хотят того сражающиеся или нет (оказывается, не это важно), а все равно конечная цель любой борьбы — власть получить. Даже когда женщина за любовь воюет, и то, победив, то есть заполучив того, кого хотела, управлять им начинает. Ну а борцы за идею как иначе могут свой успех осознать? Мало, совсем мало философов, которым довольно сознания своей правоты. Обычного человека так и влечет сразу закрепить победу, воспользоваться ею для захвата новых высот. Карьерных, денежных, донжуанских...

Но сейчас-то кто его за язык тянул? И почему себя поедом есть за поспешность не хочется? Чего стоит Митькино «если бы заложником был я» — экстатический порыв безответственный, э рьен де плю. Никак же не проверить, готов ли он делом свое обещание подтвердить. Дома бы политиканством назвал Маркелыч такое заявление, а здесь, в чужой стране, все душу грело — и победа над террористами, и самому хотелось родину защищать, и чеченцы — однозначно — врагами казались.

На следующий день Маркелыч попросил Агашу переслать Митин электронный адрес — договорить потянуло. И повод конкретный подвернулся — в только что напечатанном (на сайте утром увидел) полосном интервью, которое он еще до отъезда дал, Митино имя вычеркнули. На это посетовал профессор, на то, что лекции про бардов приходят слушать только русскоязычные переселенки, младенцами вывезенные из Таджикистана да с Украины. Москвы они в глаза не видели, и «Арбат» для них — лишь сочетание

звуков. «Так что настоящая русская провинция — это не Вышний Волочок, а Нижняя Саксония. Но девушки живые. А писать, как дома умею, здесь не получается — не хватает отечественного дискомфорта». И ни слова про телефонный разговор — не складывалось что-либо политически-пафосное. Думать думал, в порыве — вот же, говорил такие слова, но даже в письме об этом не мог — слишком интимное то было чувство. И все словесные одежды, которые под рукой имелись, превращали тебя в заурядную патристическую проститутку. Свой стиль нужно найти, чтобы остаться порядочным человеком. Такого умения Маркелыч не имел. Пока не имел или вообще не дано — может, когда-нибудь и захочется проверить. Не теперь.

Через час Митин ответ пришел. Другой бы целый день кропал это длинное, с шуточками-прибауточками письмо — хоть прямым в последний том собрания сочинений. Обо всем и помногу. Простодушно обрадовался ему Маркелыч.

«...Сборник свой Агаше хочу презентовать, — писал Митя. — Не столько ради рецензии, сколько из тщеславия. Книга толстая, и на обороте красивый мой портрет во флотской форме, тех еще времен. Пусть девушка видит, мимо кого прошла. Один мой кент, которому я теперь бутылку должен, номинировал книгу на премию».

Вот и отлично, подумал Маркелыч, вспомнив, что именно ему в этом году и «жюристь» предстоит. Хотя бы в шорт-лист уж Митьку-то включим. Теперь не так скучно будет заседать.

«Ваше интервью я прочел с теплым чувством, потому что вы, особенно в бороде, всегда приятны. Столько полезного и своевременного вы там наговорили! И еще меня

радует, что вы верны своему набору пристрастий. Трудно понять, что всех нас объединяет. Может, то, что нас хвалите только вы. Мне абсолютно понятно, почему меня вычеркнули из вашего интервью. Я бы удивился своему там оставлению. Полгода поливать газету и ее главного редактора где только можно, всячески упоминать бывшее утешение интеллигенции как пример самой стремительной деградации — и после этого рассчитывать на упоминание в положительных контекстах — все равно что плевать в колодец и регулярно оттуда напиваться».

Неметко! — ехидно мелькнуло у Маркелыча. Но и до, и после небрежного сравнения было столько точных — косвенных и прямых — похвал ему, что потонула в них всякая объективность, перестроилось как-то само собой зрение профессора. Так изголодался он по доброму слову, что нектар лести пил жадно, не соизмеряя аппетит со способностью анализировать-переваривать информацию.

«Ваше появление в этой газете, надо полагать, их скромная уступка либеральной интеллигенции. И хотя я ее не очень люблю, но ведь все остальное еще хуже. Об этом, собственно, я и написал роман, который выйдет в начале года. Я только что посмотрел и горячо одобрил окончательный его вариант после сокращений, которые, слава Богу, пошли книжке только на пользу. — (Кто-то посторонний за него работал? Чужой совет выслушать — хорошо, всегда полезно, но к тексту должна прикасаться только рука его автора. Чужой волей пользоваться — бессилие это, все равно что просить помощи, когда ласкаешь любимую.) — Все-таки она была очень толста, неряшлива и многословна, совершенно как автор. Было бы хорошо, если бы кто-нибудь так же деликатно и осторожно отредактировал автора, отжав лишний вес и причесав стилистически. Пока приходится ходить как есть...

Тинский перенес инфаркт, по счастью небольшой. Получил он его в пикантных обстоятельствах, о которых просил никому не говорить. Но поскольку вы свой, то вам можно. Он заработал его в постели, после слишком бурной любви. Счастлив человек, которому в шестьдесят один год слишком бурно любить мешает сердце, а не что другое. Вот польза и благотворность литературных занятий! Вчера он из реанимации позвонил мне сказать, что прочел там новый роман старого классика и ни-че-го не понял! И я пишу новый роман, на этот раз конспирологического свойства. Пока не знаю, как его назвать, но издатель советует опять на «О», чтобы потом выпустить в серийном оформлении. Возможно, издается. Впрочем, на «О» начинается много прекрасных слов: «Отверженные», например.

Мне приходится много писать в газету и плюс еще возрождать «Пресс-клуб» в телевизоре. Думаю, что по возвращении вы будете там желанным гостем... Рад, что вы вернетесь в декабре, ибо тогда ближе к двадцатому мы сможем выпить за 80-летие образования СССР, 84-летие образования ЧК и мое 35-летие. Как подумую обо всех этих юбилеях, так и хочется запить горькую. 19 декабря родился Брежнев, 21 — Сталин, так что я в прекрасной компании. А люди еще спрашивают, почему я теперь патриот. Я патриот, потому что Судьба.

Обнимаю вас через всю Европу и горячо желаю покорить всех провинциальных девушек, ходящих слушать ваш лекционный курс. Впрочем, это уж сан дут по определению — наверняка они все вас тайно любят...»

Ответ у Маркелыча сочинился мгновенно:
«Митя, вот вам слоган к памятной дате:

Тот помечен высшей пробой,
Кто рожден таким пузатым
Меж бровастым и усатым,
Между Брежневым и Кобой.

Не замотайте празднование! А то я в Неметчине охреневаю без водяры. Ездил, между нами скажу, напрасно. Налогами ободрали как липку, да еще взыскали «кирхенштойер», то есть церковный налог, нахально вписав мне в графу «конфессия» — LT, то есть «лютеранин». Не скрою, раньше во мне теплилась некоторая симпатия к протестантству, но после такого грубого насилия выиграло богоборчество. Нет, снова скажу: монгол должен жить в своем Улан-Баторе. Долгое пребывание в европровинции — вычитание из жизни, а на ее исходе самой ценной валютой становятся не деньги, а деньги оставшиеся. Вспоминаю ходящие в народе легенды о том, как Дмитрий творил роман в суровых условиях лейпцигского отеля, и пытаюсь сам приставить сказуемое к подлежащему.

На «О» много есть слов, подходящих для названия романа: «Обоняние», «Онанизм», «Охальник». Последнее очень бы подошло для объективного отображения профессиональной и личной жизни современного литератора».

Написал Маркелыч, точку поставил, но не успокоился — чувствовал, что сюжет не окончен, нельзя ниточку обрывать в этом месте. В московской жизни хотелось участвовать, а не возвращаться в одиночную камеру... Но сейчас, отсюда, что сделаешь? Только одно в голову пришло — может, Агаша сумеет поздравление в своей газете организовать. Кто, как не Митя, заслужил. Тинскому пусть и позвонят, уж он оплетет дружка ласковыми словами.

Три товарища, Агаша, старик

Сделал все, что надумал, и на лекцию отправился. Давно уж так не веселил себя и девушек.

Не только ему, конечно, они сказали, что никто здесь так интересно не рассказывает. «Приезжайте к нам почаще!» — попросили. И декан на прощальный ужин в ресторан пригласил. «Жаль, что мы с вами мало поговорили. Ничего, в следующий раз исправлюсь», — сказал.

А Дитрих все время мрачным был. Хоть бы обрадовался, что гость съезжает... Уехал пленник не расстрелянный — это, что ли, плохо?

Грустно, конечно, что так все вышло. Кто-то, наверное, больше виноват. Пусть даже он, Маркелыч, но гнущаяся, чтобы спасти отношения, он еще согласен — столько времени в неудобной позе ведь смог провести, а вот сломаться — пардон, этого никто ни от кого не имеет права требовать.

...Ангелы на душе Маркелыча пели, когда он катил свой раздутый чемодан по скользкому, неровному шереметьевскому асфальту к стоянке маршрутного такси.

Может, к родителям все-таки поехать? — раздумывала Агаша, ступая на длинный эскалатор «Арбатской». Как только движущаяся лента стала лестницей, она сделала шаг вбок, вправо, и, удерживая себя, положила ладошку на широкий резиновый поручень. Впервые за долгое-долгое время — с тех пор, как в газету запряглась — не стала сбегать по левой стороне. Запаса спокойствия, изредка возникающего поздним пятничным вечером, хватило, чтобы на своем месте устоять.

Прямо перед ней на ступеньку взгромоздился серый каракулевый полушубок, у которого время и моль вырвали целые клоки, оголив мездру. Внутри него была толстенная старуха с непокрытой — это в декабре-то! — головой. Ярко-рыжие ее космы, седые у корней, чуть не попали Агаше в рот.

Бедные, бедные тетки... Лак облупленный на ногтях, волосы, вовремя не покрашенные, «модная» кофтенка, из-за которой приходится перебегать в другой вагон, ведь точно такая же на соседке слева — вот чем чаще всего заканчиваются их потуги стать покраше. Не умеют себя любить. Кажется, что денег на это всегда не хватает, времени... А, может быть, — нет мужчины-друга, ради ко-

торого из кожи вон вылезешь, чтобы ему под стать быть?..

Зная за собой это родовое русское свойство — на себе экономить, Агаша минимизировала постороннее вмешательство в то, что природой ей дано. Чтобы не изнывать в парикмахерской, просто поступала: в хвостик убирала быстрорастущие волосы. Новую заколку прикупала, если вдруг перемен хотелось. Ногти коротко стригла и ни разу еще не покрыла лаком. Туфли, любимые и удобные, носила до последнего — пока каблук не отваливался. Тогда, прихрамывая, топала до ближайшего обувного и выходила оттуда в лодочках черного цвета, самых дорогих из тех, которые там были. Старую пару хоронила в ближайшей урне. Хотелось, конечно, иногда разнообразия, но даже коричневый цвет не ко всякой одежде подходит. Подумать надо, что с чем сочтнется. А когда? Проклятый дед-лайн все время подгоняет..

Вместо модной у них в газете аэробики, минут пять каждое утро спину, как кошка выгибала, стоя на карачках, да еще поясничная боль иногда в бассейн загоняла. Когда от сиденья за компьютером, не регулируемого никакими законами об охране труда, крестец уж слишком донимал, покупала разовый билет и ныряла в хлорированную воду. По абонементу, конечно, было бы в два раза дешевле. Но не раз случалось, что на подходе, на ступеньках спорткомплекса вдруг звонит мобильник и приходилось поворачивать оглобли, чтобы срочно в номер отпеть, например, заморского покойника. Лучше уж приплатить за свободу от абонементного расписания, усиливающего нервотрепку.

Шагнув с движущейся ленты на стоячий пол Арбатской станции, Агаша вспомнила про осанку — выпрямила спину и медленно, ступая так, чтобы металлические набойки

на каблуках не так гулко цокали по гранитным плитам, пошла вдоль платформы. К родителям или домой? — решала.

Еще совсем недавно «домой» значило одно — в свою комнату, где по стенам и книжным полкам-шкафам любовью, даже совсем посторонний, нечаянный соглядатай, если захочет, узнает, из чего сделаны счастливые детство-отрочество-юность. Можно сказать — идеальные, которые возникают сами собой, безотчетно, в замкнутом пространстве, огороженном беззаветной семейной любовью отца-матери к единственному чаду. Илья Муромец тридцать лет и три года на печи лежал, Агаша в тепличных условиях лет двадцать пять прожила-проучилась.

Так вот, счастливое детство — это две полки сказок, с картинками и без; это «Белеет парус одинокий» в глянцевом супере и «Ночной Сторож» в синем ламинированном переплете — оба от авторов, которые при встрече на переделкинской дороге не раскланивались, а тут столько лет вполне дружески стоят, прижатые друг к другу. Именно ей надписаны, а не родителям. Это такса по имени Джек (редкая порода для плюшевой игрушки) на черногорчичном клетчатом пледе, до сих пор покрывающем кровать, которую купили в новую кооперативную квартиру. Свою наконец, а не съемную. С тех, бывало, по прихоти хозяев и в двадцать четыре часа приходилось съезжать. Агаше как раз на новом месте десять лет исполнилось.

Счастливое отрочество — это постер с битлами, по зебре переходящими Кроссруд. Это ритмы-рифмы Пушкина, Блока, Цветаевой в мягких обложках и твердых переплетах и мелодии-слова БГ, Цоя, Окуджавы, Высоцкого на магнитной ленте, упрятанной в пластмассовые коробочки. Это коленкоровые папки с Агашиными рисунками, сделанными гуашью и акварелью дома — из головы, а не с

натуры. Это старая, темная икона Николая Чудотворца в медном окладе. Домашними средствами отдраена до блеска, дырки-ходы древесных жучков воском залиты. Бабушкин дар на Агашино крещенье. В провинции крестили — подальше от московского греха. В голову не пришло кому-нибудь об этом таинстве рассказать. И совсем не от страха, что оно запрещено — в конце восьмидесятых чуть не по телику некоторые объявляли о своем воцерковлении... Не ново это — сокровенное наружу выставлять: когда-то, в древности, например, вывешивали простынку из-под новобрачных, чтобы всему миру предъявить доказательство чистоты... (Чистота, святость... Соревновательному человеку не понять, что обретение этих ценностей — не официально фиксируемый рекорд-результат, а открытый в будущее процесс.)

И юность, тоже счастливая... Это деревянный сундучок с бусами-кольцами-брошками. Ничего эксклюзивно-дорогого, а все равно сокровища. Берешь в руки стеклышко-камешек или взглядом только скользнешь — и все, ты уже не одинок, лик дарителя мелькнет и душу просветлит. (Высокопарно звучит? Но нельзя же все-все снижать, пафос уничтожая...). Это сам Пушкин и окружающая его пушкинистика, эпиграммы русские и всемирные, не забытые после защиты диссера. Это высокий узкий прямоугольник с картой Манхеттена и квадрат Парижа. Это коробки — тонкие с Рахманиновым-Чайковским-Шубертом-Вивальди и толстенные — с Бюнюэлем, Хичкоком, Сокуровым и Муратовой.

Все это еще оставалось на своих местах, а слово «дом» — пока налегке — стало перекочевывать в чужую, снимаемую квартиру. И вот сейчас Агаша поняла, что оно уже совсем оторвалось. Но Леша-то в отъезде, только послезавтра вернется из командировки — в одиночестве придется куко-

вать. К родителям все-таки заскочить? Тогда придется отцу про чертово приглашение сказать... Опять напрягаться...

Сзади кто-то громко, сердито бубнил: «Ползет, как черепаха! Голодная, что ли? Каши мало ела?» Странно, какие сердитые бывают люди, мелькнуло у Агаша. Кто тут помешать может — народу-то совсем немного.

Загудели рельсы, в черном жерле возникли сначала два световых пятна-глаза, а потом показалось голубое рыльце первого вагона. Агаша ускорила шаг, чтобы успеть заскочить в удобный для выхода конец поезда — как большинство профессиональных пассажиров она знала, в какой вагон, даже в какую дверь какого вагона лучше сесть, чтобы рационально, не тратя лишнего времени, сделать пересадку или выйти в нужном месте. К себе домой решила ехать.

За спиной послышался громкий топот, и через мгновение — толчок. Нарочно кто-то ударил. Агаша чуть не упала. На рельсы. Сердце екнуло. Испуганная, она остановилась. Перед ней стояла та самая лохматая старуха с эскалатора и на весь перрон орала: «Можешь же быстро ходить! Чего так плелась-то? Не кормят, что ли?»

Абсурд какой-то... Впервые вот так, без всякой причины и логики к ней приставали... Почему? За что?..

Совсем недавно стала она замечать, что вызывает у некоторых теток ничем не мотивированную злобу. Правда, прорывалась эта ненависть все же тогда, когда просить их о чем-нибудь приходилось. С удовольствием, с восторгом порывистым, не рассуждающим, отказывали ей такие тети в выдаче справки. Билета в театр не давали, хотя по прищуре глаз было видно, что есть они, эти билеты. Не пускали — не разрешали всегда неопрятно или старательно, но безвкусно одетые, расплывшиеся безгрудые бабы... Посмотрела как-то Агаша на себя их глазами — фифа она

для них в этой бейсболке и длинном зеленом шарфе... Такая искренняя, задушевная злость — явный симптом, сигнализирующий о неполадках в их собственной жизни. Вот в каком далеком месте сердечная боль, бывает, отдает...

Как только из подземелья выбралась и мобильник заработал, Леше позвонила. Пожаловаться. Дословно все старухины реплики повторила.

— Надо было спокойно ей в глаза посмотреть и сказать: «На еде экономить приходится. Вы бы на мою зарплату жить попробовали...» — засмеялся Леша.

Правда, смешно. Причем издевка скрытая, понятная только просвещенным. Агашины баксы, самая низкая зарплата в их богатой газете, для старухи, скорее всего, — невозможная роскошь... Но Леша-то радовался не своей шутке, а тому, что к нему, именно к нему Агаше прильнуть от обиды захотелось. Настоящим, взрослым мужчиной он почувствовал себя, утешая ее...

И она себя — настоящей женщиной, решив не рассказывать ему про электронное послание Ракитина, который приглашал завтра на Митькин день рождения полуюбиленный. Не без ведома именинника, конечно, раз домашний адрес того дал.

Идти или не идти — такой проблемы для Агаши не было. Рассказывать или нет? — вот в чем вопрос. За отца у нее душа болела. Ригористически рассуждая (а как еще молодая женщина может? мудрость где ей взять?), оскорбление было нанесено. Отец как бы сам напросился на вечеринку, ему пообещали и... пренебрегли. Кровью такое на Кавказе смывают? Возмущение закипало еще и потому, что сама себе Агаша казалась праведницей — искушению ведь не поддавалась. А мелькнуло: прийти, спокойно выслушать, что Ракитин скажет, и так же хладнокровно, как он тогда, отвергнуть все извинения-просьбы. Какой женщине не лестно

быть хоть чуточку роковой дамой, которую мужчина забыть не может. (Если, конечно, это не маньяк.) Какой? Той, которая понимает, что часто, всегда почти не в силе женщины тут дело, а в слабости или, что еще опаснее, в хитрой расчетливости мужчины.

Нет, у Агаши такой мудрости не было, да и откуда ей взяться... Собственного женского опыта — кот наплакал (сама всего один раз рыдала), а за чужой жизнью она только-только начала наблюдать. Не подсматривать (в щелочку — что увидишь?), ревниво всех с собой сравнивая, чтобы убедиться, что ты — лучшая (кто скажет — «я так никогда не делала», а сама себе не врать не умеет), а вникать в странности человеческих, хоть и бесчеловечных иногда, поступков. Объяснять непонятное, не клеймить-оценивать торопливо.

Решение арифметической задачи с двумя слагаемыми — Агаша плюс Ракитин — было простым, единственным для любознательной девицы, не трусихи. Ввязаться в бой и посмотреть, что будет. Но Агаша-то была не одна. Связанность с отцом превратила арифметику в алгебру... А еще был Леша, и Митьку надо бы учесть — не дать ему губельной для их триумvirата возможности в сводника превратиться. Разъест ведь его в конце концов журналистский цинизм (профессионально необходимый, по себе Агаша знала), и он сам не заметит, как станет прокаженным. Ивана потеряет, почему-то подумалось.

В горле першило, поэтому Агаша не черный чай себе заварила, как отец бы сделал, а залила кипятком пакетик шиповника. Прежде чем выпить настой, подольше посто-яла под горячим, обжигающим душем и разморенная в постель плюхнулась, без ужина. Ни одной книги рядом с подушкой не положила, хотя о следующей колонке надо уже кумекать. «Платформу» бы дочитать... К ней в пару что взять? Нет, об этом — завтра.

Чтобы прогнать рабочие мысли, попереключала каналы. С первого по двенадцатый и обратно. Несколько раз наскочила на одного и того же дядьку, который открывает деревянную дверь садового туалета типа «сортир», а оттуда, прямо в лоб герою — дуло. Ему-то ничего, даже придурковатую улыбку с губ не стерло, размазалась она по его лицу, как дешевая помада после еды, а Агаша встревожилась. Если уже рекламщики на испуг публику берут, то террористы — это просто еще несколько шагов по той же дорожке в сторону ужаса. Приучают никаких эмоций не испытывать? Но ведь страх — как температура, без которой болезнь распознать очень трудно. Вот рак вначале никаких сигналов о себе не подает — еще поэтому он так опасен...

Наивные мыслишки оттолкнула новостная программа. И тут — горе, вьвшееся в лицо нестарой еще женщины, у которой на «Норд-Осте» дочь с зятем погибли. Двое маленьких сирот ползают по бабушкиной комнате, заставленной старой, не старинной мебелью... Потом фасад театра с порванной афишей показали...

Иван вспомнился... Как в фойе он всех внимательно рассматривал... Лицо его тогда сосредоточилось, а глаза карие, наоборот, распахнулись, будто побольше хотели заметить. Зачем? Почувствовал, что не все тут ладно? Даже уголками рта не улыбнулся, когда она к нему возвращалась из туалетной комнаты.

Иван... Кто он?.. Нет, кто — не секрет никакой. Конечно, сам он душу наизнанку не выворачивает, но и ничего не скрывает. Рассказывает, и по глазам видно, что сам себя не цензурирует в это время. Если и вздрогнет жилка на виске от напряжения, то, значит, вспомнить поточнее старается или слова нужные подбирает, а совсем не соображает, что можно сказать — что нельзя, что выгодно ему — что нет.

Как бы себя получше выставить — об этом тоже не думает. Какой есть, таким и не боится показаться.

А какой он? Леша что про него думает? Спрошу..

Спрошу.. Обычно в этом месте Агашина мысль обрывалась, дожидаясь Лешиного вердикта. Не сейчас. Не спалось именно потому, что думать об Иване было интересно — не засыпаешь ведь, когда увлекательную книгу читаешь или кино захватывает..

Ни разу про то, что чувствует, Иван не говорил. Не толстокурый он, это точно. Признался вдруг, что с дочерью уже несколько месяцев даже по телефону не общался: «Не могу туда звонить: хамить этим колорадским жукам нельзя — они для Манечки столько всего делают.. А вежливо с ними поговоришь — сам себе противен становишься. Если б я совсем был им посторонний.. Ну, тогда так вел себя — не подкопаешься! Со стороны посмотришь — аристократ, да и только! — С озорством сказанул. Улыбка на мгновение пробила его мрачность, которая хоть и была фоном его жизни, но никак не ее сутью. — Пробовал я, конечно, компромисничать — выходило, будто угодничаю. Нет, не могу. Манечка вырастет, сама разберется».

Аристократ.. Красивое словцо. И не мертвое, живое — изменялось все время, столько разных значений-осмыслений накопило. Этим спаслось. В России, во всяком случае, вполне могло умереть вместе с родовым дворянством, которое производило аристократов по крови. Голубой. Исчезнуть могло, как истощается, погибает со временем женская красота, если духовностью не питается.

Холодком, конечно, веет от этого Иванова благородства. Как это у него получается ни к кому не привязываться? Нет, он совсем не черствый, чужую боль и понимает, и чувствует, и на помощь готов прийти. Не только шагом, но и бегом

бросался, если не подонку она была нужна. И все-таки они с кем себя не отождествляет. Даже с дочкой... На расстоянии от любого отстоит, пусть щелочка едва заметная это, но сквозняком через нее все равно тянет. Может быть, мужчины так только и умеют? Может быть, аристократизм как таковой — антоним женственности?

Редкое у него равновесие ума и чувств: гнев или радость никогда ум затмить не могут. «Никогда!» Сказанула! Это неизвестно. Может, он сам еще не знает — каков он в гневе. Подглядеть бы...

...Звонят? Агашины ноги налились тяжестью, сил не было спустить их на пол, пойти в прихожую, чтоб гостя впустить. Не двинулась с места, но в комнату все же кто-то вошел. И в дверях остановился. Лицо, тело — все будто в тумане. Агаша только глаза его видит. На нее они смотрят. Взгляд такой ласковый, нежный и совсем не алчно-мужской. Как будто вечность заглянула в ее очи...

Никакой опасности от него не исходит. А если и есть какая тревога, то незнакомец всю ее в себя вбирает. Чем дольше глядит, тем больше горечи, боли в глазах проступает.

Кто это? Кто?

Иван!.. Неужели он?.. Он так страдает? Как же его утешить?

Только подумала так Агаша, как он подошел совсем вплотную к кровати, склонился лицом и стал тихонько, нежно гладить ее по волосам. Молча, ни слова не говоря. Агаша, не отдавая себе отчета — соображение совсем как будто отключилось, — берет его руку и прижимает к своей горячей щеке. И Иван застыл, не шелохнулся даже, хотя поза такая неудобная — согнулся, навис над кроватью, и руку вытянутой держит. Опоры никакой. Почему не падает? Но даже на краешек постели не присел.

Агаше вдруг захотелось, чтобы он рядом лег и к ней прижался. Чтобы никакой щелочки, никакого зазора между ними не было.

Потянулась всем телом к нему и... на ковре очутилась. Открыла глаза — никого. Пусто. Лишь рассвет свободно вошел в незашторенное окно...

Возвращаться в белую пустыню своей кровати Агаша не стала, хотя так рано, в семь утра, впервые за долгое время поднялась. Глотать было не больно, лоб — прохладный, и в зеркало на нее смотрели прозрачные — не мутноватые, как вчера, — голубые глаза. Здоровая, бодрая, веселая.

Сон кончился, а привязанность осталась. Как будто еще один защитник в ее жизни появился. Новое...

И интересно — как все после этого свидания все будет. И стыдно немножко... Перед Лешей стыдно...

За компик села с чашкой крепкого кофе — отец научил брезговать «растворяшкой». Френч-пресс подарил и следил, чтобы у дочери всегда имелся порошок хорошего помола, не слишком пережаренный и не кислый. Из-за кордона привозил, и здесь, в Москве, экспериментальным путем вычислил лучший из тех, что в доме Перлова на Мясницкой продавались. Не самый дорогой, но цена его не противоречила закону, по которому примерно в два раза за все качественное переплачивать надо в России по сравнению с Европой — за кофе, за вино-коньяк, за обувь-одежку. «Мы не так богаты, чтобы дешевку покупать», — повторял Маркелыч вполне аристократическую мудрость, усвоенную у отца, провинциального профессора.

К середине дня Агаша все долги подчистила — сама удивилась, как быстро и легко тексты написались. И кукситься совсем не хотелось. Усталость была приятная, добрая — на дух бодрый совсем не посягала.

Что теперь?

Проснулся хозяйственный раж. Стирка-глажка-готовка — в радость все оказывалось. Дела не толпились в нудной, раздражающей тебя очереди, когда от одной мысли о времени, которое на них нужно потратить, руки опускаются. Нет, они подходили по одному, но без промедления. Весело так предлагались и неумытая раковина, и зеркало в мелких белых пятнышках от зубной пасты, и Лешины рубашки, и свои брюки, которые вчера грязной жижей окатила промчавшаяся мимо «ауди».

Особенно под музыку дело споро двигалось. Иван недавно джаз на компакт-диске принес — вот из-за него и не сразу услышала «Let it be» своего мобильного. Потом еще в сумке судорожно рылась, позабыв, что вчера пристроила его подзаряжаться к кухонной розетке.

Терпелив был звонивший, дождался ответа. Леша это, кто же еще... «Алло» виновато-ласковое именно ему Агаша сказала, но поздоровался с ней гораздо более низкий мужской голос.

Иван?

Сердце ухнуло. От неожиданности, от того, что больше обрадовалась, чем удивилась, она заторопилась. Суетливо, сама себя не узнавая, принялась объяснять, почему так долго трубку не брала. Про то, что слушала джаз, им принесенный, конечно, брякнула. С намеком получилось. На что намекала? Хорошо еще, о ночном видении не рассказала. Подмывало, начала даже, но на язык себе наступила: не зря отец вдалбливал, что сны пересказывать неприлично. Почему нельзя? Не объяснял Маркелыч — и так, мол, интеллигентному человеку понятно.

Звонил Иван из Киева, из монтажной, где заканчивал монтировать документальный фильм про Деникина. Не один там был, и связь с ближним зарубежьем бесплатная, но все равно не торопился. Рассказал, как Сергей

Эфрон в Париже спас генерала. Ночью позвонил его адъютанту, барону Богенгарду, с которым они вместе Гражданскую войну прошли, и предупредил, что чекисты собираются всех их, и Деникина, и его близких, схватить и в Союз вывезти. А не удастся — убить.

— С Плевицкой у них это получилось, а с Деникиным — нет. Благодаря Эфрону. И спорят еще, правда ли, что муж Цветаевой был чекистом... Был, конечно... Она могла об этом не знать. Как не знает любящая жена про временных подружек своего мужа. Не хочет видеть очевидное — и не видит... Но я-то за справкой звоню. Не помнишь, в каком году самого Эфрона арестовали? Тут все так приблизительно сляпывают. Спешка и халтура. Еле успел совсем уж идиотизм исправить: про двадцатые годы идет закадровый текст, а на экране — царские генералы с погонами. Ну ничего не соотносят! Я шел тогда из студии и плакал. От своего бессилия...

Иван — плакал? Агашу опять кольнуло. Жалко его стало, как родного. Конечно, он не разнюнился. В душе плакал. Переживал, как всякий искренний, открытый человек, не огородивший себя высоким забором от глупости-злобы-зависти людской. Такое страдание не проходит бесследно, откладывается оно в душе, со временем превращаясь в залежи мудрости. Смелым, отважным становишься. Не потому, что охрана хорошая (чужие спасти не могут, пусть их много, очень много: армия целая не защитит от по-настоящему профессионального киллера, и армия врачей — от убийцы, внутри каждого из нас таящегося, то есть от болезни и старости), а потому, что человеческие повадки хорошо изучил. Никто уже не сумеет врасплох тебя застать.

Вспомнилось, как все вместе, вчетвером о Бродском говорили. Интервью поэта Агаша им пересказала. Случай-

но услышанное: радио-то на кухне включила, чтоб не так скучно было присматривать за эскалопами на сковородке. Признался нобелеат, что с юности начал себя тренировать и очень скоро сумел жить так, чтобы никакие внешние события не влияли на его внутренне состояние. Научился не зависеть от внешнего мира. И еще что-то про маску, в которой к людям всегда выходил. По-английски было интервью, как будто для себя поэт говорил, нисколько не заботясь о ясности. Захотят понять — напрягутся. А в том, что все захотят — он не сомневался.

— При жизни — правильно делал, что не сомневался, — не утерпел тогда Митя, перебил Агашу. — Ты вот и после его смерти вслушивалась. Правда, еще десяти лет не прошло. А через полвека, век, будет ли его бормотание слышно?

— Доживешь, сообщишь нам. На том свете! — рассердился Иван. — Зачем все в спортивное состязание превращать? Да еще гадать о победителе... В твоей системе и вопроса нет — конечно, Бродский останется, раз он сумел попасть в гербарий, составленный из Нобелевских лауреатов. Другое важно. Не выветрятся ли из его стихов запахи, чувства... Если он к своему сердцу ничего чужого не подпускал, то... Как его самого инфракта поразил — нетренированное сердце очень уязвимо, — так и с текстами может случиться.

— «Мир ловил меня и не поймал»... — Леша не ввязался в спор, а как будто только что из своих мыслей вынырнул. — Для отвлеченного философа, может быть, и правильная позиция... Но поэт, чтобы выжить, должен быть не только философом. Поэту мало и самого выдающегося ума, и самой новаторской техники. Все это обеспечивает ему, конечно, место в истории искусства. А в жизнь живую он только своей сердечностью может проникнуть. Читают, запоминают и хранят то, чему сопереживают. И чувство это

объединяет всех — образованных и девственных... в смысле познаний девственных... Тонких и толстых, нации и поколения...

...Встряхнула Агашу картинка из прошлого. Не так уж и важно, в ее памяти последнее слово за Лешей осталось, или в действительности так было. Гордость за него смешалась с каким-то острым, щемящим чувством. Любовь это все вместе называется?

Но чего же не хватает, чтобы все ее составляющие слились и дали счастье? Не то мимолетное счастье, которое можно добыть из всего — из ветра, когда он дует на тебя в летний зной; из первого весеннего дождичка, который на голые деревья накидывает тонкое зеленое кружево; с неба, ярко-голубого, на единственном белом облаке оно может на тебя спуститься... Нет, из множества юрких мышек большой слон не получится. Счастья хочется не как ускользающей цели, а как... Как фундамент оно должно быть, как основа жизни, никому не видная, но стойкая, крепкая. Надежная, верная... На которой любую жизнь можно построить.

Сама-то она верная?..

Агаша быстро пообещала справиться у отца насчет Эфрона и сразу же перезвонить. Нажала на кнопку и расплакалась. Слезам своим уже не изумлялась — по-другому не смыть было воздушный замок, который во сне сам собой начал строиться.

Иван и она...

Но ведь, проснувшись, она продолжила, а не остановилась. Стыдно стало за себя, за свои фантазии. Перед Лешей ужасно стыдно...

Она и Иван...

Секунду, долю секунды на него даже гневалась! После всего... Так сухо, как с чужой, с ней разговаривал.

Три товарища, Агаша, старик

Правда, быстро дошло, что он-то ее сна не видел. Значит, и ей самой сквозь землю проваливаться не обязательно... Подумаешь, взволнованно с приятелем поговорила. С кем не бывает. Иван пошлых бабских выводов никогда не сделает. И Леша о ее мысленном предательстве — откуда узнает? Так что в реальную вину вменить нечего. С точки зрения Уэльбека, только что дочитанного, бурю в стакане воды она подняла. Грезы наивной дурочки... Ну и пусть распущенный француз смеется... Чувствует-то, переживает Агаша по-настоящему.

Она нервно покраснела... Злясь и презирая сама себя, долго не могла успокоиться. Не знала, проходят ли бесследно такие видения. Может, на всю жизнь эта туча теперь над ней зависла?

..

Глава 15

Тридцать первого декабря днем Митя оказался дома. Статеечку в интернетовский журнал натюкал, на рынок съездил — семью надолго продуктами обеспечил («это святое» — про покупки всегда говорил), вслух домашним почитал. Сказка Льюиса Кэролла всем четверым подошла — сам с удовольствием слово к слову приставлял, и дети с женой, не отвлекаясь, слушали. Старший, так тот рот раскрыл и разревелся, когда Алиса сквозь землю провалилась. Не нюня ли растет? — забеспокоился Митя и не дал жене на руки маленького мужичка взять.

Что еще человеку для счастья надо — верная жена, дети, дом теплый, — по-луспекаевски подумалось и... К действиям потянуло. До вечера, когда в прямом эфире новый, третий год двадцать первого века встречать придется, еще далеко. Поспать — не получится. Мать, и та ни разу не смогла его днем уложить. В пионерлагере столько успел в мертвый час под одеялом прочитать (и мусорных книг, конечно, наглотался), что в привычку вошло — ни дня без книжки. С отдыхом теперь до старости, наверно, подождать можно. Ах да, стариков уважить надо. У матери уже отметился, Маркелычу позвоню-ка.

Какое-то очень хмурое «алло» встретило, и ничуть не посветлел голос учителя, когда он узнал поздравляющего. От того, что не ожидал Митя такой неприветливости, само собой у него вырвалось: «Не потому звоню, что от вас премия моя зависит...»

Черт, зачем про жюри брякнул! Обидел я его, что ли? Когда? Чем? Эх, стареет профессор... В прямой бой уже трусит ввязываться — иначе бы не зажимался, как дама уязвленная. Прямо бы надо спросить у него, в чем таком теа суфра. Ладно, потом разберемся. Хватит хождения души по мытарствам.

— Жена! Собирай мужа в дорогу!

Митя не притворялся — он и правда не помнил сюжет со своим днем рождения. Столько всего в последнюю декабрьскую декаду случилось... Забыл и спасибо Маркелычу сказать за Агашино газетное поздравление, которое так повысило его акции в коридорах телецентра. На первый, главный канал даже в шоу позвали. Пара каналов еще девственность от него хранили. Но ничего, и эти сдадутся, дайте время.

Кавказочка объявилась — вот настоящая проблема. О встрече просит, но очень уж все конспиративно обставляет. Только на мобильник звонит, и не сама, а эмиссар какой-то по ее просьбе. Якобы посредник, который по-русски склонять-спрягать не умеет — именительный падеж и инфинитивы лепит без запинки. Речи его на приказы смахивают. Если это новинка в сексуальной жизни, то он целиком и полностью «за» — интересно же все попробовать. А если не игра? Не хватает еще на взлете журналистской карьеры (о, как звучит! взлет!) вляпаться в нехорошую историю...

Втискивая себя на сиденье своего синего, немаркого «жигуля», Митя глянул на часы. Пробок пока не должно

быть. Значит, минут сорок-пятьдесят вполне можно урвать.

Откатывая водительское сиденье чуток назад, вслух чертыхнулся: «Худеть, худеть надо! Сегодня еще нажрусь, а с завтрава все, морильный закон!» Откинул спинки передних кресел и вернул их назад — проверил на всякий случай, как походная кровать функционирует, и по памяти десятизначный номер набрал. «Серые клеточки пока фурычат», — мелькнуло, когда ответ услышал. Как было велено, Портосом назвался, время и место предложил — через пятнадцать минут на съезде с проспекта Мира к Зубареву переулку, возле сталинской полувысотки. Ни слова не буркнув в ответ, отключились. Слышали его или нет? Снова номер набрал — а там уже механический голос: «Абонент временно недоступен...» Временно?

Митя тронулся с места, соображая, сворачивать или нет с прямой дороги. Любопытно все-таки... Подожду там минут пять, решил. Время есть... И тут вспомнил — его же предупредили, что молчание и будет знаком согласия. Бабский детектив, да и только! У Хуссейна, говорят, целое подразделение есть, которое изучает шпионские блокбастеры и романчики, а потом копирует действия агента 007. Требуют ли такой вычурной фантазии современные преступления?

Ни у одного светофора стоять не пришлось. «Зеленую улицу» обеспечили везение и водительская интуиция — там чуть помедлить, тут побыстрее рвануть, чтобы успеть на «желтый» проскочить. И голова свободной оставалась.

При Митином темпе как раз хватило бы времени назад оглянуться — если не на все прожитое, то хотя бы на год последний. А иначе зачем этот виртуальный рубеж задуман? Ничего физически осязаемого не произошло даже когда все четыре цифры сменились — 1999 на 2000. Обык-

новенная зубная боль и то больше на человека влияет, чем такая глобальная вещь, как переход из одного века в другой. Что от смены лет остается? Похмелье разного качества, ну, морщины еще, как кольца годовые на деревьях... Мышью прошмыгнет жизнь — и не поймешь, куда и зачем ты так несишься. Итоги надо регулярно подводить. Не дано нам знать, промежуточным оно будет или окончательным, это summing up.

Знать или не знать про свой конец? Вот об этом Митя всерьез подумал. Передернуло аж всего. Оказалось — непереносимый ужас для него то, что христианину настоящему, воцерковленному хорошо. Знать, когда умрешь, чтобы успеть подготовиться к переходу в иной мир? Хоть кому молиться он будет, чтобы так не случилось, чтобы вмиг отойти, когда конца ничто не предвещает. Если вдруг какая смертельная болезнь у него обнаружится, то уже мать-жену предупредил, чтоб от него диагноз-приговор скрыли. А если сбой даст инстинкт самосохранения? (Силен он и у самого больного человека — после энного курса облучения, когда домой умирать выписывают, может уверять несчастный, что от остеохондроза у него такие боли, и что пройдут они обязательно.) На этот случай решил начать снотворными запасаться. Попозже, конечно, не сейчас еще... Что может быть легче, чем во сне умереть? Пожалуй, на женщине лучше, но в таком разе не избежать последствий, малопривлекательных для тех, кто жить остается.

Митя все-таки не был зоологическим эгоистом, сохранил способность не только о себе думать. Жену — очень по-своему — даже берег. Правила простые: стопроцентное материальное обеспечение и... Как бы это сформулировать? Нужно поддерживать в ней ощущение, что она — самая любимая и главная женщина в его жизни.

И то, и другое с его умной, совсем не алчной Ленкой оказалось не так уж трудно. Азартно было даже новенькое что-нибудь для семейного спокойствия придумать. Или у старших товарищей слямзить. Например, в пять утра вернувшись, не храпака дать, а вытащить благоверную в парк — рассвет встречать и соловьев слушать. Или вместо того, чтобы за трехдневную отлучку, не оправданную никакими документальными свидетельствами, вроде телерепортажа или интервью какого-никакого, под землю от стыда провалиться, из-под этой земли добыть новую книгу эссе самого модного француза с договором на ее срочный перевод.

Жена-то была истинной, неподдельной православной, и, значит, к смерти готовилась, но ни разу не попыталась узнать то, что может приблизить кончину их семейных отношений. Как будто совсем неинтересно было, что там, без нее с ним творится. Конечно, помог ее сибирский, азиатский то есть, опыт... Первое замужество как репетиция... И ум не бабский...

Ну, и он заботился, чтобы она занята была не только детьми и домом — няньку нанял, и Ленка служить смогла пойти уже через полгода после рождения девицы. Хорошо оплачиваемое место — тоже его рук дело.

Вот и подвел итоги.

Вроде, все хорошо идет, на всех житейских фронтах либо наступление, либо такая тишина, что можно расслышать пение птиц, стрекот кузнечика, как снег хрустит под ногами, трава от ветра колышется во все времена года... От этого беспокойно стало. Есть, оказывается, что потерять можно. Поосторожнее надо быть...

Сам себе мысленно Митя это сказал, открывая переднюю дверцу своего авто, чтобы впустить тоненькую фигурку, во что-то темное замотанную.

Три товарища, Агаша, старик

— Уезжай отсюда! — вместо «здравствуйте» шепотом Рая прикрикнула.

— Куда? — опешил Митя. Не то чтобы у него имелся какой-то подробный план на свободный час. Ничего подобного. Всегда интереснее было по обстоятельствам действовать, импровизационно. Но сейчас, не получив и поцелуя ее фирменного, когда язычок-егоза в глубь рта сразу проникает, вызывая... Стоп, стоп! Не надо себя понапрасну растревлять. Что-то такое жесткое в ее взгляде мелькнуло... Раз жизнь — это битва, то на этом поле сражения тем более нельзя упускать бразды правления.

Внутренне Митя уже собрался. Поступил, как всегда в опасных ситуациях, привычных для журналистки экстра-класса — раздвоился, клонировал себя, чтобы было кому со стороны наблюдать и контролировать. Два ума получалось, и один оставался совершенно холодным, быстрым и четким. Глупости и просчеты импульсивного двойника был в состоянии исправить или даже на пользу себе обернуть.

А дева гор, обманутая его минутной растерянностью, продолжала командовать. Женщина... Велела в переулок без названия за бывшими Зубаревскими банями заехать. Зурой себя называть приказала, диктофон из его бардачка достала и потребовала на него записать все, что сейчас ему поведает.

— Карьеру обалденную сделаешь на этом материале! — по-доброму пообещала.

Женщины всегда преувеличивают щедрость своего дара.

Митя — уже совершенно хладнокровно — решил проверить, одной прагматической думы власть ею руководит, или что-то все-таки осталось от былого. Если были у нее не животные, а человеческие чувства. И себя прове-

рять. Поискал глазами, где хоть щелочка в ее одежде есть. Все запахнуто-застегнуто. Пришлось под подол юркнуть. Только его ладонь по бедру напряженному вверх начала движение, как на преграду наткнулась. Холодную, стальную. Боевиков-триллеров он посмотрелся — сразу понял, что пистолетик это. Выдернул руку и в глаза девице посмотрел — может, хоть женский инстинкт ответит на ласку, поволокой или искоркой какой даст знать. Нет — хитрый, коварный блеск, больше ничего разглядеть не удалось.

Та-ак, мужчина, в смысле джентльмен и самец, исчезает...

Как только слово «Дубровка» прозвучало, Митя твердо решил в заложника ни за что не превращаться. Секунду-другую даже посомневался, можно ли всю байку выслушать, не опасно ли это. Любопытство победило. Тем более что говорила Рая-Зура как по-писаному, к небу то и дело зрачки задирая — прилежные школьницы, педагогами натасканные, примерно так отвечают на вопросы столичного корреспондента. И она наизусть, видимо, текст заучила. Так что пусть эта декламация репетицией будет. За зрителями дело не станет — найдет она, и скоро найдет кого-нибудь, кто поможет ей премьерный спектакль сыграть. Мало ли журналистов, для которых Чечня — все равно что нефть для Юкоса. Напечатает кто-нибудь всю эту чухню, которую она тут протранслировала. «Русские спецслужбы подставили бедных, несчастных, доверчивых чеченцев...»

«Доверчивых...» Какая мерзкая все же эта ее версия!.. Насекомые всего мира с удовольствием эту гадость проглотят. По модели суворовского «Ледохода» состряпана. Противно даже слушать... Если вдруг узнаешь, что твоя собственная мать преступление совершила — против закона

юридического или морального пошла, — то не станешь же это с каждым встречным-поперечным обсуждать. Гаденько это — слушать про материнские грехи.

Маркелыч учил, что благородный человек брезглив, никогда не пересказывает посторонним грязные сплетни. Один промолчит, погасив огонек бикфордова шнура... Другой, третий... Так и взрывов меньше будет.

— Куда вас доставить прикажете, сударыня? — голосом бархатным не бархатным, но очень галантно спросил Митя, когда самозваная Мата Хари тяжело вздохнула и пот над губой промокнула, упарившись от тяжелой работы.

— Чего-чего? — был ответ.

Вежливость врасплох ее застала. На грубость, на силу она была натаскана, а перед предупредительностью, перед настоящей любезностью и не такие пасуют. Проверено много раз. На то и расчет был.

Высаживая обалдевшую, ничего не понимающую девушку из машины и из своей жизни, Митя выщелкнул пленку с записью и ей выдал. Чтобы на крючке у них не оказаться...

Текст-то он почти дословно запомнил и без купюр его воспроизвел ночью, когда официально-показательная часть новогоднего праздника закончилась и он на Леши-Агашиной кухне приземлился.

Складная история получилась. Сказка? Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.

К такому примерно итогу пришел тройственный союз и примкнувшая к нему Агаша. Что и говорить — универсальный вывод, на все случаи жизни подходит. Как всякая народная мудрость. Интересны подробности, пусть и выдуманные. Кем? Зачем? Почему именно так дезинформиру-

ют — это тоже материал, из которого историческая концепция шьется.

Так вот. Операция, по версии того, кто Раю-Зуру подучил, почти год готовилась. Крупными силами, которые не довольны российской государственной политикой. Бесит она их. И не только в отношении Чечни. Чечня — лишь удобный повод, зацепка.

— Вот новость так новость, — хохотнул Иван. — Даже средний школьный историк объяснит, что всякая война назревает долго, а вспыхнуть может от чего угодно. Хоть от случайно брошенного окурка, хоть от тщательно подготовленного взрыва — для истории без разницы. Причины, войну породившие, только через много лет можно по полочкам разложить. Когда в архив сданы все заинтересованные лица.

Митя не спорил. Просто продолжил. В группе террористов был засланный спецслужбами агент, шеф Райки-Зуры. Она даже фотографию групповую продемонстрировала. Фотомонтаж, конечно. Трое рядком стоят. Масхадов в папаше. Ноги расставлены и руки сомкнуты на причинном месте, как у настоящего диктатора. Рядом с ним, его не касаясь, отставница-Тэтчер. Сурово, по-мужски смотрит, руки по швам. Оба с плотно сомкнутыми устами. И крайний справа — весельчак с коротко стриженной бородой и усиками. Напоказ выставивший ровные белые зубы. Подписано, кто он: бэдж болтается на лацкане темного пиджака. Этот молодчик и обеспечивал, якобы, проход чеченцев по Москве и захват театра. Именно он убедил террористов, что все под контролем, что грязных людей полно, что русские опять взяли деньги — как в тот раз, когда из окруженного Грозного и из окруженного Комсомольского выходили. Захватчиком,

Три товарища, Агаша, старик

мол, надо просто пошуметь — получится второй Буденновск. Таким образом можно мира добиться, а потом, после выполнения задания, им дадут уйти. Не всем, конечно, но дадут.

— Она минут пятнадцать говорила... — удивился Митя. — А я вроде уже все рассказал. Врала еще что-то про администрацию президента... В общем, гарнир уж совсем несъедобный.

— А я верю, что им могли так башку задурить. Особенно вдовам. Или матерям, на глазах которых наши контрактники сыновей-дочерей малолетних насильовали... Говорят, и такое было... — Леша, не вставая, подтолкнул ногой свою табуретку к Агашиному стулу и положил ладонь ей на плечо. Не обнял, чтоб товарищам глаза отводить не пришлось. Чувство такта — огромная сила, способная предотвратить войну эмоций. — Мсть «в законе» все крушит, разум в первую очередь. Говорят, что правду мы никогда не узнаем. Да знаем мы ее, знаем! Вот она, единственная правда — сто двадцать девять человек в театре погибло! Колесо истории их раздавило. И как чеченки бедные — марионетки в руках их командиров, так эти самые командиры — только винтики приводного механизма. И у олигархов... ну, у тех, кто все это придумал и кто руководил, по воле исторического случая все так получилось. Когда это стопроцентно выясняется, отчего человек заболел? Микробы заговор против него организовали — так, что ли?

— Примерно так массы и думают. Примитивность — залог успеха. Массового. Вера в теорию заговоров — самый простой способ для обывателя не чувствовать ответственность за все, что случилось. И не сопереживать. — Иван поставил локоть на стол и положил свой подбородок в ладонь, чашечкой раскрытую.

Взгляд его то и дело останавливался на Агаше. Что он высматривал? Спроси — не ответил бы. Сам в себе никогда не копался, а другого, даже друга, на пушечный выстрел бы к своей душе не подпустил. Может, просто интересно было наблюдать, отчего Агашины глаза так часто цвет меняют? Серыми становятся, когда она сердится. От гнева — зеленеют. И само ясное небо в них отражается, когда она счастлива. Улыбка ее нравилась, как губы дерг — и раздвинулись, когда она нечаянно с тобой глазами встречается. Рада тебе, и все тут. Узнавать, почему рада, совсем не тянет.

У Лешы, кажется, получается не погасить это излучение... Бывает ли такой огонек вечным? Хорошо бы как можно дольше поблизости находиться. Помочь, если что вдруг стряется. Когда жизненный фон всякой гадостью не грунтуешь, то и этот тонкий слой света может дать ощущение счастья. Ровного и надежного.

— Агашенька, я уже говорил, что в очереди на твою руку и сердце стою? — Митя перехватил взгляд Ивана и его как будто подбросило — с шумом вскочив со своего места, он опустился на колено. Вышло, что перед Лешей — до Агаши, в углу сидящей, ему было не добраться.

— Ах, что вы, что вы! Встаньте, здесь пол совсем не чист! — жеманно поджав губки, продекламировала Агаша. Реакция что надо. Молодая... — Для роли Хлестакова тебе, голубок, килограммчиков двадцать надо сбросить. Или это какая-то новая трактовка?

Какая там еще трактовка... Спонтанно, инстинктивно неуклюжий Митя действовал... Ну и как этот порыв согласовать с тем почти подлым сводничеством, которое Маркелыч, тот просто предательством обозвал? Да было оно без всякого расчета. Просто Ракитин в подходящий мо-

мент подъехал со своим нитьем, клянчить стал, просить Агашу на день рождения позвать. Пристал, как комар. Надоел. Вот Митя и брякнул, не подумав: «Сам зови!» Столько вокруг него людей и людишек на разных — то отдаленных, то приближенных — орбитах вертится, что невозможно ответственно с каждым роман строить или хотя бы новеллу. Люди собрания сочинений пишут, не утрудив себя осознанным сюжетным построением, а в жизни ждать продуманности отношений с тобой — глупость однозначная. Когда последний раз матери звонили, и то не могут запомнить...

Принимать участие в любительском спектакле у Ивана не было никакой охоты, поэтому он в реальную жизнь вернулся.

— Я вчера с однополчанином встречался. Он в эфэсбэ на белый хлеб с икрой зарабатывает. У них говорят, что певец... Как его? Ну, тот, в паричке... Московская чеченская диаспора соловья этого к террористам отправила. Они-то понимали, как худо им после всей этой заварухи придется. Байраев посланнику сразу сказал, что мелкий бизнес им не указ. В объяснения, конечно, не пускался, но и без них все ясно. Террористы ведь не подорвали ничего, потому что приказа не получили... Говорят, даже взрыватели не вставили на место... Приятель подтвердил, что в окрестностях были подготовлены квартиры для тех, кому должны были дать уйти из театра. Не понадобились.

— Певец, помнится, сколько-то детей вывел? Спас, значит? — Леша оторвал себя от Агаши, чтобы похозяничать.

Закипая, электрический чайник гудел-плевался, и пришлось громче говорить. Сердито получилось.

Глава 15

— Пусть у него цель меркантильная была, пусть дети — только прикрытие. Это все в воздухе растворилось. Остались живые спасенные души.

Ну что после этого скажешь? Ничего. Молча чай выпили, и Агаша пошла лежбища готовить.

Митя уехать порывался, но Леша, заметив, сколько пустых бутылок выстроилось в углу кухни, решил, что эта пивная батарея должна, обязана остановить шофера. Тем более что квартира-то двухкомнатная — и для любви, и для дружбы места хватит.

Глава 16

Всего лишь промолчал Маркелыч, когда на заседании жюри один информированный буквоед предложил исключить из рассматриваемого списка Митину книжку. Знания очень по-разному можно применять. Отлично заостряют они орудие, которым незаметно для других «секир башка» делается. И как оспоришь? Правда это, что новых там текстов, опубликованных именно в этом, премируемом промежутке — один или два, остальное — уже было, только перепечатано тут.

Не сопротивился профессор, а ведь заметил, давно заметил, что в таком субъективном деле, как оценка текста художественного, одного формализма ой как недостаточно. И тыняновского формализма, артистичного, и того, что клеркам доступен — то есть аккуратного соблюдения инструкций, из которых состоят не только официальные бумаги, но и большинство учебников по теории литературы. Любой формализм годится лишь как компас, чтобы в океане написанного и изданного не потонуть, найти там острова и континенты, где возникают и живут миры, созданные не графоманами, не ремесленниками, а подлинными (уязвимое словцо, понимаю) писателями. Всем известным критериям соответствует лишь кондовый середнячок. Но-

вое, неожиданно-негаданное всегда какое-нибудь правило нарушит.

Но отбрасывают-то инстинктивно, безотчетно. Отследить при минимальной наблюдательности можно только личные счеты. Особенно свирепо действуют особи одного рода-вида — филолог «мочит» филолога, редактор — своего коллегу. Одинакового года рождения достаточно, чтобы друг друга возненавидеть. Бабье про бабье — так вообще никакую непредвзятость блюсти не в состоянии. Читаешь, и всплакнуть по-чеховски хочется: «Простите, это личное...» Но интересно не это, общее свойство рода человеческого, а как конкретно зависть-ревность-мстительность проявляется.

Бедные, бедные писатели! Мирный путник, наслаждающийся самим процессом ходьбы (то есть писания), по литературной тропе далеко не уйдет. Быстро, в самом начале напорется этот ротозей на задиру, который постарается его оттолкнуть. И если не выработать стойкость бойцовскую, то не то что на столбовую дорогу не выйдешь — и на обочине не удержишься.

Так что же, прав Бродский, жизнь в литературе — это ежедневная борьба? (В передаче Жени Рейна житейский совет нобелеата звучит так: наверху места мало, и каждый день надо вести оборонительные и наступательные бои.) Ладно, пусть так, но ведь и у войны есть правила. Правда, чтобы сражаться благородно, нужно потрудиться сперва. Ох, знал, знал Маркелыч, сколько попотеть придется, чтобы добыть о противнике достоверную информацию, а не ухватиться за сплетни. Их-то искать не надо. Производятся они той подленько-примитивной железой, которая, увы, есть в каждом творящем.

Так вот, только сорвется с языка Маркелыча какая-нибудь едкость, он тут же простенький вопрос себе задавал: а

ты откуда знаешь? И честно — не прыжками, а медленными шажками начинал к источнику информации по обратной дороге пробираться. Например? Пожалуйста. Ляпнул как-то Маркелыч про современного классика, что эрос у того — бедный. Стареет, мол, а хорохорится... И цап себя за язык: ничего же про него, человека, не знаю... Может, все с точностью до наоборот. А старею-то я.

По тому, какие гадости вслух о других говоришь, можно о себе самом очень многое узнать. Совсем не лишне время от времени делать рентген своих душевных внутренних.

Давно уже перестал удивляться Маркелыч, почему так охотно верят профессиональные литературные тусовщики чужим ядовитым оценкам. Их язвительность — всего лишь оправдание лени: не хоча журнал-книжку открывать. Надоело читать, устали или никогда не любили — для того, кто написал роман и уже напечатал, без разницы.

Возмущаются интеллектуалы — как это смеют наши военные продавать оружие врагам, чеченцам. А сами? Сами не то же ли самое в своей епархии творят? Линию Маннергейма выстраивают те, кто должен по роду профессии прокладывать проходы, бреши пробивать в великой китайско-берлинской стене, при помощи которой мировая бездуховность старательно отгораживается от культуры-искусства. Да хоть одного читателя за ручку к достойной книжке привести — и то благое дело. Но где там! Не хотят критики поводьями быть, полководцами только согласны. А откуда взять армию интеллигентных людей? Вот они невеждами и верховодят.

Сколько раз возмущался Маркелыч решениями разных жюри! Устно — в кулуарах ворчал, как все... И, как немногие, слово, бывало, в порыве гневном брал, на сцену взбирался, чтобы публично возмутиться. Письменно — целой

статьей разразился, где формулу вывел: премию дают тому, кому не жалко. Понимал, конечно, что против себя многих настраивает, но и гордость распирала — не трушу, не боюсь правду отстаивать...

Палкой — правду... О двух концах любая палка. Посмеивались над ним смышленыши, умудренные опытом литературного выживания. И не только старики то были: умнику не обязательно лысин-седин дожидаться, чтобы несложные приемы выживания среди людей освоить.

А совсем уж отвязанные «преемники» брали на вооружение Маркелычевы чистые колкости, обмазывали их грязными сплетнями и домыслами и метко бомбардировали этими комьями сколько-нибудь успешных творцов. Прославились тут же.

И плевать им, что слава-то геростратова. Такую и только такую мгновенно получить можно. Сколько книг даже любой глянцевої знаменитости написать и издать нужно, чтобы заметили (с третьего-четвертого обычно известность начинается, с третьего-четвертого романа), а о подленькой статейке, которая в газетном подвале вся умещается, в тот же день судачить начинают. Недолговечная, конечно, слава, но кто сейчас в России о будущем думает? Нахапать и кайфовать. Где? Нефтяные олигархи хоть на Каймановы острова отправляются (в Карибском море рай этот, к северо-западу от Ямайки), а бизнесмены от литературы-журналистики (чистая литература ну никак на сравнение с нефтью не потянет пока) — куда? Один, говорят, в Америке длинноногую блондинку в актрису превращает... Другой, разбогатевший на предвыборной кампании, интернет почти монополизировал и теперь каждое лето устраивает гулянки с ночным фейерверком в каком-нибудь московском парке. Литераторов с политиками сводит, но результат получается тот же, что от скрещения ежа с ужом — ко-

лючая проволока. Агаша пару раз от души там наивно повеселилась, а в это лето полчаса потусовалась и ушла... От ликующих, празднично болтающих, обгающих руки в крови...

Поступив «как все», Маркелыч не в своей тарелке себя почувствовал. Агаше позвонил. С целью вполне практической — о решении жюри известить. Чтобы она не опоздала в завтрашний номер дать информацию. Но сам-то поддержки хотел — из-за дочери же Митину книжку защищать не кинулся.

— Ой, как жаль, что Митяю ничего не досталось! Ну не огорчайся, папочка! В этот раз не получилось — потерпим до следующего... — «успокоила» Агаша.

Ноги в метро не шли, чтобы успеть на вечеринку, где результаты «журения» будут объявлены. Ни под землю углубляться не хотелось, ни в себя. По Тверской пешеходом Маркелыч потопал.

Только-только сумрачное настроение до болезненности сгустилось, как вспыхнули фонари по краям тротуара, и в дворцы превратились серые дома, подсвеченные умело спрятанными лампочками. Не улица, а праздник, который всегда с тобой. Маркелыч даже напевать стал:

Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?..

Стихи Блока, музыка Брамса, автор песенки — сам исполнитель. Не зря же постмодернизм не воровством называют, а новым художественным этапом. Попользуемся! — весело сам себе сказал.

Живи Маркелыч не в России, а в какой-нибудь теплой стране, он мог бы, как Диоген, в бочке кайфово жить, или монахом бездомным странствовать, или на берегу Сены с

клошарами тусоваться — качество приходящих мыслишек от бытовых условий никак не зависит. В одиночку живя, легче восстанавливать гармонию в своей душе — а именно это состояние и было для Маркелыча естественным, искомым.

Но, во-первых, у него семья любимая была. Хотя нет, это никакое не «но», и уж точно не «во-первых». Никакого рюда тут не выстраивается. Одним целым чувствовал он себя с женой-дочерью всегда — и когда втроем вместе жили, и когда он за кордон уезжал лекции читать, и когда Агаша отделилась.

Одиночество втроем, конечно, тоже бывает, оно тоже может страдания причинять, и нет у него такого лекарства, как у одиночества одного, которому Бог второго может послать. Или есть? Но не Маркелычев это случай. Маркелычу хорошо было оттого, что не его собственное благополучие заботило его в первую очередь... За эгоизм уж он, самоед классический, по крайней мере сам себя не должен был корить.

Нет, простым маргиналом не мог он стать хотя бы из-за масштаба своих амбиций. Гордиться тут нечем, ничего возвышенного в них нет, но сами собой, как температура, вспыхивали они всякий раз, когда он кожей чувствовал или умом понимал, что кто-то его пихает, столкнуть на обочину пытается.

В детстве драться пробовал — ни разу победы не добился врукопашную. Да и откуда взяться примитивной силе у профессорского сынка, которого со двора в дом тянет — глотать сочинения классиков из родительской библиотеки, том за томом, ни одного не пропуская, с письмами и вариантами. Без определенной цели читать — похоже на «без определенного места жительства» болтаться... Тогда и сообразил, что не только кулаками отбиваются. Огнем неж-

данных эпиграмм можно уничтожить нападающего. Не каждый это сумеет, в морду дать все-таки проще. Маркелыч сумел.

В четвертом классе дело было. Первое же четверостишие имело административные последствия. Такие же, какие бывали, когда в драке руку-ногу хулиган кому-нибудь ломал. Мать вызвали к директору и листочек ей вручили, который ее отпрыск по рядам во время урока пустил. «Отчего невесел Коля? У него в желудке боли, оттого что за версты расползлись в нем глисты». Реальной причиной пощечины-эпиграммы были... антисемитские разговоры грустного Коли. От своей матери, конечно, маленький меланхолик поднабрался, от матери, в одиночку воспитывавшей сына-полукровку.

Десятилетний сатирик интуитивно сориентировался на древнюю традицию жанра: не вступая в идейные споры, выставить на свет божий физические недостатки противника. Мать Маркелыча засмеялась, а его самого на неделю из школы отчислили.

В таком духе потом и действовал. Письменно отвечал Маркелыч своим оппонентам. Считанные разы в прямую полемику с ним кто-нибудь ввязывался, исподтишка мстили. Кто и как? А черт его знает... Ну, проследил как-то цепочку, по которой огонек ненависти до него добрался. Мерзко стало, мстительность пробудилась... Зачем? Лучше не знать, кто конкретно зарубил твою кандидатуру на получение благ разных. Если что и интересно, то... узнать, кто из твоих друзей-приятелей не сопротивлялся этому. Любопытство удовлетворил, когда понял, что все, каждый может промолчать. Как сегодня он сам.

Так что же, выходит, он мал и низок... Как все? А может, чудище под названием «как все» многолико? Эдакое Арчимбольдо из овощей-пороков и фруктов-слабостей. Ха!

Маркелыч усмехнулся, собой довольный — темные мысли потеснила цветная картинка выпендренника-итальянца. Да, на лицах нас, стариков, хорошо видны результаты борьбы добра со злом, духовности с суетностью, понимания-прощения с мстительной завистью... Науки-искусство постарались, исследовали. Красота (то есть победа высокого) или безобразия (поражение) — вот результаты этого сражения. Итог, подделать который не может никто, сколько ни заплати.

Дома, в ванной, вытирая вымытые руки, Маркелыч поднял голову и посмотрел в зеркальный овал над раковиной.

«Ты ведь отнюдь не Аполлон!» — когда-то давно, в юности, сказала ему девица, обманутая в своих матримониальных намерениях. Сама собой обманутая — он ей ничего не обещал.

Вот тогда-то, изучив свою фотографию (самую удачную выбрал, ту, которую в главной его книге тиснули), и постановил Маркелыч раз и навсегда, что уродств каких-то выдающихся у него нет, и ладно. Разве что ранняя лысина... А! Это недостаток простительный, если стыдливо не прятать его, не скрывать париком или длинной прядью, специально отращенной. Но что не красавец — точно. И принял это смиренно, как данность, на которую можно просто не обращать внимания...

Кажется, теперь настала пора снова в себя взглядеться. Ничего нового. Нормальное, в общем, лицо. А что глаза домиком — так это даже необычно. И борода, говорят, мне идет... Тьфу, глупость какая — на себя смотреть. Может, еще морщины посчитать или количество волос вокруг облысевшего затылка?

«Победа разума над сарсапариллой», — констатировал Маркелыч и, успокоенный, пошел в кабинет — проверить

Три товарища, Агаша, старик

почтовый ящик своего ноутбука. Новое письмо — одно. От Дитриха. «У меня сложилось впечатление, что ты чем-то обижен...» Извиняется так? — подумал Маркелыч. Принимаю.

Дальше стал читать. Дитрих просил о помощи. Через пару месяцев в Роттердаме ему надо делать доклад о том, изменился ли взгляд нового поколения гуманитариев на русскую историю.

Ну ничего же об этом не знает, зачем согласился? — поворчал про себя Маркелыч, но тут же ответ тюкать принялся. Иван с его учебником и Митя с новым романом — вот герои нового времени. Увлёкся, мыслишки одна за другой стали прибегать, а заодно и конец всем русско-русским и русско-немецким размолвкам в душе наступил.

Глава 17

Мама, неизменный министр телефонных дел, уехала в провинцию бабушку проведать, поэтому трубку Агаша взяла сама. Так получалось, что каждую неделю, без пропусков, она навещала родительский дом. И одна, и с Лешей. Если дела никакого не было — ну, например, одежду из своего шкафа взять, книжку-журнал из домашней библиотеки, — то просто так приходила. Пожаловаться-посоветоваться, в жилетку поплакать и похвастаться... Тянуло ее к родителям. Счастливые. Кто? И она, и они, конечно.

— Привет, подожди минутку, — сказала она в телефонную трубку и, царапнув отцовскую дверь, сразу голову в его кабинет просунула: — Извини, Иван спрашивает, можно ли прямо сейчас зайти?

Маркелыч полчаса назад вернулся с университетского дня открытых дверей, где в четырех аудиториях, в райкинском темпе переходя из одной в другую, рассказывал потенциальным студентам о своей кафедре. И дома сейчас тоже работал — подбодрившись рюмкой французского «мартеля», уже о себе повествовал журналистке для глянцевого еженедельника. «Мы ведь заканчиваем?» — из учтивости ее спросил и тут же кивнул Агаше — конечно, пусть, мол, приходит.

Утомился Маркелыч... И поесть-выпить как следует хотелось. Вовремя Иван позвонил.

Домофон запищал, когда на стол накрывали. Не в Германии дело было, слава богу, дома — Маркелыч и не пытался помогать. Все равно он никак не мог запомнить, откуда что вынимать, а если и найдет нужную чашку-плошку, то пока несет ее к столу — задумается, на полдороге вернется и приткнет обратно в шкаф. На новое место. Найдя потом.

Так и устаканилось в мирке этой квартиры — каждый делает то, что умеет и хочет. Маркелыч пылесосил, мусор выносил, в магазины заглядывал, в окрестностях гулял. Еда-питье, лампочки-порошки — его ответственность. Если хлеб-сыр-простоквашу забывал купить — пеняй на себя. Жена подстраховывала, конечно, напоминала о базовых продуктах, но к его забывчивости приспособилась и научилась не упрекать. Не сразу, конечно. Примерно после... ситцевой свадьбы. Вот из каких незаметных, приобретаемых навыков строится прочный мир в маленьком семейном мирке.

Маркелыч не занят — ему и встречать гостя. Вышел в коридор, общий для четырех квартир, открыл дверь в лифтовый холл, а ему прямо в лицо — огромный пук белых тюльпанов. Свежих, с высоко задранными головками и стройными стебельками. Держит его девочка лет семи-восьми, в красной куртке и смешной белой шапке с гномиком на макушке.

— Здравствуйте! — смело так говорит. — Вам посылка. Букет просили передать.

Маркелыч даже растерялся:

— Ты не ошиблась? В какую квартиру?

Девочка четко выговорила правильный номер, и Маркелыч уже начал соображать, кто бы мог прислать им ран-

нюю весну. Было однажды — юноша в униформе доставил корзину цветов на круглую дату его жене. Так то швейцарская подруга поздравила с юбилеем. Но тогда из фирмы «Интерфлора» заранее позвонили, спросили, когда кто-нибудь дома будет. А тут — маленькая девочка...

— Записки никакой нет? От кого подарок? — спросил Маркелыч, беря букет.

— От нас, — пробаритонил кто-то из-за дальней двери, ведущей на лестницу.

Маркелыч не сразу распознал, кто это — то ли закатный луч солнца из высокого коридорного оконца его ослепил, то ли сияющая улыбка на обычно угрюмом лице Ивана. С удовольствием они потом эту сценку, друг друга перебивая, трижды описали — Агаше, Леше и Митьке, когда тот ввалился. А Манечка еще и всякий раз свои подробности-уточнения вставляла. Нисколько никого не стесняясь. Отец одергивал ее, сердился, но видно было — понарошку, из педагогических соображений. Совсем не вымещал на ребенке недовольство собой и окружающими, как бывает, и еще как часто бывает.

Усидеть за столом Манечка не могла — такие бойкие дети никогда есть не хотят. Безошибочно вычислив доброту, которой потихоньку можно помыкать, она схватила Агашу за руку и повлекла ее из кухни.

По дороге в свою комнату, в бывшую свою, хозяйка сообщала, чем бы занять энергичную девчурку — к взрослым хотелось поскорее вернуться. Но Манечка быстро огляделась и вытащила на диван все остатки Агашиного детства, которые еще жались по углам-полкам. Плюшевую таксу, забившуюся под книжный шкаф, углядела, каверинские сказки перелистала. Понравились. Потребовала ей вслух читать. Одного слушателя показалось мало, сбегала за Лешей. Так они втроем и не заметили, как часок прошел.

Иван с Маркелычем тоже часов не наблюдали. За питьем-едой разговор вилял в разные стороны, пока на Ракитине не остановился. Ивана удивило, что тот в партию вступил:

— Ладно бы, к каким-нибудь классическим либералам примкнул... Которым так уж проститутно выкобениваться не надо, чтобы их не забывали. Так нет, вляпался в новую, только что образованную партию. А она настолько небрезглива насчет финансирования, что оторопь берет. Ракитку даже в Европу на переговоры с денежным мешком взяли. Но и петух прокукарекать не успел, как хвосты все поджали... Государевы слуги намекнули только, на ушко кому-то одному шепнули свое «нэ надо», и отреклись они принародно от спонсора, который в оппозицию угодил не по идейным соображениям, а ситуационно... Потому что так фишка легла.

— Да нет, не только фишка... — Раздражающее всех имя олигарха заставило Маркелыча завернуть в политическую подворотню.

Нечасто он всерьез размышлял о чем-нибудь, кроме литературы-искусства и того, что их питает. Редко, очень редко находил для себя хоть что-то интересное в тех, кто употребляет в пищу политические отбросы. Но о смышленном, хватком олигархе то и дело вспоминалось... Заметил Маркелыч, как тот одним из первых математически точно вычислил, куда все идет, и сразу кинулся деньги будущему преемнику совать. Присоединился к процессу, который был почти историческим, то есть уже от личностей разных не зависел. Ну, все равно, что во время сильного ветра начать руками махать, чтобы подумали, что ты и есть источник порыва. Вот и он... А когда прижали, счет на свои непрошенные услуги выставил. Сжульничал. Принялся громко вякать, что без его помощи выборы так успешно бы не

завершились. Газет, эфира радиального и телевизионного прикупил, чтобы уж всех, без исключения, о своей горькой судьбе оповестить. Хотел на имидже обиженного и преданного сыграть. Народ у нас ведь любого, кого государство преследует, поддержит. Любого не любого, но у него не вышло. И не могло выйти. Гремучая смесь капитала и неарийской крови взорвалась и выбросила его в Европу. Пока.

— С ним-то более-менее ясно. Ракитин, вот кто меня поразил. — Ивану все-таки хотелось досказать то, ради чего он этот разговор и затеял.

Увлечшись, он и не заметил, что при имени антигероя его истории, Ракитина то есть, Маркелычево лицо меняется — губы растягиваются в какую-то виноватую улыбку, пальцы начинают нервно теревить подол скатерти, и взгляд профессора не поймать. Отводит он глаза. Так примерно выглядят неверные мужья, к стенке припертые. Но в тонкости эти Иван, своим увлеченный, не вникнул и ничтоже сумняшеся продолжил:

— В тот же день, когда их партийного начальника застрелили, прилюдно, по телевизору стал Ракитка разоблачать этого олигарха. От испуга, что ли, как баба себя повел? Ведь только бабы-дуры, истерически выкрикивая свою якобы правду, не соображают, как это со стороны выглядит. Сами себя и выдают. Вы интервью это видели?

— Нет, — ответил Маркелыч сухо.

Может, войди сюда Агаша, Иван бы остановился, но чужой ребенок легко удерживает возле себя такую девушку, которой уже пора своего заводить. Не было тут Агаши.

— Все Ракитка выложил, без разбора. Все, что дающий деньги им там, в Европах тогда наговорил. Как плебей поступил. По плебейскому принципу: дают — бери. Никаких обязательств за это не беря. Чем они лучше шахидов?

Маркелыч поднял голову от своей тарелки и скользнул взглядом по Ивану. Ну когда же поймет, что неприятно мне об этом Ракитине слушать.

А Иван решил, что Маркелычу непонятна его логика, и принялся разъяснять совсем уж простое:

— У шахидов же высшая доблесть — взять деньги у неверного и ничего, что ему пообещали, не сделать... За олигархов счет Ракитка с соратниками прилетели-улетели, гостиницу-развлечение он им оплатил — как тут возражать-перечить благодетелю. Еще и поддакивали, наверно, ему угодливо, по-лакейски. Единомышленниками, небось, притворялись. Не дурак же этот ворюга-кровопийца, не стал бы так оголяться, если б они хоть знак несогласия какой подали.

Так запальчиво говорил Иван, что и Маркелыча увлек. Глупо из-за какого-то скользкого мальчика все время обходить стороной то, что ему, Маркелычу, важно. Ест же он вкусные щи, хотя в кастрюле плавает противный белый шар вареного лука...

— Конечно, он не дурак, но и понять его можно... — Маркелыч машинально достал сигарету из пачки, лежащей на столе между ним и Иваном. Размял ее — не пересушена. Поднес к носу, понюхал. Глаза уже зажигалку нашли, но одумался, вернул в коробку. Четверть века как курить бросил. Что это потянуло? — Когда надолго от родной почвы оторван, то заносит, бывает. Русский человек не в состоянии копить страстные мысли — вырываются они сами собой, на подставное лицо выплеснешься, не успев сообщить о последствиях.

Профессорская привычка все комментировать сделала из Маркелыча трудного собеседника. Не каждый мог уследить, какое место из речевого потока попало под луч его внимания, внешне никак не обозначенный. Бросая по ходу

разговора самые разные соображения, Маркелыч удерживал свой интерес к тому, о чем ему рассказывали. А иначе улетала его мысль в далекие дали, и, наткнувшись на его отсутствующий взгляд, человек обиженно замолкал. Зачем встречались тогда?

Сам успел сбежать или выгнали, говорил профессор, — всего нюанс, важный лишь для эмигранта. А для родины, его потерявшей — одинаково плохо, пусть это философ, которого Ленин на корабле выслал, или писатель, которого брежневская власть в самолет посадила, или ученый, которого на чем угодно через океан перебросила нынешняя нищета, невозможность прокормить занятиями наукой себя и семью.

Но Ивана Маркелычевы заскоки с толку не сбивали: за годы общений он к ним приноровился, как приспособляются к непривычному климату. Живут люди и в дождливом Лондоне, не все же время брюзжат на погоду. Эксцентрично, конечно, — об этом злодее как о человеке говорить, да еще с собой, классическим бессеребренником, миллиардера этого сравнивать... Пропустил Иван даже слово «русский» по отношению к олигарху. Об этом-то уже спорили, и согласился Иван, что русские все мы, кто здесь родился-учился и гражданином себя почувствовал. Не винтиком, а мотором, от которого зависит движение страны.

— Я наизусть запомнил, что Ракитка на теледопросе выдал — так меня это пробрало. — Иван сдвинулся на краешек стула, потупил взгляд и, обхватив себя руками, заговорил чужим голосом — визгливым, отрывистым, с набегающими друг на друга словами. Вылитый Ракитин. — «Олигарх этот еще тогда, в августе, обещал события, которые обрушат власть. Он одержим идеей мести, страну всю на дыбы готов поставить, только бы президенту отомстить. Это дьявол. Дьявол, дьявол!.. А кто еще вслух такое сказа-

нет: хорошо бы, мол, кто-нибудь сжег себя на Красной площади, а перед аутодафе во всем президента обвинит... До захвата «Норд-Оста» Он говорил, что только благодаря Чечне президент престол получил. Чечня же его у него и отнимет. А после теракта еще и жалел, что никакого взрыва в театре не было. Если бы никто не спасся, то получился бы колоссальный удар по президенту лично. У этого защитника демократии и теория своя есть: судьбоносные решения принимает двадцать-тридцать человек. Удача большевистского переворота — вот вам и практическое доказательство этого закона. Народ — быдло, им манипулировать нужно...»

— Хватит! — не выдержал Маркелыч, крикнул.

Иван понял: не его профессор оборвал. Того, кого он только что скопировал. И в двойном пересказе эту бесчеловечность слушать омерзительно. Да и его самого уже подташнивало от прагматического цинизма, которым в политике никто не брезгует.

В начале девяностых, когда время от каждого требовало — не обязательно гласно, про себя хотя бы — реализовать свое право на политическое самоопределение, Иван подумал-подумал, и решил себя либералом считать. Самым широким образом трактовал при этом понятие «свобода». Знал, конечно, что еще во времена Достоевского либералы своим званием связали себя, как веревками, и вместо того, чтобы высказывать свое свободное мнение, трепетали: либерально ли оно будет? Все до единого трепетали. В результате этого страха такие «либерализмы» выкидывали, что самому страшному деспотизму и насилию не придумать.

Но то век девятнадцатый, сейчас уже и двадцатый миновал. А что изменилось? Может, еще изощреннее научились за хорошие слова прятать свои шкурные интересы. Которые уж точно те же, что и всегда — деньги, являющиеся необходимым и достаточным условием для получения влас-

ти. И то, и другое сделать смыслом своей жизни? То есть в колорадского жука превратиться? Да лучше патриотом считаться, пусть это слово тоже на панели политической все изгваздали. Ничего, отмоем. Вместе с Лешкой, Митяем, Агашей... И Маркелыч, глядишь, с нами будет...

— Мы чаю хотим! — объявила влетевшая на кухню Манечка. — Где тут у вас торт?

— Ты что хулиганишь? — В роли строгого отца Иван был гораздо менее убедителен, чем когда Ракитина копировал.

Любовь всегда и всем мешает играть-притворяться.

— Про торт — это я пообещала. Не ругай ребенка! — заступилась вошедшая следом Агаша. — Папочка, там Митька звонит, к нам просится. Можно? Мы ведь еще не уходим? — обернулась она к Ивану. И не заметила, что себя в гостевой чин произвела, с Иваном объединившись.

— Если твой отец от нас не устал, то мы с удовольствием останемся. Правда, Манюнька? — Иван взял дочь под мышки и подкинул к потолку. Та радостно завизжала.

И Маркелыч согласился. Кивнул, изображая безразличие, а сам даже обрадовался. Соскучился по Мите, что ли? Ну вот еще, обдумывать такие пустяки. Теплое под ложечкой почувствовал — и хорошо.

Митя ввалился в квартиру с пустыми руками и сразу же затараторил. Оправдываясь:

— Украли дары. Я не на машине, на метро ехал — выпить-то и шоферу хотца! Бутельмент купил, в тот же пакет роман свой сунул, заранее инскрипт вам, Маркелыч, душещипательный нанес, и рядом на сиденье все эти сокровища пристроил. На баб глазею. Вдруг соседка справа — немолодая, ну, я ее и не разглядывал — хватает мое подношение и шась в сдвигающуюся шелку. Уже после «осторожно, двери закрываются». Классно прием выполнен.

Я прямо восхитился. Ясно, височки-то она употребит по назначению, а вот что с бедной моей книжкой будет? Неужели так целочкой и умрет? Осталось у вас, чем помянуть несчастную?

— Но вы-то, по-моему, счастливы? — Маркелыча задела легкость, с какой Митя — прощенный им, но все равно же виноватый, — переступил порог его дома.

Неужели горечь, которую он из-за паршивца до сих пор чувствует, тому совсем не ведома? А ведь собирался профессор еще и про жюрение свое что-нибудь вякнуть. Заранее, конечно, не думал — что скажется, то и ладно. Оправдание не оправдание, а вроде того... Вот бы выставил себя на посмешище. Новый-то Митин роман уже выдвинули на новую премию. Про ту, не полученную, он уже и забыл, наверное. Да, надо учитывать, что стар, реакция не та — спотыкаться стал о неровности, какие в молодости проскочишь — не заметишь.

— Я — счастлив? Разве голодный может быть счастлив?! — Митя опрокинул стопку и стал рыскать глазами, чем бы закусить.

Его руку с пухлым треугольником торта Агаша перехватила уже у разинутого рта:

— Фу, видеть такого не могу. Водку сладким закусывать...

— Так кисленькое-то, наверно, уже все — тю-тю? В ваших желудках переваривается?

Молча, ни слова не сказав в ответ, Агаша открыла белую дверцу новенького «Электролюкса».

В ремонт, который, как всякий процесс, может втянуть и утопить любого жильца, родители даже не пробовали погружаться. Сообразили, что стоит начать — ну, обои порванные только на кухне переклеить, — и своеобразная, странная гармония их логова рухнет: эстетическое чувство начнет вопить и от паркетной выбоины, и от вздутия на

потолке, и от... Стоп, стоп, инвентаризация прорех — это уже первый шаг к евроремонту. Не составляли длинного списка родители, и Агаша не будет. Но ведь почему-то удобно было тут жить? Физически удобно. Почему? Потому что всегда, решительно и быстро покупались самые современные приборы — телевизор с видиком, телефон уже пятый или шестой, проигрыватель для пластинок, магнитофон, си-ди плеер, два компьютера и по мелочам — кофеварка, утюг, пылесос...

Агаша вытащила из холодного нутра в теплую компанию все, что можно прямо сейчас лопать. Не спрашивая ни гостя — Митькин аппетит знали все, кто хоть однажды вместе с ним ел, — ни хозяина, который почти никогда не жадничал.

Скрягой Маркелыч был только насчет писчебумажных изделий — пару раз даже рывкнул на почти взрослую Агашу, когда она папиными фломастерами, без спроса взятыми, разрисовала его любимый блокнот с отрывными розовыми листочками. И чего пожалел? Совсем скоро ноутбук купили. И фетровые стерженьки засохли, и бумага разве что для принтера теперь нужна... Так и лежат в ящиках неудобного для компьютера письменного стола девальвированные ценности — белила-бутылочки и белила-карандаши для правки машинописи, тоненькая лента для заклейки слов и строчек, напечатанных на югославском рыжем «Унисе», гелевые ручки выдыхаются... Плюшкинский стол двадцать первого века. Во все времена бессмысленна скупость...

Ел Митя не церемонясь, по принципу «дичь можно руками». И не только куриную ногу смачно обглодал, но даже кусок холодца, задрожавший в его пятерне, без вилки-ножа отправил в рот. И все это делал открыто, нахально так свою невоспитанность выставлял. Гедонист! Приятно посмотреть.

Хороший аппетит заразен — на этом вся продовольственная реклама держится. Леша первый протянул руку к деревянному кругу с сырами, за ним Агаша, потом... Все потом, даже худышка-Манечка бутерброд съела.

Время было уже не детское — к цифре «десять» своим незаметным шагом подобралась коротенькая стрелка больших карманных часов, за толстую цепочку подвешенных на гвоздь у самого потолка. А у компании как будто второе дыхание открылось. Разбегаться никто и не думал. Манечку мама ее вызволила бибиканьем своей «тойоты» — уговоров по мобильнику не хватило. «В следующий раз снова в больницу поиграем», — пообещала Агаша, и только тогда Иван сумел схватить дочь в охапку. Вынес из дома и тут же вернулся. Почему не уехал?

По разным причинам Иван в гостях засиживался. Самая редкая — когда дружеская спаянность питает общий разговор. Чаще, конечно, это легкое, приятное балагурство. Погружаешься в него, как в ванну-джакузи, в которой нет-нет, да и уколется тебя чья-нибудь острая шуточка, меткая, но не злая... Тонус поддерживает. И такое уже редкость, но сейчас-то речь о совсем диковинном в наше прагматично-циничное время. (Которое, оказалось, тоже можно оценить. Вешают же бирку на литр пресной воды, квадратный метр земли, кубический — воздуха... И расходуют тогда свое и чужое время с расчетом на понятную, в валюте выражаемую выгоду.)

За самым роскошным, красиво сервированным обедом — было такое с Иваном — обсуждали «поставки, вагоны-пергоны, растаможку-откат». Вкус так тупится, что не заметишь, как эти простые слова не идут к бордо 1980 года, коньяку пятидесятилетней выдержки, птифурам всяким и бланманже, которые официант на стол подносит. Но ведь

за такой же трапезой могут «заказать» и какого-то определенного человека, и никому не знакомых прохожих-зрителей-тусовщиков, случайно попавших на спектакль, на дискотеку... Кто вор, кто кровопийца в жирной туче колорадских жуков — как разделить?

Бизнес-цели — вот эпидемия, которая наш «шарик» захватывает. Медленно, но настойчиво, без всяких там эмоций каждого человека старается в свою армию завербовать. Есть-пить хочешь? Вот ты на крючок и попался. Телевидение сдался, его первым взяли, как в октябрьский переворот — почту-телеграф-телефон. А с его помощью и театр-кино-литературу на колени поставили. Церковь тоже не устояла...

Бессмысленно, конечно, против денежных потоков сражаться — они как кровь, которая весь организм питает. Но если слишком много ее наружу выходит, тело же погибает...

И все-таки пока не апокалипсис, раз можно вот так собраться и почти платоновские беседы вести... Платоновские беседы... Редкость теперь... Почему «теперь»? — оборвал себя честный историк. Во все времена редко с кем можно поговорить так, чтобы мысль одного питала-подталкивала мысль другого. Когда в результате не оценку выставляешь, а понимаешь что-то важное для того, чтобы гармонизировать свою единственную жизнь. И именно она, твоя жизнь, вливаясь в жизнь всей планеты, может, как кристалл марганцовки, послужить ее очищению от скверны, думал Иван.

Вслух так бы ни за что не сказал: высокопарность слишком уязвима, самого всегда тянуло над ней посмеяться. Пафос, который навывнос, чаще всего лукав. А наедине с собой у каждого то и дело высвечиваются однозначные ко-

ординаты добра-зла. Очищающая интимная высокопарность. Парение...

...На столе еще оставалось, что пожевать. Лешина рука то и дело тянулась к хрустальной площадке с светло-коричневыми загогулинками кешью, а Митя уже отвалился, даже орехов ему не хотелось. Это алкоголик не остановится, пока в доме осталась хоть лужица спиртного... От еды тоже бывает, попадают в рабскую зависимость и получают муку, страдание, которое всегда с тобой — совсем не пить можно, а не есть... Но Митя-то все-таки старается, балансирует у той грани, за которой болезненное обжорство начинается. Для подкрепления поел — и стоп, хватит.

— Вот теперь я счастлив! — объявил он, вскочив из-за стола.

В девятиметровой кухоньке не побегаешь, а энергия так и прет. Но ведь по-разному ее употребить можно. Не только чтобы мускулы утомить — кулаками там помахать, за врагом погнаться и догнать его, или хоть землю попахать. Подумать-порассуждать — тоже силы расходуются.

Митя притормозил возле Маркелыча. Наклонился ученичок и подбородком потерся о профессорскую лысину. И это прикосновение, как точно подобранное лекарство, раз — и нейтрализовало всю обиду, которая копилась в Маркелыче. Часами можно выяснять отношения, высказывать-парировать претензии, справедливо обвинять и терпеливо прощать — а такого мгновенного эффекта не получишь. Жест, взгляд (главный материал кино) могут заменить слово (главный материал литературы). Столько возможностей есть в природе — в природе искусства, человека, истории...

— Давайте-ка в Настасью Филипповну поиграем! — Митя с разбегу плюхнулся на угловой диванчик — хорошо, у Ивана реакция мгновенная, успел, отодвинулся, чтоб товарищеская туша не придавила. — Только не про стыд будем рассказывать, а про счастье.

И к Митиным взбрыкам компания приспособилась... А как иначе, если все тут были верными последователями Маркелыча с его умственными заскоками. Реакция — отличная. Кинет кто-нибудь мячик — тут же подхватят и дальше игру продолжат.

Иван первый вступил:

— Эвдемонизмом, значит, предлагаешь заняться? Погугорить про счастье как внутреннюю свободу, которую получаешь благодаря самосознанию и независимости от внешнего мира?

Ученый малый и педант... На лету идею схватил. Загорелся, но всегдашнюю его угрюмость этот огонь не уничтожил — брови сдвинуты, щеки гладко выбритые не подрюмянились, губы в улыбку не раздвинулись.

— Все на свете, все на свете знают: счастья нет... — добавил. И тут же рассмеялся. Расслабился.

Остальным тоже напрягаться не надо было. Помнили, где там Тоцкий, Епанчин, Фердыщенко и Настасья Филипповна самый свой дурной поступок наружу вытаскивают. Но не проговариваются, как невинные дети или хитрые женщины, которым ума не хватает эмоции контролировать, — каждый со смыслом оголяется. Не исповедаться хочет, а в чужую жизнь своими откровениями вмешаться. Со смыслом все делают, концептуально, как сейчас бы сказали.

Тринадцатая глава первой части «Идиота».

Тянет все это не разгадать и забыть, а толковать и помнить — у разных времен, у разных людей свое понима-

ние. Однозначного ответа нет ни в конце книжки, ни в последнем томе всего собрания сочинений, ни в целой библиотеке разноязычных трактовок творчества гения. Русского гения — из патриотизма уточнить хочется.

— Чур, я это пти-жѐ начну! — Леша под столом взял Агашину руку в свою и, соединившись с ней, вдруг понял — вот оно, счастье...

Но сказать об этом никому нельзя, и не потому, что спугнешь-сглазишь... Просто счастье его такое спокойное, что не выплескивается наружу никак — ни словами, ни жестами... Ничем, что подделать можно. Про все настоящее вот только так и понимаешь — вдруг, внезапно, как озарение это к человеку приходит. Не к каждому. И как легко пропустить...

Смутился Леша, но не струсил. Улыбнулся рассеянно и через силу, но начал:

— Вызвался первым быть, а рассказа-то у меня нет. Картинка только перед глазами стоит: первый летний день в мае. Припекает. Тепло это молодое, сильное — одного его прикосновения достаточно, чтобы почки раскрылись, соловьиная песня включилась, женщины разделись... Мы на палубе речного трамвайчика сидим. Совсем неоднородная, смешанная компания: однокурсники, дружки-приятельницы и к ним примкнувшие незнакомцы и незнакомки... И мой рыжик, полужнакомый тогда еще... — Леша встал с дивана, порыскал глазами, где бы стул взять. Ненадежный, то есть ломаный-чиненый, из коридора принес, поставил его с Агашиним вплотную, чтобы в обнимку рядом с ней сидеть. — Подпись под картиной: «Любовь пришла». Вот это и есть счастье. — Виновато-застенчиво опустив голову, бормотнул еще: — Про стыдное, наверное, легче рассказывать. Глупая затея... — И приумолк.

— Сразу — «глупая»! Обидеть автора идеи может всякий! — Митя прикрикнул.

Громко вышло. Театрально. Из переделанной цитаты занавес защитный изготовил. Чтобы остановить откровенность, волной идущую на него. Испугался, что захлестнет. За шутовством спрятаться хотел — известный прием. Себя, не присутствующих он боялся. Эти-то — проверено, не предадут. Во зло ничего не используют — хоть какие изъяны-пороки-слабости обнажишь. Сам от себя их скрывал, сам себе все время что-нибудь, да не договаривал. Думал — некогда, времени нет, оказалось — храбрости не хватает...

Но Маркелыч не поддался. Не дал смазать все, не позволил в балагурство, всегда поверхностное, сбежать от серьезности, помогающей суть понять...

Он-то знал, как редко бывает такое состояние, когда сядишь перед компьютером, и вдруг каждая жилочка звенеть начинает, и ты тут и не тут — вырвался из уже кем-то подуманного-написанного в новое, одним духом открытое пространство, и пальцы сами тюкать начинают непредсказуемое, чего от себя никак не ожидал.

И вот оказывается — не только наедине с собой такое можно испытать, и не только благодаря науке-искусству. Жизнь сейчас похожее напряжение создала. Сбежать от него? Молодые, они не знают, какая это редкость. Все им кажется повторимым, все будет еще. А открыться с помощью другого так трудно, почти невозможно — именно сейчас Маркелыч почувствовал, что не стесняется это сделать. Прервал молчание:

— Счастье — это идти в полдень мимо тридцати двух пилястр Манежа во дворик с памятником Ломоносову.. Или проснуться щебечущим утром и натошак души прочитать

Три товарища, Агаша, старик

страстные нападки Цветаевой на счастье. Согласиться с этим — и тут же начать спорить.

— Что прочитать-то? — Все еще кривовато усмехаясь, Митя спросил.

Сбить Маркелыча ему снова не удалось, профессор и позы задумчивой не поменял. Продолжал теревить бородаку, сидя на коротком отростке углового диванчика — хозяйское место, которое он гостю легко мог уступить: даже у себя дома ни за что не держался. Ну какая карьера у человека, столь легкого на подъем...

Но сейчас он не встал. Агашу попросил белый томик из кабинета принести. Очки надевая, пробормотал:

— Хорошие стихи легко ложатся на память. А самые лучшие сначала лягут, а потом вскочат — и надо снова ими овладевать, как в первый раз воспринимая.

Книжка сама раскрылась на нужном месте, и Маркелыч, почти не подглядывая, читать стал. Без выражения, не с актерской, а с авторской интонацией. Не Цветаеву копировал, а как будто сам сочинял.

Счастье? Но это же там, — на Севере -
Где-то — когда-то — простыл и след!
Счастье? Его я искала в клевере,
На четвереньках! Четырех лет!

Четырехлистником! В полной спорности:
Три ли? Четыре ли? Полтора?
Счастье? Но им же — коровы кормятся
И развлекается детвора

Четвероногая, в жвачном обществе
Двух челюстей, четырех копыт.
Счастье? Да это ж — ногами топчется,
А не воротами предстоит!

— Ну нет, папочка, все-таки больше хочется с этим спорить, чем соглашаться. согласишься, и ее судьбу повторишь... — Агашу передернуло, как от озноба, и она к Леше прижалась. К защитнику потянуло. — Ну, зачем она так грубо оттолкнула Ахматову во время их первой и, кажется, единственно встречи: «Вы, Анна Андреевна, всего лишь обычная женщина». Но если сама жизнь, всякая, — счастье, то именно у обычной женщины оно дольше... А я счастлива тогда...

— Меняю правила! — перебил Митя. — Стыдно про ваши счастья слушать...

— И завидно, — добавил Иван.

Не чтобы уличить Митю добавил, а чтобы самому открыться: когда другие так беззащитно откровенны, нечестно умолчать о важном, которое в тебе правдиво сверкнуло. Среди голых — одетый...

И снова молчание. Маркелыч уже рот открыл, чтобы пауза не затянулась. Хозяин все же. Но ничего не сказал. Понял, что Агашу Митька с Иваном так останавливают — ведь если она сейчас заговорит, то... Вдруг признается, себе признается, что выбор сделан, что они оба... Лишние — не лишние, пусть посторонние или только наблюдатели... Мало этого по неопытности всегда кажется. Все — или ничего! Быть или не быть — только так!

Никаких нюансов категоричная молодость не признает. Пьют и пьют из сексуального источника, тем более что сейчас и у нас, в России, можно это делать почти открыто. И невдомек таким жадинам, сколько всего они упускают, сколько разных, неожиданных чувств испытывает тот, кто умеет рядом с развивающимся человеком держаться. Конечно, природную силу притяжения надо сперва почувство-

вать, чтобы именно своих спутников угадать. Но это получается только тогда, когда инстинкт собственника победишь. Разумом, пониманием...

Маркелыч своим молчанием помог Мите с Иваном ничего не выяснять. Лучше в недоговоренности пожить, чем рискнуть и все потерять.

— Завидно, конечно. — Митя спорить не стал, с готовностью согласился. — Мне градус повисить нечем, никакого соревновательного потенциала нет у всех моих баб-оргазов... Прости-прости, Агаша. Воспринимай остраненно. Как филолог. Уэльбека же ты спокойно переносишь. Вот я сейчас соображал, что бы вам подсунуть... Ха-ха!

Никто даже не улыбнулся. Никто же и не рассердился. Среди своих, по-настоящему близких, и неловкость, и цинизм, и глупость — всего лишь провинность. Не преступление. Прощаются, если они разовые, а не системные.

Митя заерзал. Настроивался? Рюмку себе налил, опрокинул быстро и забасил, сам себе удивляясь. Всерьез говорил:

— А ведь длится только предвкушение, ожидание счастья... Но можно же радоваться и тому, что было. Вспоминать эти мгновения и от самих воспоминаний кайфовать. А может, себя надо так переделать, чтобы собирать картины радости, и потом на проценты от этого капитала жить — ведь чем старше, тем труднее добывать их... Или нет? Как счастье во времени располагается? Что лучше? Вспоминать? Или сейчас, в данный момент наслаждаться, а потом — будь, что будет? Или предвкушать? Счастье — это что: прошлое, настоящее или будущее?

Задумались все. Сколько времени в тишине просидели — не заметили. Чувствовали-понимали, что молчание их не от безразличия, не от неловкости, не от пустоты. Объединяющее молчание.

Агаше этот Уэльбек вспомнился. Самое начало «Элементарных частиц». Нильс Бор собирал в одном месте ученых-естественников и философов-писателей-художников. Они вместе думали-говорили, а в результате — ненароком какое-нибудь открытие делалось. Само собой, без натуги. Наверно, это и есть — коллективный разум. Любой может от его имени заговорить.

Иван начал:

— Ты, Митька, романтизм еще не преодолел. Учти, чтобы мечтами жить, нужно очень крепкий жизненный, буржуазный базис иметь. Иначе психика не выдерживает — пару раз что-то не сбылось, и все — сорвешься в пропасть между намечанным и реальностью. А она, реальность эта, чем ты старше, тем к тебе суровее...

— Сто рублей я тебе должен, Фома, за такие слова... — Маркелыч внимательно посмотрел на каждого, чтобы убедиться, что узнали они цитату. И что Иван на сравнение с Опискиным не обиделся. — Не только это опасно. Предвкушать, то есть ждать, можно что-то предсказуемое, известное уже тебе. Один раз оно случилось — счастлив, другой — тоже, на третий-четвертый ведь надоест...

Сбивчиво, быстро говорил профессор. Увлекся, как на лучших своих лекциях, которые заранее продумывал. Готовился он всегда к университетским занятиям. Даже если про Пушкина надо было рассказывать, то и его непременно вечером долго листал. Перечитывал и то, что наизусть знал. Чтобы не вспоминать старое; хоть и им самим открытое, а в глубину-новизну погружаться.

— Импровизационно жить надо... Больше тогда сможешь уловить необычных, странных возможностей, которые жизнь каждый миг рождает. Отваги это требует... И не

вашей, Митя, безбашенной решимости, которая бывает от того, что последствий глупец-человек не знает... Конечно, уютнее, спокойнее все распланировать, предусмотреть... Но мы ведь все в этом уюте заскучаем, правда?

— Противоречие... — уличила его Агаша. Совсем не победно ушучила отца. — И ты беспокоен, что у нас своего жилья нет, что внуками пока вас не обеспечили, и мы... А это ведь именно из области планируемого и достигаемого...

Леша ей ответил, хотя то же самое подумали и Иван с Митей.

— Ну, Агашенька, не переводи в конкретику. Женскую. Нулевой цикл каждому человеку нужно построить, кто ж спорит. Буржуазный базис. Так, кажется, Иван его окрестил? Настоящий философ его в понятие «счастье» не включит. Можно, еще как можно, переночевав на Курском вокзале, увидеть первые клейкие листочки и ликовать...

— Э, про клейкие листочки Иван должен был сказать! Чужую реплику перехватил! — Митя фыркнул. — Ладно, пусть меня и дальше Маркелыч дураком обзывает... Я вот теперь каждое утро буду себе повторять: жизнь — прекрасна! Может, хоть так сумею мускулы радости разработать? Да зачем рассвета ждать? Разве нам сейчас плохо? Все-таки полное счастье — это презент, настоящее время. Плюскамперфекты всякие — это отражение, а в зеркале все только притворяется реальностью, даже лево-право там другое...

Вдруг подал голос телефон, который весь вечер деликатничал — воспитанный в правильной семейной атмосфере, ни разу не вмешался в разговор. Все на часы посмотрели, каждый на свои. Полночь.

У Маркелыча уже сердце с места готово было сорваться, чтобы от такого позднего звонка в тревоге забиться, но он сумел его удержать. Не обязательно же что-то ужасное...

...Строгий вернулся Маркелыч на кухню после короткого разговора. Почти с того света звонок был.

Пятнадцать лет назад ушел он, оскорбленный, из академического института. Как оказалось, за погодку ушел — до него-то только запах разложения «прихватизированной» конторы иногда долетал, а те, кто остались, до сих пор своей жизнью расплачиваются. Именно сегодня бывшего коллегу, почти ровесника, который после смерти матери бобылем в квартире жил, обнаружила дальняя родственница. Мертвым. С милицией дверь взламывали. Самоубился или просто умер — теперь уже не узнать... Маркелыча вызвонила престарелая активистка. Старая дева, которую покойник в своей записной книжке назначил связной с оставшимся, живым миром.

«Похороны послезавтра. В два. Ты придешь?»

Лицо покойного Ипполитова никак не вспоминалось. Лишь мелькнула перед глазами его коренастая, сутулая фигура — в толчее по ней было бы трудно его распознать. Толпами ходят люди сдавшиеся...

Смерть совсем постороннего... Как на нее отозваться? Пока сам не одряхлел, нет еще пошлой эгоистической радости, что на этот раз не ты... Скорбь на полсекунды... Уходящие, простите нам наше счастье...

...Прощаясь с гостями, Маркелыч не упомянул о звонке. Только приобнял каждого и возле сердца своего подержал.

Три товарища, Агаша, старик

— А я счастлива тогда, когда знаю, что рядом со мной были, есть и будут те, кого я люблю. То есть вы все...

Это Агаша напоследок сказала, при расставании, когда Иван протянул ей охапку белой сирени, наломанную в чужом палисаднике по дороге к метро. В прошлом году на этих же самых кустах не белые — сиреневые гроздья благоухали.

Разве так бывает? Но случилось же.

Литературно-художественное издание

Новикова Ольга

ЧЕТЫРЕ ПИГМАЛИОНА

Роман

Компьютерная верстка: *А. Шукин*

Корректор *В. Борисова*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2: 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004 г.

Издание осуществлено при техническом участии
ООО «Издательство АСТ»

Издательство «Зебра Е»

Изд. лиц. № 05017 от 07.06.2001

119121, Москва, ул. Плющиха, 11, к. 18-а.

тел./факс (095) 631-25-55

e-mail: zebrae@ Rambler.ru

zebrae@awax.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
ФГУП «Издательство «Самарский Дом печати».
443080, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.

Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов.



Ольга Новикова –

прирожденный мистификатор. Четыре известных писателя становятся в ее романе Пигмалионами, которые создают одну Галатею. Или это она сама творит и их, и себя, колдовским образом соединяя жизнь с мечтой? Писательница рассказывает о своих героях то, в чем они никогда бы себе не признались, вытаскивает наружу их самые интимные тайны и комплексы. Дерзкая откровенность обладает магической, внушающей силой. И читатель этой книги не раз поешится, подумав: "Это про меня".

ISBN 5-94663-166-7



9 785946 631662